

Евфросиния
Керсновская

ПРАВДА
КАК СВЕТ

Книга 1



Правда как свет!
Никогда луч тьмы не проникает
в светлое пространство.
Поэтому ваша черная ложь
боится правды!

Е. Керсновская

После выхода книги Е.А. Керсновской «Сколько стоит человек» (2006) на русском языке мы регулярно получали просьбы от посетителей сайта gulag.su выпустить очередное издание, так как печатное воспроизведение имеет свои преимущества перед электронным. Письма и постоянные вопросы близких о том, скоро ли увидит свет новая версия воспоминаний Евфросинии Антоновны, вдохновили нас на это издание. Всем тем, кто убедил нас подготовить книгу, — наша искренняя благодарность.

Игорь Чапковский

Одной из первых сменных выставок в нашем Музее была выставка факсимильных копий тетрадей Евфросинии Керсновской «Е. Керсновская. Сколько стоит человек», которая впоследствии начала свое движение по городам России.

У Евфросинии Керсновской не просто удивительная судьба. Это необыкновенный, вдохновляющий пример того, как в нечеловеческих условиях все-таки можно оставаться человеком — мыслящим, преодолевающим, созидющим, сохранившим достоинство и внутреннюю свободу.

Лагерный опыт, переплавленный в художественное наследие, предельно важен для нас и сегодня. Тетради Евфросинии Керсновской напоминают нам, кто мы, откуда мы идем, и, быть может, станут подсказкой, куда и как нам идти завтра.



Роман Романов
Директор Музея ГУЛАГа

Евфросиния Керсновская — величайшая фигура в русской, советской истории. В несвободе, лишённая привычного уклада, в диких условиях ГУЛАГа, на убойных лагерных работах, она зафиксировала то, что стало противоядием от тезиса про эффективность жестокости.

Увидевший рисунки Керсновской не поверит никакому новейшему учебнику истории, утверждающему, что репрессии в СССР оправданы подавлением вражеской «пятой колонны». В эпоху политического средневековья у нас жил и создавал трагичные шедевры художник эпохи Возрождения.

Значит, оно у нас возможно.



Дмитрий Муратов
Главный редактор «Новой газеты»

Евфросиния Керсновская

Правда как свет

Иллюстрированные воспоминания
о сороковых-пятидесятых

Книга 1

MAIER

2014

Концепция издания, руководство проектом:
Игорь Чапковский, Нелли Подгорская

Составление, текстовые связи
между альбомами, примечания,
маршруты на картах:
Галина Аتماшкина

Вступительная статья:
Никита Алексеев

Послесловие:
Виталий Шенталинский

Дизайн:
Константин Чубанов

Керсновская Е.А.

Правда как свет: Иллюстрированные воспоминания о сороковых-пятидесятых:
в 2 кн. Кн. 1: Альбомы 1–5 / Евфросиния Керсновская. — М.: ИП Подгорская Н.О.,
2014. — 412 с. : портр., ил.

Евфросиния Антоновна Керсновская (1907–1994) могла избежать тяжелых испытаний, которые начались со ссылки из Бессарабии в Сибирь в 1941 году, но выбрала крестный путь. Она следовала правде, помогала людям и никогда не считала себя жертвой. Пребывание в ГУЛАГе не наложило на нее отпечатка — она осталась «нормальным европейцем». После лагеря и ссылки Евфросиния жила в Эссентуках, написала воспоминания и сама проиллюстрировала их. Представленный здесь альбомный вариант этого произведения — уникальная рукописная книга XX века.

ISBN 978-5-905494-11-6

Книга 1
ISBN 978-5-905494-04-8

© Чапковский И. (наследник), текст, рисунки,
фотографии Е. Керсновской, 2014
© Подгорская Н., издатель, 2014
© Чубанов К., дизайн-проект, 2014
© Алексеев Н., вступительная статья, 2014
© Шенталинский В., послесловие, 2014

Содержание

КНИГА 1

Никита Алексеев Делай что должен, будь что будет	9
Пролог 1963–1964	28
Альбом 1. Часть 1 1936 — август 1940	30
Развернутые подписи	61
Альбом 1. Часть 2 сентябрь 1940 — июнь 1941	66
Развернутые подписи	100
Альбом 2 июнь — июль 1941	104
Развернутые подписи	126
Альбом 3. Часть 1 июль — декабрь 1941	130
Развернутые подписи	159
Альбом 3. Часть 2 декабрь 1941 — февраль 1942	162
Развернутые подписи	200
Альбом 4. Часть 1 март — апрель 1942	204
Развернутые подписи	246
Альбом 4. Часть 2 апрель — август 1942	250
Развернутые подписи	288
Альбом 5. Часть 1 август 1942 — февраль 1943	292
Развернутые подписи	356
Альбом 5. Часть 2 март — декабрь 1943	362
Развернутые подписи	405

КНИГА 2

Альбом 6 декабрь 1943 — июнь 1944	6
Альбом 7 июль 1944 — декабрь 1945	36
Альбом 8 январь 1946 — май 1947	90
Альбом 9. Часть 1 июнь 1947 — 1948	122
Альбом 9. Часть 2 1949 — октябрь 1952	172
Альбом 10 октябрь 1952 — июль 1956	246
Альбом 11 август — октябрь 1956	282
Альбом 12 октябрь 1956 — май 1960	353
Эпилог 1970-е	424
Виталий Шенталинский Не убоившаяся тьмы	426
Сведения об авторах	428

Евфросиния Керсновская
в год своего пятидесятилетия.

*Ессентуки, 1957, лето,
перед походом по Кавказу*



Никита Алексеев

Делай что должен, будь что будет

Что такое тексты и рисунки Евфросинии Керсновской? Бесхитростные воспоминания и сопровождающие их любительские рисунки или сильнейшее произведение словесности и искусства (несмотря на то, что профессиональным литератором и художником Керсновская не была)? Ответить на этот вопрос можно, не только вдумавшись в жизнь этого удивительного человека, но и попытавшись проанализировать ее наследие в контексте российской культуры XX века.

Бессарабское многоязычие

10 Биография Керсновской (не хочется употреблять агиографический термин «житие») гениально рассказана ею самой, но все же вот беглый очерк ее жизнеописания.

Она родилась 24 декабря 1907 года по старому стилю, то есть 6 января 1908 г. по новому стилю, в Одессе в дворянской семье. Отец Антон Керсновский, юрист по образованию, следователь — выходец из дворянской семьи среднего достатка с польско-австрийскими корнями.

Ее мать Александра, урожденная Каравасили, принадлежала к старинному и хорошо известному греческому роду. Один из ее предков Яннис Каравасили, член тайного общества («Общество друзей»), боровшегося за освобождение Греции от османского владычества, был в 1821 году казнен властями Блестящей Порты¹ вместе с Константинопольским патриархом Григорием V. Святейшего турки повесили на воротах его подворья, Каравасили — на паникадиле патриаршей церкви. Впоследствии он был канонизирован как мученик, а в Молдавии семью Каравасили считают основателями города Кагула.

Когда размышляешь о твердости духа Евфросинии Керсновской, поневоле задумываешься, не сыграли ли здесь немаловажную роль гены. Был у нее и старший брат Антон, в 1920-е годы эмигрировавший во Францию, ставший видным историком русской армии, скончавшийся в 1944-м и похороненный на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Первые годы жизни — обычная размеренная жизнь в сытой и многоликой Одессе. Отец работает в предварительном следствии, мать преподает французский и немецкий языки, Евфросиния учится в гимназии. Тут же после революции у маленькой Фроси происходит странное знакомство с подростком-японцем. Откуда японцы в Одессе? Впрочем, сама Керсновская приводит одесскую поговорку «Одесса отличается от Аравии только тем, что здесь арабов нет», а японцы, наверно, были; во всяком случае, этот мальчик наставляет маленькую одесситку в бусидо, бесстрашном пути самурая. Недаром Керсновская в своих воспоминаниях потом постоянно цитирует приписываемые Жанне д'Арк слова *"Fais ce*

¹ Порта (также Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высокая Порта) — принятое в истории дипломатии и международных отношений наименование правительства (канцелярии великого визиря и дивана) porte, итал. porta — «дверь», «ворота», что является калькой с османского Bâb-ı Âlî — «высокие ворота».

² По устным воспоминаниям Е. Керсновской, японец Оки был кадетом, старше ее, его дядя работал в японском консульстве. Он ее немного подкармливал в голодном 1919 году, а когда Оки повздорил с китайцами и был избит, она оказала ему первую помощь. (Здесь и далее — прим. сост.)

que tu dois, advienne que pourra” («Делай что должен, будь что будет»), звучащие вполне по-дзенски и по-самурайски. В действительности, это был девиз английского писателя XV века сэра Томаса Мэллори, последние двадцать лет жизни проведенного в тюрьме и там написавшего прославивший его роман «Книга о короле Артуре и его доблестных рыцарях Круглого стола». Впрочем, кто бы ни начертал первым этот девиз на своем щите, он как нельзя лучше выражает рыцарственность души Евфросинии Керсновской, а Орлеанская Дева, несомненно, была одной из ее любимых героинь.

³ С.П. Мельгунов в книге «Красный террор» пишет, что было 2200 жертв «красного террора» в Одессе за три месяца 1919 года. («красный террор» был объявлен большевиками в июле 1919-го, когда добровольческие войска заняли Харьков). Расстрелы начались задолго до официального объявления так называемого «красного террора» — через неделю-другую после вторичного занятия Одессы большевиками. С середины апреля — утверждают все свидетели, давшие показания в Деникинской комиссии, — начались массовые расстрелы. В июне — в момент приближения добровольческой армии — расстрелы еще больше учащаются.

Но в окаянном 1919-м в Одессу, отчасти уже обалдевшую от войны, революции и распри, приходят большевики³. Служителя царского «кровавого режима» Антона Керсновского чекисты, естественно, арестовывают. Почти чудесное вмешательство бывшего подследственного, невиновность которого была доказана Керновским, вхожего в ЧК, спасает его от расстрела. На французском военном корабле семья Керновских бежит в Румынию и обосновывается в Бессарабии, на берегу Днестра. Несомненно, Бессарабия — ключ к феномену Евфросинии Антоновны, и вот почему.

Это край Европы, где веками внахлест взаимодействовали польское, турецкое, венгерское, австрийское и русское влияния. Здесь спинами друг о друга терлись православие, католицизм и иудаизм. В этих местах люди не могли не говорить на нескольких языках, и в этом румынско-польско-руско-украинско-идишно-немецком Вавилоне мыслящий человек приобретал способность к очень замысловатому, а при удаче, и очень трезвому взгляду на действительность. Если учесть, что, кроме языков, необходимых в Бессарабии, Керсновская с детства знала французский, литературный немецкий, в какой-то степени итальянский и — от матери — разговорный греческий, то ясно: она, искренне считавшая себя русской, думала холистически. Ей важны были не конкретные морфемы и фонемы, а то истинное значение, которое несет в себе конкретный логос, будь он произнесен устами Бога или последнего чудовища из недр ГУЛАГа.

Цельность и широта мировоззрения Керсновской объясняется и совершенно материалистической причиной: природа Бессарабии щедра. Втыкаешь палку в землю, и, если делаешь то, что должен (то есть не заливаешь эту палку цементом, а поливаешь ее водой), она через несколько лет благодарно станет щедрым плодоносящим деревом.

Итак, Керсновские поселились близ города Сороки, на границе с тогда еще польской южной Буковиной. Фрося окончила кишиневскую гимназию, мать преподавала языки, а отец, «джентльмен до кончика ногтей» и совершеннейший горожанин, про деревню знавший только, что туда ездят на охоту,

не очень понимал, как жить дальше. А кормиться было надо. Семья владела частью родового поместья в Цепилове, и Евфросиния занялась работой. Окончила ветеринарные курсы, прошла практику у опытного соседа фермера и постепенно подняла образцовое хозяйство: акклиматизировала у себя на поле урожайный безостный ячмень, очень устойчивую к болезням шестирядную рожь и редкую итальянскую кукурузу *Cinquantino*, разводила породных ланкастерских свиней и скрещивала туркестанских овец-каракуль с местной расой.

Подумаем, что это значит? Румыния тогда была полуфеодалной аграрной страной с авторитарным режимом, быстро скатывавшимся в фашизм. Половиной земель владели коррумпированные магнаты, остальная поделена была между крестьянами-арендаторами и мелкопоместными владельцами. Эти были ближе к крестьянам, чем к крупным землевладельцам: они сами доили коров и подрезали виноградные лозы. И, ничего странного, симпатизировали Советскому Союзу, где, как они считали, добавочный продукт делится честно между всеми трудящимися. И были уверены, что на Рождество и Пасху стол должен ломиться от домашних окороков, жареных гусей и солений, кувшинов с домашним вином и цуйкой и заботливо приготовленных сладостей. Вот Евфросиния Керсновская и самоотверженно работала ради того, чтобы у нее в Цепилове благодатно, на пользу всем, свиньи поросились, клубника благоухала и услаждала небо, любимые родители могли вести привычный образ жизни, а брат, учившийся во Франции, был обеспечен. В редкое свободное время делала дальние конные поездки по Карпатским горам и общалась с соседями-тружениками вроде нее.

В 1936-м умер ее отец, которого она боготворила. В 1940-м пришли советские: «воссоединили» Бессарабию с СССР⁴. Евфросиния их встретила с надеждой, ведь они избавят народ от эксплуатации, но первое, что эти люди сделали, — выгнали ее и мать из родного дома и конфисковали все имущество, вплоть до одежды. Керсновскую поразило прежде всего не то, что они оказались нищими и бездомными, но то, как нелепо, антиэстетично выглядели пришельцы, и то, насколько бессмысленно они распоряжались изъятой — награбленной — собственностью.

Здесь второй ключ к феномену Керсновской. До тридцати трех лет она не видела целенаправленной злобной глупости и только в зрелом возрасте, будучи умелым и умным человеком, столкнулась с властью, которая очень хорошо знает, как убивать, а напоить лошадь не умеет. Да, Румыния под Антонеску⁵ — это безобразие, однако там скошенный хлеб не гноили под снегом до весны, и простое знание, что надо делать положенное, и помогло Евфросинии Керсновской с честью выдержать все предстоявшее ей.

⁴ 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, Румыния по-прежнему оставалась партнером Франции. Подписанный Третим рейхом и СССР за несколько дней до начала войны договор о ненападении разделил Восточную Европу на советскую и германскую «сферы влияния». Советский Союз хотел получить у Румынии Бессарабию, которая раньше входила в состав Российской империи. Поражение Франции весной 1940 года, а также угроза войны с СССР склонили Румынию к сближению с Германией, которая уверяла румынское правительство и короля, что стране ничего не угрожает, но поставляла в Румынию трофейное польское оружие, в обмен получая нефть. 27 июня советские войска у румынской границы и созданная весной особым указом Дунайская флотилия были приведены в боевую готовность. В ночь на 28 июня коронный совет Румынии решил передать Бессарабию Советскому Союзу без кровопролития. Утром румынские войска начали отход со всей территории Бессарабии.

⁵ Ион Виктор Антонеску (1882–1946) — румынский государственный и военный деятель, маршал, премьер-министр и кондуктор (аналог фюрера) Румынии в 1940–1944 годах.

Александра Алексеевна Керсновская
с дочерью Евфросинией.

Кагул, 1908



Алексей Дмитриевич и Евфросиния Ивановна Каравасили —
дедушка и бабушка Евфросинии Керсновской по материнской линии,
с детьми Иваном, Дмитрием, Александрой (будущей матерью Евфросинии).

Одесса, середина — конец 1880-х

14



Александра и Антон Керсновские
со своими детьми Антоном и Евфросинией.
Одесса, 1913



Ножницы на полу

16 Итак, советская власть. У Керсновской хватает интуиции переправить мать в Румынию: у этой дворянки, предпочитавшей изъясняться по-французски, не было шансов выжить под Сталиным. Но отъезд матери для нее — трагедия, это потеря части жизни.

Далее — несколько странных и страшных месяцев в промежуточном состоянии между тем, что есть, и тем, что будет: ночевки под открытым небом, работа по найму в саду и допросы в НКВД. И настает пятница 13 июня 1941 года. Ее вызывают на очередную «беседу», она понимает, что это конец, собирает узелок с бельем и покорно, будто агнец, идет на заклатие. Этот день Евфросиния Керсновская назвала своим «Великим Постригом».

Послушнику, решившему принять монашество, предлагают три раза бросить на землю ножницы, которыми у него срезают прядь, обозначив этим отказ от мира. У Евфросинии были три шанса не поднять с пола эти фатальные ножницы: то энкавэдэшный начальник куда-то отлучился, то некому было подписать повестку, то ей сказали: «Беги ты, они не догонят». Она не воспользовалась возможностями, потому что *fais ce que tu dois, advienne que pourra*.

А дальше... совсем пунктирно, потому что об этой Голгофе надо читать то, что написала Керсновская.

Долгий, жуткий этап в «столыпинском», и самое мучительное — не жажда и голод, даже не неизвестность, а стыд оттого, что женщинам и мужчинам, трясущимся по шпалам в сторону Сибири, приходится справлять нужду прилюдно, в дыру, проделанную в стене вагона. Прибытие в гиблые нарымские болота, под власть мелкого беса-начальника Хохрина (дает же Бог говорящие имена!), голод, холод и лесоповал в статусе «вечной ссыльной»; побег куда-то на юг, через замерзшие болота и тайгу: Керсновская слышала, что в Томске (где он, этот Томск?) есть польский консул (Польша-то уже два года нет), и он ей поможет вступить медсестрой в формирующуюся там польскую армию⁶, так как она говорит по-польски. Евфросиния за несколько месяцев дошла до Алтая,

⁶ Армия Андерса (2-й Польский корпус) — польское воинское формирование, часть вооруженных сил суверенной Польской Республики, созданное советским правительством и генералом Владиславом Андерсом в 1941–1942 годах на территории СССР по соглашению с польским правительством в изгнании из польских граждан, попавших в советский плен в итоге советско-польской войны 1939 года, а также польских граждан, которые были депортированы и заключены в лагеря ГУЛАГа; в 1943–1946 годах — в качестве польского корпуса в составе британской армии.

проделав больше полутора тысяч километров, и как ей это удалось, можно только угадывать. Наверно, потому, что у нее была почти животная страсть к жизни, но и — ангельская любовь к природе, ко всякой твари.

И — арест, следствие, которому не удалось доказать ее вину в шпионаже, расстрельный приговор по обвинению в «клевете на жизнь трудящихся в СССР» и за побег. Ей предлагают написать прошение о помиловании, она отказывается: «Требовать справедливости не могу, милости — не хочу». Ничем не добившись от нее признания вины, приговор ей заменили десятью годами исправительно-трудовых лагерей. Дальше — смертельный пеший этап в Томск, затем зона под Новосибирском, и тут ей «везет». Она добивается возможности работать на свиноферме, несмотря на предупреждение, что такой выбор может кончиться для нее крайне плохо. Фрося идет спасать свиней, мрущих от грязи, бескормицы, главное же — от безразличия заключенных-свиноводов. Здесь она оказывается в своей стихии. Свиньи начинают удовлетворенно хрюкать, но на Евфросинию обрушивается обещанная беда. Она неосторожно высказывается по поводу антирелигиозных стихов Маяковского⁷, мол, «свинство какое-то», что оказывается поводом снова отправить ее под суд. Все могло бы выглядеть как абсурдный трагифарс, если бы не приговор: еще десятка, с поражением в правах на следующие пять лет.

Это уже 1944 год. Страшная война идет к завершению, ну а Керсновская следует по Енисею на судне, в огромной общей каюте, где рядом с ней более двухсот уголовников, которые выводят ее из себя издевательством над стариком-профессором; юные проститутки и матерые воровки соответствуют ее представлениям о *humanitas* еще меньше, чем даже нарымский Хохрин, в поступках которого был хоть какой-то смысл. И потом, на долгие годы — Норильск.

Работа на стройке, на пятидесятиградусном морозе, в вечной ночи. Далее она попадает в лагерную больницу, ее оставляют там медсестрой, и это — окончательный ад. Здесь ей приходится выхаживать живых трупов, у которых нет шансов на воскрешение. Поэтому, когда ее отправляют работать в морг, — это счастье. За год с небольшим Евфросиния произвела 1640 вскрытий! Но в морге легче дышалось, она хотя бы не видела страданий жертв, вчера погибавших от пеллагры, дизентерии и туберкулеза, и во время работы ничто там не напоминало, что она раб, — так она пишет сама.

Но ее оттуда изгнали, и правильно. Останься она со скальпелем возле цинкового стола, не было бы последовавшего дальше.

⁷ Антирелигиозные стихотворения В.В. Маяковского, написанные им между 1924 и 1930 годами («Кому и на кой ляд целовальный обряд»; «Крестьяне, собственной выгоды ради поймите — дело не в обряде»; «Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть — зачем крестьянину справлять Пасху?» и др.).

А дальше она закапывала трупы в жидковатую субполярную почву, отмерзающую на два месяца в году. Любовалась нищими, бледными цветками, росшими возле могильных рвов. И напросилась трудиться в шахте, рубить уголь. Добычей арктического антрацита на пользу социалистического общества она занималась до 1960-го в должности навалоотбойщика, канатчика, скрейпериста, горного мастера, помощника начальника участка, бурильщика и, под конец этой шахтерской аскезы (*advienne que pourra...*), трудилась взрывником: для политзэка — это немыслимое доверие.

18 Впрочем, ей в нем отказали. Выгнали из шахты, и она работала грузчиком-лесогоном — прекрасная работа для пятидесятилетней женщины!

В 1952-м ее освободили из лагеря, через пять лет ссылки и «поражения в правах» она на заработанные шахтерские деньги съездила на родину в Бессарабию. Увидела, что от родного дома не осталось следа, поклонилась могиле отца и поклялась больше не возвращаться в Цепилово. Но узнала, что мать жива, что она в Румынии, и чудесным образом, по длинной цепочке нашла ее адрес. Стала делать все, чтобы соединиться с ней.

И каждое лето на свои шахтерские добиралась на юг, совершала пешие походы по Большому Кавказу и свои странствия документировала сделанными с натуры акварелями. Понять, как эта уже немолодая женщина без альпинистского снаряжения сумела преодолеть опасные ледники и перевалы, столь же трудно, как представить ее хождение из Нарыма на Алтай пятнадцатью годами раньше. Конечно, дело в уже упомянутом: в страсти к жизни, в любви к природе и в девизе: «Делай что можешь...»

В 1958-м ей удалось встретиться с матерью в Одессе и, пробившись через советские конторы, добиться ее возвращения в СССР. В 1960-м, заработав пенсию 120 рублей (максимальную по тем временам), она купила половину домика в Ессентуках и поселилась там с мамой.

В 1964-м мать умирает, и Евфросиния вступает в заочный диалог с ней, пытаясь «вспомнить все» — от детства до жизни в Ессентуках, от минут блаженства до крайних пределов страдания. На протяжении нескольких лет она создает двенадцать рукописных тетрадей, проиллюстрированных 700 рисунками, а также двенадцать альбомов на ту же тему, это 680 рисунков с подписями.

Евфросиния всегда рисовала по обстоятельствам. В лагере и в норийской ссылке это были поздравительные открытки и рукописные детские книжки с картинками для детей зна-

комых лагерников. В путешествиях по горам делала наброски с натуры. В Ессентуках, чтобы порадовать мать уютом, писала маслом натюрморты с цветами, копии марин Айвазовского, пейзажей Шишкина и развешивала их по стенам их убогой комнатки. Но когда Евфросиния приступает к иллюстрации своей рукописи, на все это у нее уже не остается времени.

Пока позволяет здоровье, она продолжает совершать дальние походы по горам Кавказа. И, как когда-то в молодости в Цепилове, занимается садоводством и цветоводством на маленьком приусадебном участке. Цветы у нее вырастают великолепные, фрукты вкуснейшие, но она не торгует ими на рынке, а даром раздает желающим. Чем приводит в оторопь, а иногда и в возмущение практичных жителей Ессентуков, привыкших жить за счет курортников. В 1988-м у нее случается инсульт, но благодаря жизненным силам и заботе друзей она выздоравливает.

В перестроечном 1990-м журналы «Огонек» и «Знамя», выходившие тогда миллионными тиражами, публикуют фрагменты ее воспоминаний и некоторые рисунки. В 1990-м тогда еще советские власти и в 1991-м уже власти суверенной Молдовы принимают решение о реабилитации Евфросинии Керсновской. Почему так поздно? Ведь со времен «оттепели» она обращалась с требованием реабилитации не меньше семи раз. Наследники всех этих Хохриных, Салтымаковых и Кошкиных, глумившихся над ней в зонах ГУЛАГа, вновь и вновь пересматривая дело, намеренно отказывали ей, считая ее «антисоветчицей».

Она умерла 8 марта 1994 года.

Прочитав воспоминания Евфросинии Керсновской и внимательно посмотрев ее рисунки, поражаешься многим вещам сразу. Ясности, точности и трезвости ее памяти. Фантастическому жизнелюбию, лишенному сентиментального оптимизма, но и не окрашенному трагическим фатализмом. Естественному альтруизму: ты просто должен помочь страждущему, и не надо размышлять об этом. Рыцарственному чувству чести, не оставлявшему ее в самых жутких обстоятельствах. Единственное, что она не могла понять и простить — это вторжение в пространство ее личности. Отступить от своего *point d'honneur*⁸ Керсновская не могла никак и никогда. И, возможно, больше всего восхищает в этом удивительном человеке то, что, приобретая страшной ценой жизненную мудрость, она не теряет внутренней детскости. Она наделена драгоценным даром — не-старением.

⁸ *Point d'honneur* (фр.)
[пуан д'онер] —
дело чести.

Антон Керсновский, брат Евфросинии.
Во время обучения за границей.

Середина 1920-х

Евфросиния Керсновская.

Бессарабия, начало — середина 1930-х

20



▼ Евфросиния Керсновская (в центре),
ее двоюродная сестра Ирина Левицкая (справа)
и офицер Михаил Георгица (слева) на охоте.

*Река Реут у села Бабулешты (Бессарабия),
август 1939*

Центральная больница лагеря,
персонал терапии (заключенные),
Евфросиния — в первом ряду в центре,
слева — терапевт Л. Б. Мардна.

Норильск, 1944–1945



21



Искусство, как получается

22 Однако только экзистенциальной мощью феномен Керсновской не исчерпывается. Для его понимания важен общекультурный смысл ее наследия, ведь пристальному взгляду ясно, что тексты и рисунки Керсновской для истории российской литературы и искусства значимы не менее, чем произведения авторов, справедливо считающихся великими.

⁹ Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982) — русский прозаик и поэт советского времени. Создатель «Колымских рассказов» — литературного цикла о советских лагерях.

Сперва о литературной части. Несомненно, Евфросиния Керсновская очень хорошо владеет русским языком, причем это тот русский, на котором говорила и писала дореволюционная средняя интеллигенция. Чистый, не очень богатый, чуждый новшеств и вульгаризмов. В него естественным образом вплетаются усвоенные в детстве и юности французские, румынские, греческие и украинские слова и фразы, но, несмотря на десятилетия, проведенные среди уголовников и вертухаев, полностью отсутствуют признаки ненормативной лексики, даже следов уголовной фени не заметно. Это, в частности, и достоинство, и недостаток прозы Керсновской, один из тех моментов, что позволяют утверждать: да, она не является «настоящим писателем», не использует все богатство языка.

Признаем: Евфросиния Керсновская ничего не «сочиняет», она «просто» излагает то, что помнит. Варлам Шаламов⁹ тоже вроде бы ничего не придумывает, он тоже описывает увиденное и пережитое. Однако прочитаем страницу Керсновской и страницу Шаламова, и понятно: он беллетрист в высоком смысле, то есть прихотливо, в соответствии с внутренней авторской необходимостью, ставит и смазывает акценты, строит сложные семантические аккорды и исподволь, так что читатель сперва и не заметит, вплетает в ткань текста почти невидимые метафоры. У Керсновской этого нет и не может быть по природе ее творчества.

Кроме того, великолепно выверенным писательским инструментарием Шаламов пользуется для того, чтобы убедить читателя: ГУЛАГ — это ад, добро там невозможно, и даже праведник, попав туда, неизбежно превращается в беса. Соглашаться или нет с этой идеей — другой вопрос, но отрицать, что Шаламов гениален в использовании сво-

их писательских возможностей для ее художественного воплощения, крайне трудно. Шаламову по сути противостоит Александр Солженицын. Он, тоже пользуясь на свой лад мощным арсеналом литературных приемов, объясняет: душу сохранить можно в любом аду, если придерживаешься определенных моральных установок. Согласиться с Солженицыным, наверно, легче и соблазнительнее, чем с Шаламовым, но важнее, что даже документализм «Архипелага ГУЛАГ» — это прежде всего литература.

¹⁰ Ролан Барт (1915–1980) — французский философ-постструктуралист и семиотик.

Разумеется, «лагерная тема» в русской литературе этими двумя противостоящими друг другу писателями не исчерпывается, есть много других, но приведены они здесь для того, чтобы показать, что Керсновская находится даже не между этими полюсами, а где-то вне биполярной вселенной. Она ни в чем не стремится убедить читателя; даже безоговорочно придерживаясь моральной установки «делай что должен, пусть будет что будет», она не оказывается дидактичной. Разумеется, в огромной степени ей в этом помогает именно отсутствие профессиональных литературных амбиций. Но прочитай эти тексты великий французский культуролог и литературовед Ролан Барт¹⁰, не исключено, что он увидел бы в них приближение к вожденной и недостижимой «нулевой степени письма», на которой исчезает как разница между автором и текстом, так и пропасть между натурализмом и символизмом.

Непрофессионализм Керсновской как художника еще более очевиден, чем ее литературный непрофессионализм. О ее рисунках в автобиографических тетрадях и альбомах немного ниже, но ее пейзажи, цветы и поздравительные открытки — это типичная продукция дилетанта, «воскресного художника» с немудрящим вкусом и очень ограниченными возможностями. Ее художественные предпочтения ничем не отличаются от тех, что лелеяло большинство граждан СССР советских времен. Она в восторге от «Василия Теркина» Непринцева. Но, и это очень важно, даже в этом до крайности китчевом продукте сталинского соцреализма она способна разглядеть простую и чистую радость. Ей нравится залакированный иллюзионизм «Письма с фронта» Лактионова — но прежде всего потому, что эта картина излучает теплый послеполюденный свет, которого ей так не хватало в ледяном аду ГУЛАГа.

Да, она художник-любитель, один из представителей «наивного искусства». Притом она не может быть причислена к гениям-«непрофессионалам» вроде Анри Руссо, Нико Пиромани или Павла Леонова.

Но это парадоксальным образом не делает ее рисунки менее убедительными и мощными.

Более того, именно благодаря неумелости и детскости рисунки Керсновской, сопровождающие ее воспоминания, производят на зрителя ошеломительное впечатление. В истории отечественного искусства, как и в русской литературе XX века, есть великолепные образцы «лагерного жанра». Например, рисунки замечательного художника Бориса Свешникова, попавшего в лагерь в 1946-м девятнадцати лет от роду и вышедшего через восемь лет, едва не умершего от истощения. Он — виртуозный график, его карандашу и перу подвластен широчайший диапазон художественных приемов, но его рисунки, от которых по позвоночнику идет озноб, — это вовсе не реалистическое изображение лагерных ужасов, а нечто близкое к инфернальной галлюцинации. Или — эстонец Юло Соостер, один из предшественников московского концептуализма, отсидевший семь лет, с 1949-го по 1956-й. Его работы, сделанные под черной тенью лагерного опыта, вовсе не являются свидетельствами ужаса, пережитого в карагандинских рудниках, это отстраненные, холодные метафоры, и они пробивают сознание как раз потому, что ничего не говорят прямо.

Евфросиния Керсновская — их антипод. Она рисует не так, как можно, приближаясь к идеалу рисунка и живописи, а так, как получается. Впрочем, есть у нее и еще один антипод, Данциг Балдаев, тоже художник-любитель, тюремный надзиратель и на пенсии рисовал аккуратные картинки на темы вроде «Укладка трупов врагов народа в “аммональник”», «Ликвидация эзков», «Применение древнерусской пытки “дыба” в тюрьме НКВД», снабжая их подробными экспликациями, сделанными наклонным чертежным шрифтом. Понятно, что Балдаев, будучи лишенным возможности мучить людей в действительности, компенсировал это, скрупулезно рисуя наглядные пособия.

Керсновская, как в своих текстах, в рисунках ни о чем не фантазировала, ничего не символизировала и не занималась автопсихоанализом. Она, будучи немислимо здоровым душевно человеком, только свидетельствовала о том, что она видела и поняла. Делала это, как получалось. Получалось это у нее весело и курчаво. Будто не пожилая женщина, пережившая такое, что и во сне не приснится, это нарисовала, а барышня рисует невинные и кокетливые картинки в семейный альбом.

Рисунки про жизнь в Бессарабии — это отражение теплого света в Раю, это иллюстрация мысли Честертона¹¹ о том, что парадиз — то, что думает ребенок, глядя на цветущий куст шиповника, когда солнце клонится к закату, но завтра непременно зальет мир своим светом. Рисунок, где она изобразила себя лежащей под бледным арктическим солнцем на склоне горы Шмитиха в Норильске, любующейся

¹¹ Гилберт Кит Честертон (Gilbert Keith Chesterton; 1874–1936) — английский христианский мыслитель, журналист и писатель конца XIX — начала XX века. Всего Честертон написал около 80 книг.

нищим северным цветком, — это ода к радости, похожая на стихи Мацуо Басе, пронизанная знанием того, что эфемерность и есть вечность. Если она рисует скалы Кавказа и горные дубы — это огненно пышущая жизненной силой магма, растущая, будто дивный цветок, из преисподней в небо.

А один из самых страшных ее рисунков (Евфросиния в белом халате несет под мышками в морг, будто две фанерки, иссохшие от дистрофии трупы) бьет по сознанию именно тем, что сцена нарисована точно так же, как сцена радостного, щедрого празднования Пасхи в Бессарабии.

¹² Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963) — русский художник, график, доктор искусствоведения. Работал в Ленинграде. Создал индивидуальный, узнаваемый стиль оформления детских книг и сказок.

В христианстве такое состояние духа называется плеромой, полнотой. Оки, этот японский мальчик, встреченный юной Фросей в Одессе, назвал бы это сочувствием Будды всем тварям во всех вселенных. И совершенно нет нужды анализировать мировоззрение Евфросинии Керсновской, куда важнее смотреть на ее рисунки и читать ее текст, написанный девичьим, округлым и уверенным наклонным почерком, привитым сперва в русской, а потом в румынской гимназии.

Потому что здесь, в абсолютном синтезе визуального и вербального, и спрятана тайна сделанного Керсновской.

В начале 1970-х (то есть одновременно с ней) основоположники отечественного концептуализма Илья Кабаков и Виктор Пивоваров, к этому времени уже признанные иллюстраторы детских книг, начали разрабатывать жанр альбома, в котором текст и изображение не могут существовать друг без друга, причем их взаимоотношения выражаются в разных формах. Картинка может напрямую иллюстрировать текст, либо текст — комментировать картинку, но иногда между вербальным и визуальным образуется зияние, там вроде бы нет ничего общего, но это только подчеркивает невозможность их восприятия по отдельности.

Примечательно, что, будучи детскими иллюстраторами, Кабаков и Пивоваров в созданных ими альбомах использовали навыки, приобретенные в книжном деле, и, несмотря на жесткую абсурдность и трагичность сюжетов, картинки в их работах несли отзвуки сказочной детской вселенной. В этом можно увидеть сближение с альбомами и тетрадами Керсновской, причем иногда это сходство может показаться почти буквальным. Например, Кабаков в своих детских иллюстрациях и далее в альбомах явно ориентировался на стилистику Владимира Конашевича¹², а, судя по всему, Керсновская также видела книги, оформленные этим замечательным мастером в 1930–1950-е годы, и вольно или невольно вдохновлялась ими. Более того, иногда совпадения оказываются совсем наглядными. В свое время

Кабаков проиллюстрировал детскую книжку про молдаванина Гугуцэ¹³, и затем персонажи в барашковых шапках, вышитых жилетах и белых штанах стали постоянным мотивом в его творчестве, а выглядят они очень похожими на тех, кого изображала Керсновская в своих рисунках, посвященных жизни в утраченной Бессарабии.

Разумеется, про альбомы Кабакова и Пивоварова Керсновская ничего знать не могла, как и они наверняка ничего не слышали о ней. Но тем интереснее появление в абсолютно разных обстоятельствах произведений, объединенных глубинным родством. Не стоит долго рассуждать о различиях («детскость» у Кабакова и Пивоварова, в высшей степени профессиональных художников, — это стилизация, а у Керсновской — естественная черта ее любительского рисования; они придумывали свои сюжеты, она не придумывала ничего; столичные, вполне успешные художники и шахтер-пенсионерка с неснятой судимостью, живущая в провинции, — представители совершенно разных социальных миров), интереснее задуматься, почему в какой-то момент, для того чтобы высказать нечто очень важное, лучше всего подходит литературно-визуальная форма, где текст и изображение немыслимы друг без друга?

Кабаков и Пивоваров пришли к этому, осознав, что текст сам по себе девальвирован, картинка сама по себе — тоже, и именно их синтез дает возможность сильного высказывания. Керсновская, несомненно, ничего не слышавшая о концептуализме, также поняла, что она не сможет рассказать свою жизнь только словами или только рисунками.

И оказалась права: ее суховатая, незамысловатая проза и полудетские рисунки передают ужас людоедского режима отчетливее, чем страшные фотографии и историко-статистические выкладки. А когда она пытается нарисовать великолепные горные виды и словами выразить восторг, охвативший ее душу, благодаришь ее за чувство природы и любовь к ней. Ведь ответственность перед созданным не нами миром и спасает всех — верующих и неверующих, слабых и сильных, умелых и неумелых.

Но вернемся к вопросу, чем драгоценны альбомы и тетради Евфросинии Керсновской? Прочитав текст и разглядев картинки, отвечаешь: это и важнейший исторический источник, и одно из самых сильных произведений словесности и изобразительного искусства, сделанных в России в XX столетии.

¹³ Вангели Спиридон. Приключения Гугуцэ. Рассказы. Перевод с молдавского В. Берестов. Рисунки И. Кабакова. М., Детская литература, 1972.



Пролог

1963–1964

28 Евфросиния — после ссылки и лагерей — живет с мамой после 18-летней разлуки. Они поселились не там, где жили раньше, в Молдавии, а на юге России, — в Ессентуках.

Чтобы не отходить от больной мамы, которая хочет, чтобы жизнь дочери была полней и интересней, Евфросиния рядом с ней рисует и рассказывает самые яркие эпизоды из того, что ей пришлось пережить. Мама просит ее записать эту историю и берет слово, что дочь также не бросит рисовать.

После смерти мамы в 1964 году Евфросиния выполнила эти обещания. В толстых тетрадах она пишет о том, что было с нею с 1940 по 1960 год, иллюстрируя рисунками самые значительные эпизоды своей жизни.

Евфросиния записывает свою историю также в виде альбома рисунков с подписями (в 12 общих тетрадах — 680 рисунков), которая и представлена в этом издании*.

* Недостаточно развернутые подписи под рисунками дополнены авторским текстом из полной истории Евфросинии (дополнения выделены полужирным начертанием шрифта в книге 1 в разделе «Развернутые подписи», в книге 2 — во вставках в подрисуночных подписях). Рисунки, сюжеты которых важны по содержанию, отсутствующие в альбомном варианте, взяты составителем из тетрадей Евфросинии и из машинописного варианта ее произведения, проиллюстрированного ею самой. Альбомы или части альбомов предварены их кратким содержанием.

Дорогая моя старушка! Ты не поняла моей хитрости.
Ты так обрадовалась!..

ПРОЛОГ. РИС. 1

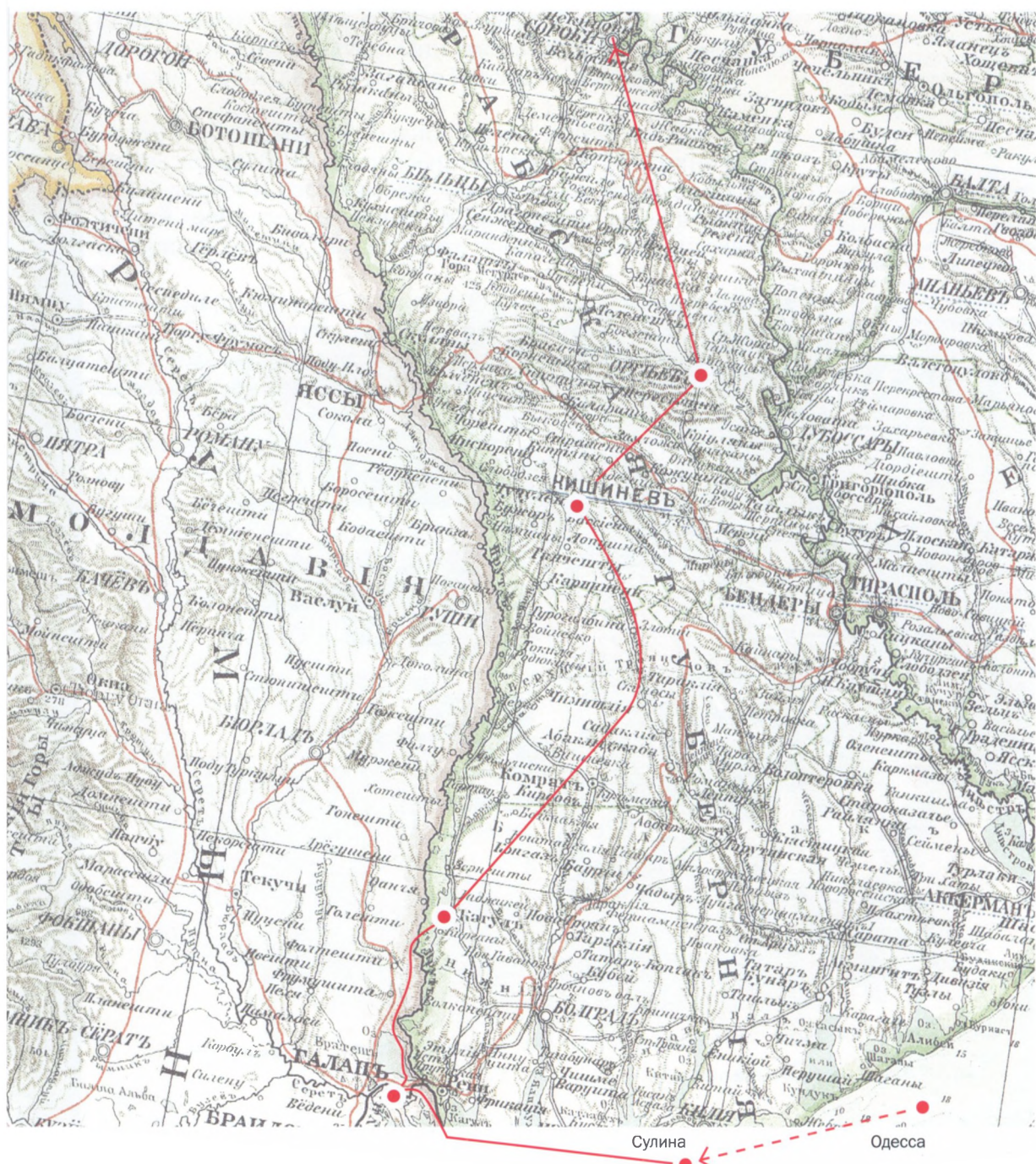
29



— Дорогая моя старушка! Ты не поняла моей хитрости....
Ты так обрадовалась!....

Альбом 1. Часть 1

1936 — август 1940



Начиная свою историю, Евфросиния вспоминает, как ее семья жила до 1936 года. Перед ее глазами мирная картина — мать и отец в саду в их бессарабском имении. Как же семья Керсновских оказалась там?*

В 1936 году умер отец Евфросинии. Это произошло осенью, в разгар полевых работ. Отец обычно брал кредит у местных богачей, скупщиков зерна, и расплачивался после реализации урожая, то есть к весне. Таким образом, после его смерти остались крупные долги, которые богачи потребовали немедленно отдать. Евфросиния не растерялась, заключила договор с Государственным банком Румынии на поставку зерна высшего качества и полученным займом расплатилась с кредиторами. Это были ее первые самостоятельные шаги в жизни.

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Евфросиния следила за событиями, но повседневные заботы мешали вдуматься в их смысл.

Керсновские жили недалеко от города Сороки (Soroca), от Украины их отделял мост через Днестр, по которому 28 июня 1940 года в город вошли советские войска. Бессарабия стала частью Советского Союза. Конные артиллеристы реквизировали у Евфросинии сено. По первому требованию властей она сдала свои охотничьи винтовки. Она сознательно не принимала мер предосторожности: не увозила в город вещи, не продавала скот, она считала, что все ею заработано честно. В сельском комитете, по ее настоянию, описали все, что было в ее хозяйстве. Она была готова сдать государству то, что сочтут излишками. Чтобы точно знать свои права и обязанности, Евфросиния с матерью пошли к военному прокурору. Несмотря на его заверение, что им оставят дом, сад и то, что они в состоянии обработать собственными руками, не используя наемный труд, 14 июля 1940 года их выселили из собственного дома и лишили земли и всего имущества. В Сороках их приютила знакомая, выделив маленькую комнату.

Евфросиния на правах бедняка получила у представителей советской власти малую часть своего собственного сельскохозяйственного инвентаря и начала искать работу. Как «бывшая помещица», она была ущемлена в правах, в том числе в праве на труд, и смогла устроиться только сезонной работницей на ферму Сорокского технико-агрономического училища, а ночью сторожила сады.

Младший брат отца — Борис Керсновский, у которого также отняли дом и все имущество, — с многодетной семьей уезжал в Румынию. Двоюродный брат Сева предложил ехать с ними, но Евфросиния отказалась. В августе 1940 года, чтобы избавить мать от лишений, она переправила ее в Румынию, к родным.

◀ Путь семьи Керсновских в эмиграцию в 1919 году: Одесса — Черное море — порт Сулина — порт Галац на реке Дунай — Кагул (вилла «Фроза») — Кишинев — Сороки — имение Цепилово. Нанесено на карту 1912 года, отпечатанную в картографическом заводе А.Ф. Маркса.

* Об этом можно прочитать в статье Н. Алексеева «Делай что должен, будь что будет», стр. 9–26 настоящего издания.

Трудно себе представить более мирную картину!

32

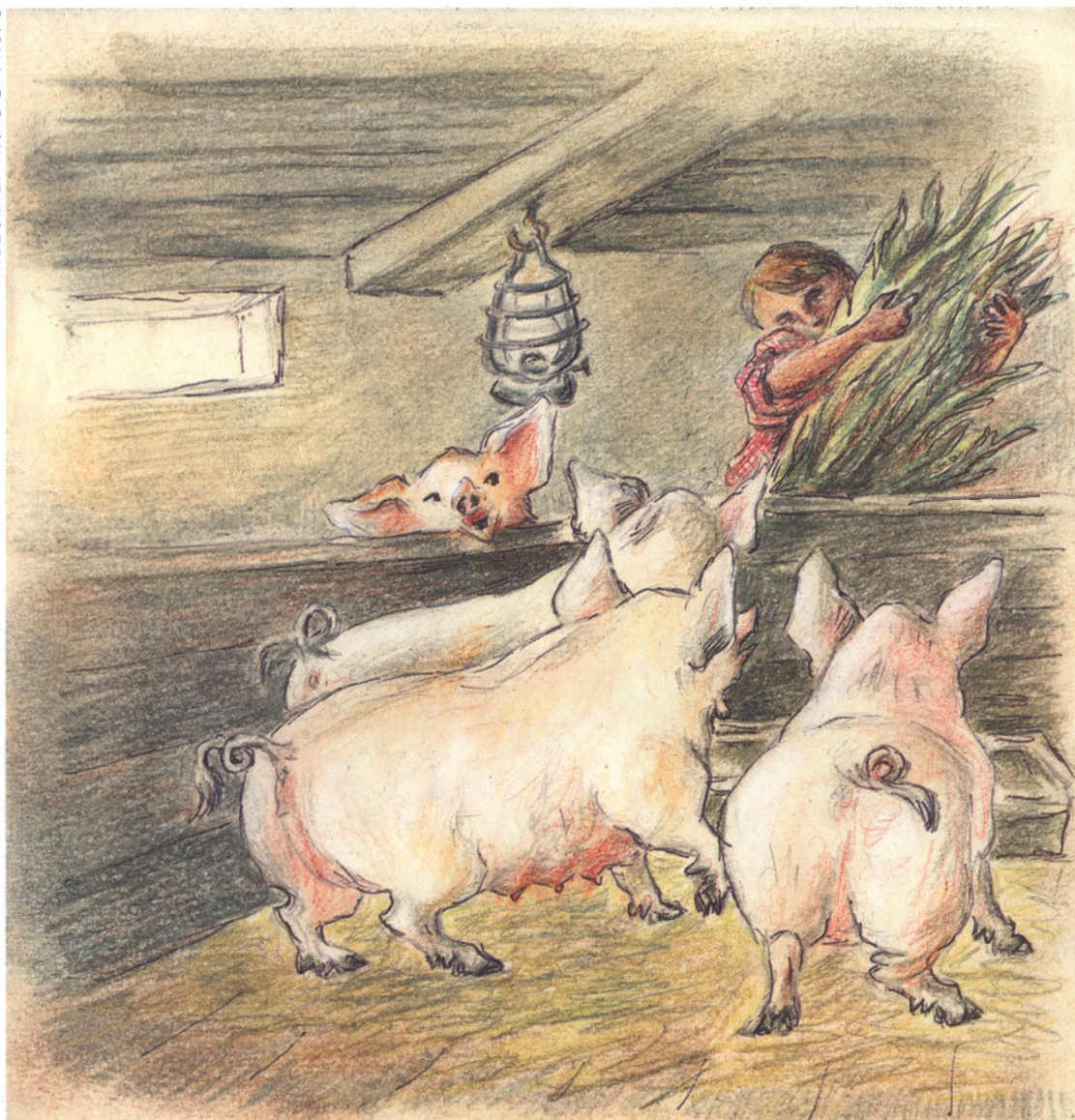


Альбом 1. Часть 1. Рис. 2

Трудно себе представить более мирную картину!

В Европе разгоралась непонятная «странная война»*. Но я ничего не замечала. Я работала с увлечением, и результаты уже сказывались.

* «Странная война» — период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года на Западном фронте. — Здесь и далее примечания составителя.



В Европе разгоралась непонятная «странная война». Но я ничего не замечала. Я работала с увлечением и результаты уже сказывались.

До меня, кажется, «не дошло»...
— Что будет — увидим. А пока что пей чай! — сказала я невозмутимо.



До меня, кажется, «не дошло»...
— «Что будет — увидим! А пока что — пей чай!» сказала
я, невозмутимо,

Слушать новости по радио не пришлось: «новости» явились сами... в образе советских самолетов.



Слушать новости, по радио, не пришлось: новости "явились сами ... в образе советских самолётов...."

Из танкетки текло что-то черное.
Группа парней подталкивали друг друга локтями и хихикали.



Из танкетки текло что-то чёрное. Группа парней под-
талкивали друг друга локтями и хихикали.

Дома я мамы не застала: она ушла в город за новостями. Я пошла туда же. За сорокским мостом, метрах в 50 выше него, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом — труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской.

На обочине сидел солдат с винтовкой. Вид у него был унылый.

— Как это случилось? — спросила я.

— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?

Я удивилась: какие же это горы? Маленький уклон!

Но ведь в мире все относительно!

Дома я мамы не застала: она ушла в город, за новостями. Я пошла туда же. За сорокским мостом, метрах в 50^{ти} выше моста, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом — труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской.



На обочине сидел солдат, с винтовкой. Вид у него был унылый.

— «Как это случилось?» — спросила я.

— «Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?»

Я удивилась: какие же это «горы»? Маленький уклон! Но ведь, в мире — все относительно!

Я воткнула вилы и, отирая пот с лица, не спеша ответила:
— Барин — это я!



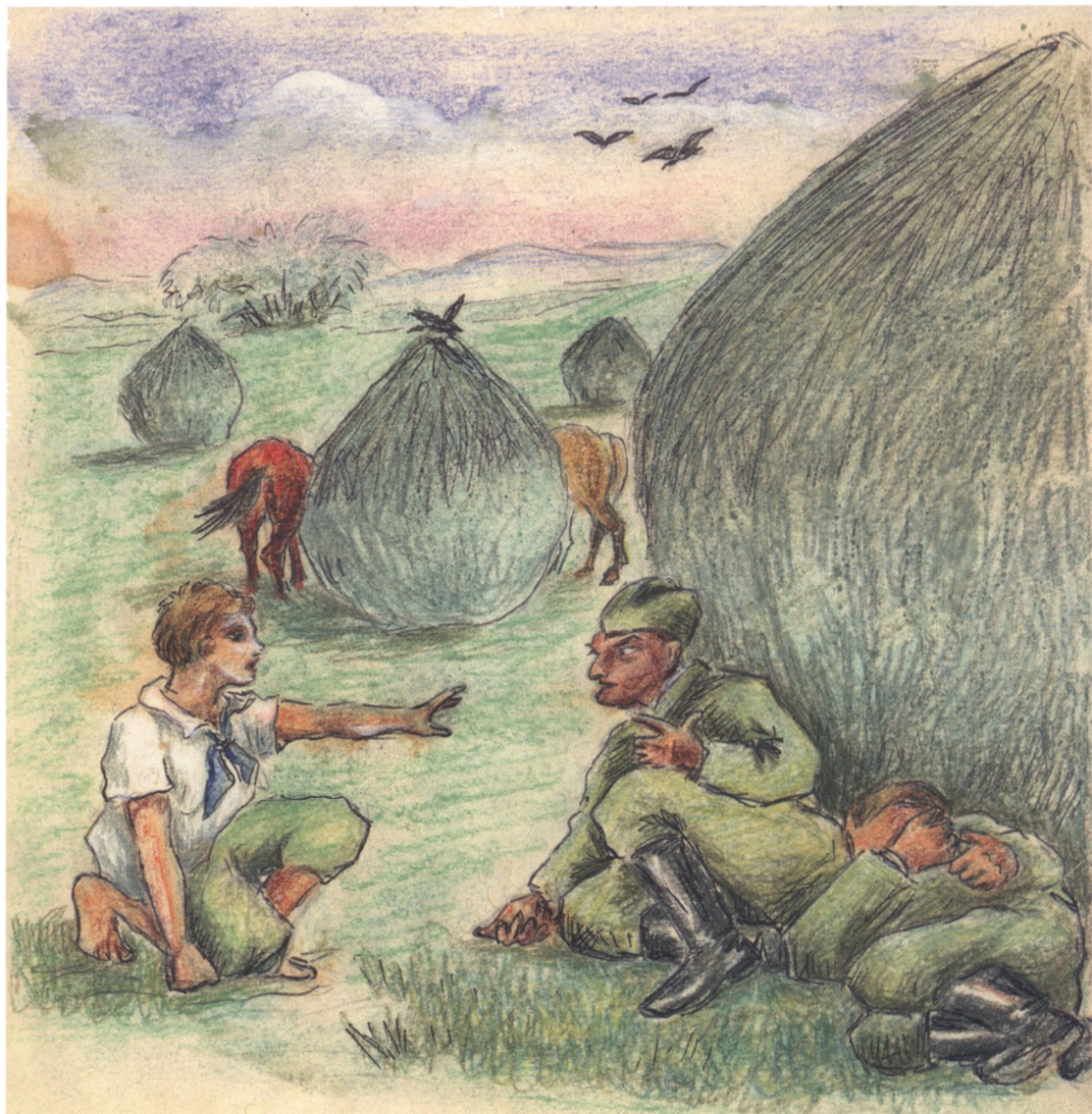
... Я воткнула вилы и, отирая пот с лица, не спеша ответила:
— Барин — это я!

Оглядываюсь. Нет моих спутников!
Спешились и ведут коней в поводу...
Вот те и на!



Оглядываюсь. Нет моих спутников!
Спешились и ведут коней в поводу...
Вот те и на!

Завязалась оживленная беседа. Вернее — дуэль. Спорим политрук и я. Ветеринар улегся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но время от времени открывает глаза и делает мне какие-то знаки.



Завязалась оживлённая беседа, Вернее — дуэль. Спорим политрук и я, Ветеринар улёгся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но, время от времени открывает глаза и делает мне какие то знаки....

— Фу, мама, стыдись! Неужели мы должны воровать собственные вещи?
Ничего мы не будем делать тайком, как те, у кого совесть нечиста!



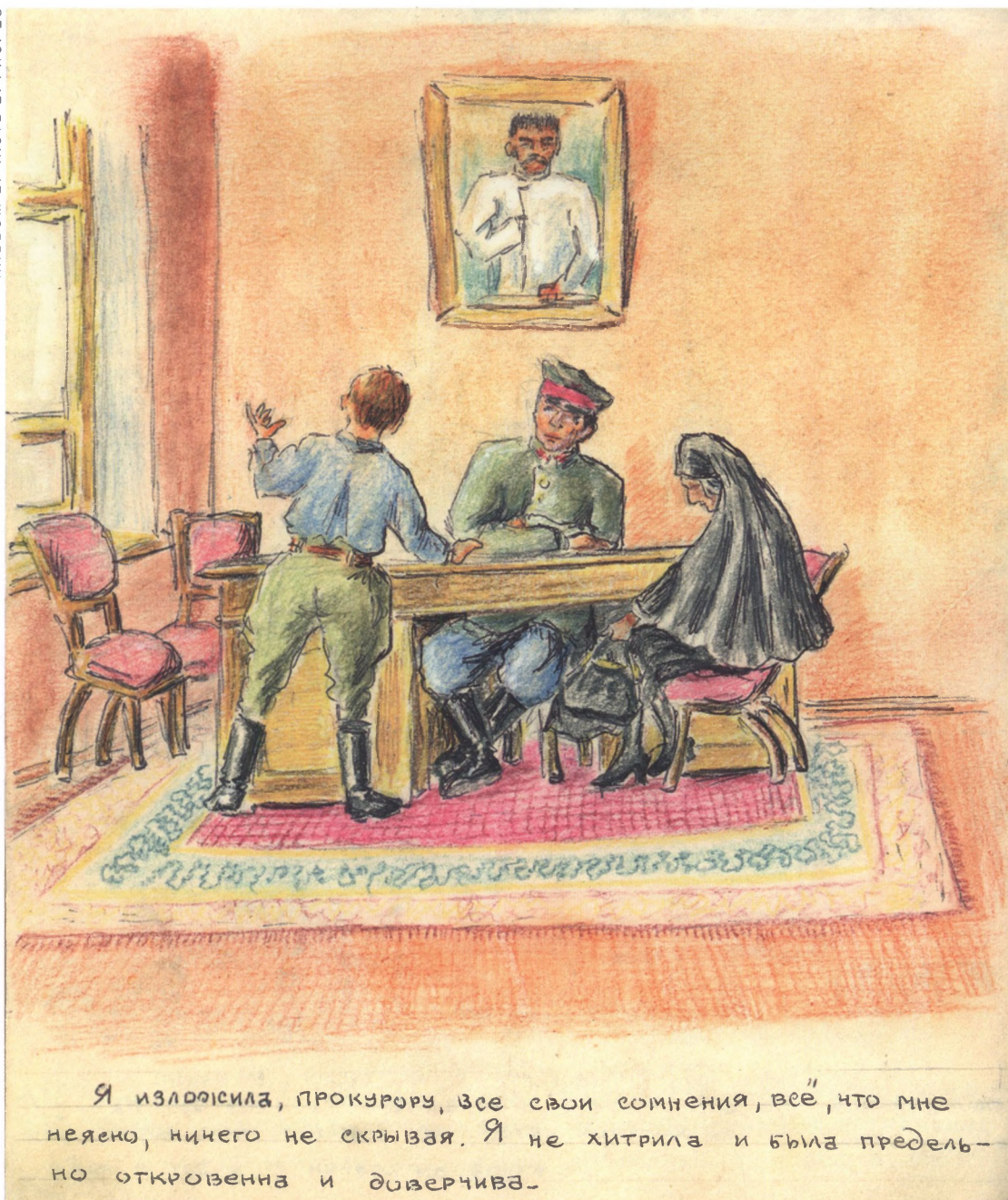
— Фу! Мама, стыдись! Неужели мы должны воровать
собственные вещи? Ничего мы не будем делать тайком,
как те, у кого совесть нечиста!

На пороге стоял... румынский солдат.
— Севка! Ты ли это? Слава Богу...
— Вот в этом-то я не уверен: слава ли Богу?



На пороге стоял... румынский солдат.
— „Севка! Ты-ли это?! Слава Богу.....
— „Вот в этом-то я не уверен: слава-ли Богу?“

Я изложила прокурору все свои сомнения, все, что мне неясно, ничего не скрывая. Я не хитрила и была предельно откровенна и доверчива.



Я изложила, прокурору, все свои сомнения, все, что мне неясно, ничего не скрывая. Я не хитрила и была предельно откровенна и доверчива.

Мы вышли из прокуратуры и остановились на крыльце.
 — Как все странно! — сказала мама, спускаясь по ступенькам. — Нам приходится расплачиваться за ошибки, которых не совершали. Но рядом с тобой я ничего не боюсь...



Мы вышли из прокуратуры и остановились на крыльце.
 — „Как всё странно!“ сказала мама, спускаясь по ступенькам — „Нам приходится расплачиваться за ошибки, которых не совершали.... Но, рядом с тобой, я ничего не боюсь....“

Я — вприпрыжку, босиком, весело насвистывая «с гор тучки, тучки понависли»*, — возвращалась из сада, неся решето малины.

Это были последние беззаботно-счастливые минуты моей жизни...

* Песня про Чуркина-атамана — народная обработка стихотворения немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта (1810-1876), переведенного на русский язык в 1846 году Федором Миллером под заглавием «Погребение разбойника».



Я — вприпрыжку, босиком, весело насвистывая «с гор тучки, тучки понависли» — возвращалась из сада, неся решето малины.

Это были последние беззаботно-счастливые минуты моей жизни...

— Идем, мама! — и я помогаю ей встать. Боже мой! Как заголо-
сили бабы!



— «Идем, мама!» и я помогаю ей встать. Боже мой! Как заго-
лосили бабы!

После обильного, вкусного обеда все комсомольцы перешли на уютную розами террасу. Комсомольцы спорят о принципах марксизма, а горничная Ксюнька с ног сбивалась, поднося им то то, то иное угощение. Трудно угодить на привередливых барчуков, наивно считающих себя коммунистами!



После обильного, вкусного обеда, все комсомольцы перешли на уютную розами террасу. Комсомольцы спорят о принципах марксизма, а горничная Ксюнька, с ног сбивалась, поднося им то-то, то-иное угощение. Трудно угодить на привередливых барчуков, наивно считающих себя коммунистами!

— Отдайте мне мои рубашечки! Мои новенькие, красивые рубашечки!
На мне совсем старенькая, рваная... — и она подняла свое ситцевое
платице...



— „Отдайте мне мои рубашечки! Мои новенькие, красивые рубашечки! На мне — совсем старенькая, рваная...“ и она подняла свое ситцевое платице....

— Будьте вы прокляты — вы и дети ваши!



Передо мной сидят трое. Все трое с виду очень мало соответствуют обстановке кабинета Городской Управы. С меня струится вода... что также вряд ли «соответствует»...



Передо мной сидят трое. Все трое, с виду, очень мало соответствуют обстановке кабинета Городской Управы. С меня струится вода... что также вряд ли «соответствует»...

Проходя мимо меня, она низко опустила голову, но я ее узнала:
— Что же, Ильяна, теперь ты разбогатела?
Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль...



Проходя мимо меня, она низко опустила голову, но я ее узнала.
— "Что же, Ильяна, теперь ты разбогатела?"
Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль....

Я замерла от удивления.
— Эй, кто там?
Солома зашуршала, и из нее появилось нечто, напоминающее
огородное пугало, сошедшее с шеста.



Я замерла, от удивления...
— «Эй, кто там?»
Солома зашуршала и из нее появилось нечто, напоминающее
огородное пугало, сошедшее с шеста.

Поросята его окружали, тормошили и, наконец, укладывались спать — прямо на него. Сперва я опасалась, что они ему отгрызут нос и уши, но, должно быть, они умели с ним разговаривать или, по меньшей мере, понимали его отлично!



...Поросята его окружали, тормошили и, наконец, укладывались спать — прямо на него.... Сперва я опасалась, что они ему отгрызут нос и уши, но, должно быть, они умели с ним разговаривать или, по меньшей мере — понимали его отлично!

Визитку* он продать не успел, так как сразу пропил овец, а поскольку не было поросят, среди которых он обычно отсыпался, он пошел бродить по деревне. В канаве, куда он свалился, было мало воды, зато много лягушачьей икры. Бедная визитка! Бедный Тома!

* Сюртук.



Нележки были первые шаги! На волах я никогда не работала. К тому же, мне дали тех, с которыми никто не хотел работать. Но, привередничать мне не приходилось...



Нележки были первые шаги! На волах я никогда не работала,
К тому же, мне дали тех - с которыми никто не хотел работать..
Но.... Привередничать мне не приходилось....

Искры улетали в темнеющее вечернее небо, все ярче огонь, все красивее раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно — как обряд — свое дело.



Искры улетали в темнеющее вечернее небо. Все ярче огонь, все красивее раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно — как обряд — свое дело.



— Не знаю, ждет ли меня там собачья смерть, но что здесь тебя ждет собачья жизнь — в этом я уверен!



"... Не знаю, ждет ли меня там собачья смерть, но что, здесь, тебя ждет собачья жизнь — в этом я уверен!"

Еще один поцелуй... Не надо слез! Прощай!
Нет — до скорого свидания!



Я стояла и смотрела. Еще один раз увидела я ее на следующем подъеме. Маму различить уже было нельзя. Но я знала, что она смотрит, смотрит...

Прощай, моя мужественная старушка! Нет, не прощай, а до свидания, до скорого свидания! Не может быть, чтобы меня не оценили! И все образуется.



1. Дорогая моя старушка! Ты не поняла моей хитрости. Ты так обрадовалась!.. Ты, будучи уже больной, уговаривала меня пойти в кино. Как мне было тебе сказать, что мне не до развлечений? Единственное, что я могла придумать, это рисовать марины Айвазовского, сидя у твоих ног. Ты так хотела, чтобы я рисовала... «Vraiment, tu as du talent! Tu dois faire de la peinture! Absolument! Promets-le moi!» («Право слово, у тебя есть талант! Ты должна заниматься живописью! Непременно обещай это мне!») И еще об одном ты меня просила: записать, хотя бы в общих чертах, историю тех лет... Хотя кое в чем Данте меня опередил, описывая девять кругов ада. Нет! Я просто не могу смириться с мыслью, что после двадцати лет разлуки, прожитых вдали от меня, не имея никакой опоры, кроме себя самой, своих сил, своего ума и доброй воли, именно теперь, когда моя храбрая старушка с молодой душой смогла получить все, о чем она могла только мечтать: уютный домик, где все было устроено сообразно с ее вкусами, сад, который она сама считала «самым красивым из райских уголков», наконец, дочь, готовая радоваться ее радостью... И все это потерять, не успев как следует насладиться!

2. Трудно себе представить более мирную картину! Папа, как английский король, «царствовал, но не управлял» («Le roi regne et ne gouverne pas»). Все хозяйство давно было моей обязанностью, и я всегда была рада и горда, что он мог спокойно читать в шезлонге в своем саду; рядом с ним — мама, у его ног — любимая собака...

3. В Европе разгоралась непонятная «странная война»*. Обе стороны топтались, стоя друг против друга, и показывали одна другой кукиш в кармане. При поверхностном осмотре казалось, что «лава застыла», но подземные удары заставляли настораживаться. Но я ничего не замечала. Я работала с увлечением, и результаты уже сказывались. Я акклиматизировала новые виды злаков, поставляла отделению народного хозяйства (Camera Agricola) сортовые семена, за что они мне предоставляли трактор для вспашки земли. Одновременно «встала на рельсы» ферма племенного скота.

* «Странная война» — период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года на Западном фронте. — Здесь и далее примечания составителя.

4. 27 июня 1940 года, вернувшись вечером с поля и управившись с хозяйством, я подседа к маме — по-

пить чаю. Мы слушали радио. Из Бухареста передают последние новости: «Из Лондона сообщают...» Вначале — о положении на фронте. И вдруг тем же монотонным голосом диктор продолжает: «Советский Союз высказал претензию на территорию Бессарабии. Смешанная комиссия в составе (имярек) генералов вылетает в Одессу для урегулирования этого вопроса...» Мама подносила ко рту чашку. Рука ее задрожала, и чашка со звоном опустилась на блюдце. Я помню ее растерянный взгляд:

— Как же так? Что же это будет?

До меня, кажется, «не дошло»...

— Что будет — увидим. А пока что пей чай! — сказала я невозмутимо.

5. Слушать новости по радио не пришлось: новости явились сами... в образе советских самолетов. Один приземлился неподалеку от нашего поля. Еще несколько таких же небольших самолетов с ревом пронеслись, на бреющем полете, на запад. Бросив работу, я поспешила домой.

6. По дороге через деревню Цепилово проходили грязные, защитного цвета бронемашин, небольшие танкетки. Из танкетки текло что-то черное. Группа парней подталкивали друг друга локтями и хихикали.

— Как овечки: где стал, там и лужа...

Они шушукались, посмеивались, подталкивая одного немолодого уже мужичка, пока он не шагнул вперед и не спросил:

— Что ж это вы, ребята? Только что границу перешли — и сразу на ремонт?

На что механик буркнул сквозь зубы:

— Мы уже три месяца в походе...*

* В июне 1940 года по советско-румынскому соглашению Государственная граница СССР с Румынией была восстановлена по рекам Прут и Дунай. На территории Бессарабии и Северной Буковины, отторгнутые от Советского государства в 1918 году, были введены войска Южного фронта.

7. (Из тетрадного варианта)

Дома я мамы не застала: она ушла в город за новостями. Я пошла туда же. За сорочским мостом, метрах в 50 выше него, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом — труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской. На обочине сидел солдат с винтовкой...

Вид у него был унылый.

— Как это случилось? — спросила я.

— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?

Я удивилась: какие же это горы? Маленький уклон! Но ведь в мире все относительно!

8.

Воскресенье. В поле работ нет. Я отпустила в город не то на митинг, не то на парад двух своих рабочих. Вдруг со стороны леса появилась группа всадников, военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой:

— А скажи-ка, где здесь у вас ба-а-а-рин?

Я воткнула вилы и, отирая пот с лица, не спеша ответила:

— Барин — это я!

— У вас тут стог сена. Мы его возьмем для конной артиллерии.

— Это сено лесное, неважное; есть у меня в трех верстах отсюда хорошее полевое сено.

9.

До могилы Марина все шло хорошо. От могилы — крутой спуск. Я, не меняя аллюра, устремляюсь вниз, с водомойны. На половине спуска оглядываюсь. Нет моих спутников! Спешились и ведут коней в поводу... Вот те и на! Оказывается, все это были жители Полтавщины. У них местность равнинная, и наши холмы кажутся им горами!

10.

Завязалась оживленная беседа. Вернее — дуэль. Спорим политрук и я.

...я спрашивала, чем объяснить голод 1933 года? какой общественный или государственный орган контролирует поступки Сталина и каким путем народ может ограничить его власть и не дать ей превратиться в самодержавие?

Ветеринар улегся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но время от времени открывает глаза и делает мне какие-то знаки.

Как далека была я от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды. Это в XX веке!

11.

— Мама! Что за базар?!

— Видишь ли, мне посоветовали кое-какие зимние вещи отвезти в город... А вдруг решат, что у нас слишком много? Ведь могут забрать, как излишки, и оставят нам по одной лишь смене.

— Фу, мама, стыдись! Неужели мы должны воровать собственные вещи? Ничего мы не будем делать тайком, как те, у кого совесть нечиста!

12.

Поздно вечером я ужинаю. Целый день работы в поле дает о себе знать: приятная усталость, удовлетворенность после хорошо выполненной работы и волчий аппетит.

Открывается дверь — на пороге румынский солдат.

— Севка! Ты ли это? Слава Богу...

— Вот в этом-то я не уверен: слава ли Богу?

Мой двоюродный брат Сева после окончания агротехнической школы пошел волонтером в румынскую артиллерию, смысленный парень вскоре получил звание сержанта. Неожидаемое появление советских танков застало их врасплох, офицеры бежали. Сева передал офицеру на румынской границе приведенную им артиллерийскую часть и попросил разрешения... дезертировать.

— Хорошо ли я поступил?

— Разумеется, хорошо! Ты же — русский! Здесь ты дома!

13.

Власти у нас были пока что лишь военные, и решено было сходить к военному прокурору.

Я изложила прокурору все свои сомнения, все, что мне неясно, ничего не скрывая. Я не хитрила и была

предельно откровенна и доверчива.

Для начала я перечислила до мельчайших подробностей все, что у меня есть. Не сочла нужным скрывать, что нас считают помещиками, у нас 46 гектар земли.

— Какие же вы помещики? — пожал плечами прокурор. — Это кулацкое хозяйство. Не скрою: всего этого вам не оставят, да вы и сами не захотите, так как налоги были бы для вас непосильны. Дом и сад — безусловно ваши, обрабатывайте то, что вы в состоянии обработать собственными руками, не используя наемный труд.

14.

Мы вышли из прокуратуры и остановились на крыльце.

— Как все странно! — сказала мама, спускаясь по ступенькам. — Нам приходится расплачиваться за ошибки, которых не совершали. ... Не мы делали эти ошибки, а наши предки — все это дворянство, помещики царских времен! Своим отцом ты можешь только гордиться! Он был идеальный, кристально-чистый человек, наделенный гражданским мужеством. Заметила ли ты: при прежней царской России главой нашей семьи был папа; когда мы переехали в Румынию, роль главы перешла ко мне — я знала в совершенстве язык, могла бороться с румынскими бюрократами, защищать наши интересы и добилась в этой борьбе победы. Теперь же, при советском строе, главой семьи становишься ты: молодой строй — молодежи открывается дорога! Иди смело по ней! А я с тобой ничего не боюсь и верю, что с тобой я как у Христа за пазухой и что все будет хорошо! Идем же домой... И знаешь что? Сделаем сегодня на обед вареники с малиной!

15.

Я вприпрыжку, босиком, весело насвистывая «с гор тучки, тучки повисили»*, возвращалась из сада, неся решето малины. Это были последние беззаботно-счастливые минуты моей жизни...

Кто взял у меня из рук решето с малиной? Не помню...

Вот мама стоит в халате, перепачканном мукой; в руках, вымазанных тестом, черная сумочка. Зачем? Что это за люди? Чужие, знакомые...

* Песня про Чуркина-атамана — народная обработка стихотворения немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта (1810–1876), переведенного на русский язык в 1846 году Федором Миллером под заглавием «Погребение разбойника».

16.

Мы очутились возле папиной могилы. Теперь я поняла: нас выгнали.

Ни стоны, ни слезы не проронила мама, опустившись на колени и припав лицом к нагретой земле. Я опустилась с нею рядом и поцеловала крест...

— Идем, мама! — и я помогаю ей встать.

Боже мой! Как заголосили бабы!

«Сними с нас проклятие! Не будет нам и детям нашим счастья!»

17.

Фермеров на весь наш Сороковский уезд было всего двое, Алейников и Яневская. У нее я научилась тому, чему по книжке не выучишься, а именно — работе.

Самое удивительное — это ее левые убеждения: Ирина Александровна Яневская считала себя коммунисткой, и ее дети были членами румынского комсомола. У нее-то и собиравлись местные комсомольцы и «вели работу» среди крестьян. После обильного, вкусного обеда все комсомольцы переходили на уютную розами террасу. Комсомольцы спорили о принципах марксизма, а горничная Ксюнька с ног

сбивалась, поднося им то то, то иное угощение. Трудно угодить на привередливых барчуков, наивно считающих себя коммунистами!

18.

Ленчику, младшей в семье дяди Бори, брата моего отца, никогда не доставалось никакой обновы. А тут ей вдруг счастье привалило: ее старшей сестре Катюше, ученице женской профессиональной школы, надо было шить шесть детских (или кукольных) рубашечек... И вдруг надо уходить из дому без ее нарядных, первых в жизни своих рубашечек!

Она кинулась к тем незнакомым, чужим дядям, что выгоняли ее из дома:

— Отдайте мне мои рубашечки! Мои новенькие, красивые рубашечки! На мне совсем старенькая, рваная... — и она подняла свое ситцевое платице, чтобы показать, что на ней — старенькая, рваная рубашонка....

19.

Дяде Боре дали ведро для воды, буханку черного хлеба и велели уходить из отцовского дома.

— Будьте вы прокляты — вы и дети ваши! — не выдержал дядя Боря... С грохотом покатилося ведро по ступенькам крыльца: — Да постигнет вас, Иродово племя, Божья кара!

Он пошатнулся, обхватив голову руками. Сережка и Сева его обхватили и повели вниз с крыльца.

— Папа, тише! Папа, успокойся! — бормотали они растерянно.

Так ушел Борис Керсновский из дома, где он родился, где умерли его отец и мать...

20.

— Мое имущество должно быть разделено между бедняками. Я — один из них. И требую свою долю! — заявила я, войдя в кабинет бывшей городской управы, ныне — горсовета.

Передо мной сидят трое. Все трое с виду очень мало соответствуют обстановке кабинета Городской Управы.

С меня струится вода... что также вряд ли «соответствует»...

— Для нас паразит хуже скота. Вот я, например, шахтер; этот — рабочий, а вот этот — колхозник.

Подхожу к нему, беру его за руку и переворачиваю ее ладонью вверх. Пухлая, мягкая рука. Кладу рядом свою: жесткая ладонь, покрытая мозолистой кожей с твердыми четырехгранными мозолями. Кажется, разговор с помещицей оборачивается не в пользу трудового пролетариата! Тот, кто сидит в центре, пишет короткую записку. Читаю: «сапа, лопата, коса, садовые ножницы...»

21.

Кроме моего же инструмента, еще дали мне из вораха тряпья старую, потертую охотничью куртку моего отца. Сколько воспоминаний было с нею связано!

На обратном пути я шла мимо дома дяди Бори. Там еще продолжался дежес вещей... Навстречу мне попала одна женщина из соседней деревни Окоliny. Она несла облупленную эмалированную кастрюлю и фаянсовый ночной горшок Ленчика.

Проходя мимо меня, они низко опустила голову, но я ее узнала:

— Что же, Ильяна, теперь ты разбогатела?

Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль...

22.

Это было несколько лет назад. Однажды, возвращаясь с заседки (вид охоты на зайцев, когда сидишь, притаившись, на опушке леса и подстерегаешь зайцев, выхо-

дящих в поле, или лисиц, крадущихся за зайцами), я остановилась возле скирды соломы... Вдруг я услышала шелест, шуршание и, наконец, вздох...

Я замерла от удивления.

— Эй, кто там?

Солома зашуршала, и из нее появилось нечто, напоминающее огородное пугало, сошедшее с шеста.

Старику Томе некуда было идти... Во время наводнения погибла его семья, он все пропил и жил где придется.

Мне стало жаль старика. Я накормила его и разрешила ему переночевать.

23.

Поросята его окружали, тормошили и, наконец, укладывались спать — прямо на него. Сперва я опасалась, что они ему отгрызут нос и уши, но, должно быть, они умели с ним разговаривать или, по меньшей мере, понимали его отлично!

Так старик Тома прожил он у меня несколько лет. Всю неделю ухаживал за животными, а по воскресеньям напивался.

24.

При разделе нашего имущества Томе досталась папина визитка*.

Визитку он продать не успел, так как сразу пропил овец, а поскольку не было поросят, среди которых он обычно отсыпался, он пошел бродить по деревне. В канаве, куда он свалился, было мало воды, зато много лягушачьей икры. Бедная визитка! Бедный Тома!

Зимой 1940–1941 года он замерз. Мир праху его!

* Сюртук.

25.

Итак, я начинаю новую жизнь. Время — июль месяц...

Агротехническое училище очень нуждается в рабочих руках — у них большая показательно-учебная ферма. Нелегки были первые шаги! На волах я никогда не работала. К тому же мне дали тех, с которыми никто не хотел работать. Но привередничать мне не приходилось, и я смело взяла выделенных мне волов и пошла их закладывать. Урыт взглянул на меня злым глазом и, ринувшись неожиданно вперед, поддел меня рогом под ребро и так грохнул об землю, что у меня перехватило дыхание и в глазах потемнело. К счастью, я не растерялась и откатилась в сторону, когда он пытался меня затоптать.

26.

Лемеха на плуге оказались до того тупыми, что работать было просто невозможно! Пассивная роль не для меня. Отвинтив все 12 лемехов, я шагаю босиком по стерне, прямиком в город к цыгану Александру.

— Я знаю, что ты хороший мастер. Ты всегда натягивал мои лемеха. Выручай и теперь меня! Это лемеха с фермы технико-агрономического училища.

— Если бы и не знал, что у тебя все отобрали, то все равно догадался бы, что не твои! Хозяин их до такого вида не доведет!.. Платить кто будет?

— Я!

Искры улетали в темнеющее вечернее небо, все ярче огонь, все красивее раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно — как обряд — свое дело.

27.

Бодро шла я за плугом. Хотелось не идти, а пританцовывать: лемеха легко и бесшумно резали землю, как масло, волны шагали без напряжения, и широкая черная борозда отбегала назад, блестя срезам.

Приятно сознание хорошо выполненной работы!

28.

Я спала в саду, который ночью сторожила (днем работала на ферме). Вдруг — шаги.

— Севка, ты? Какими судьбами?!

— Ты знаешь, мы уходим. Утром. Идите и вы с нами — ты и тетя Саша. Идите, а то поздно будет!

— Сева, опомнись! Ну, папа, мама, малыши... Это я еще допускаю. Но ты?! Здесь ты у себя, на своей родной земле, которую, как ты сам знаешь, нельзя унести на подошвах своих башмаков. А в Румынии? Что ждет тебя? Да подумал ты хоть о том, что ты дезертир, бросивший свою воинскую часть? Что тебя там ждет? Собачья смерть?

— Не знаю, ждет ли меня там собачья смерть, но что здесь тебя ждет собачья жизнь — в этом я уверен!

29.

Я начала подыскивать попутчиков, с которыми можно было бы отправить маму в Румынию. Случай подвернулся скоро: в Румынию уезжал пожилой священник с матушкой. В их одноконной бричке было место и для мамы.

Еще один поцелуй... Не надо слез! Прощай!

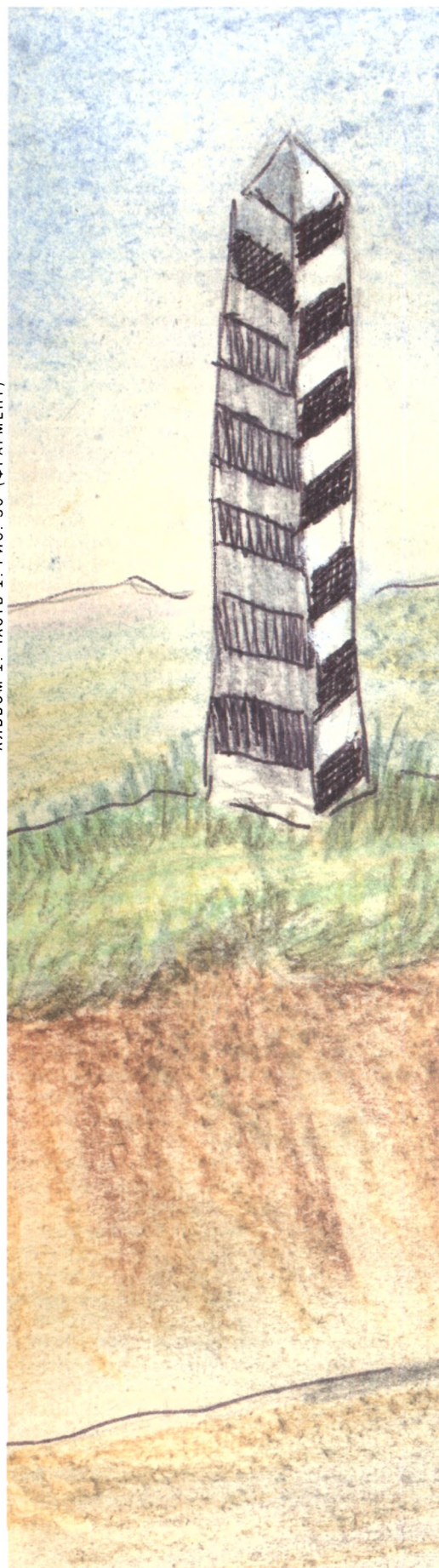
Нет — до скорого свидания!

30.

Я стояла и смотрела. Еще один раз увидела я ее на следующем подъеме. Маму различить уже было нельзя. Но я знала, что она смотрит, смотрит... Прощай, моя мужественная старушка! Нет, не прощай, а до свидания, до скорого свидания! Не может быть, чтобы меня не оценили! И все образуется.

Ко мне подбежала моя крестница Маргарита, и я подхватила ее на руки. Я прижимала к себе девочку, и плечи у меня вздрагивали. Без слез. Просто спазм.

АЛЬБОМ 1. ЧАСТЬ 1. РИС. 30 (ФРАГМЕНТ)





Альбом 1. Часть 2

сентябрь 1940 — июнь 1941

66 Лишенная дома и имущества с июля 1940 года, Евфросиния подлежала дальнейшим гонениям и изоляции от общества. Не имея советского паспорта, она решила не жить ни под чьей крышей, чтобы ни на кого не навлечь неприятностей. Она спала там, где временно работала: на ферме агрономического училища, в садах, на виноградниках.

Так как 1 января 1941 года предстояли выборы и явка должна было составлять сто процентов, накануне ей выдали советский паспорт, но с параграфом 39, не разрешавшим жить в больших городах. Это произошло после ее допроса в НКВД (Народном комиссариате внутренних дел), на котором она не скрывала своих взглядов.

Зимой Евфросиния жила в Сороках в комнатке у знакомой своей матери — Эммы Яковлевны Гнанч-Добровольской. Она работала по частному найму: на выкорчевке деревьев, заготовке дров в лесу и распилке дров в городе, причем работала одна, так как НКВД запретил людям с ней работать, угрожая им исключением из профсоюза. От полной изоляции ее спасало общение с семьей советского офицера Дроботенко, квартировавшей у Эммы Яковлевны, и переписка с мамой.

В ночь на 13 июня 1941 года сотрудники НКВД пришли за Евфросинией в ее отсутствие. Отказавшись прятаться, скрываться, она добровольно последовала в ссылку вместе с другими бессарабцами.

Иногда — особенно лунной ночью — я долго не могла уснуть. И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и кваканье лягушек. И вот тогда, когда я была действительно одна — среди поля, на своей охапке соломы, — я переставала чувствовать свое одиночество: мысленно я разговаривала с мамой и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.



Иногда — особенно лунной ночью, я долго не могла уснуть. И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и... кваканье лягушек! И вот тогда, когда я была действительно одна — среди поля, на своей охапке соломы — я переставала чувствовать свое одиночество: мысленно, я разговаривала с мамой и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.

Проезжие удивлялись, глядя на огромные вороха
гниющей кукурузы:
— У детей наших изо рта вырвали и свалили сюда,
чтобы гнило...



Проезжие удивлялись,
глядя на огромные вороха
гниющей кукурузы.
— „У детей наших изо
рта вырвали ... и свалили
сюда, чтобы гнило ...“

Собаки — разжиревшие, ленивые — объелись мясом и только лежали, смотря на очередную жертву. Напуганные непомерными налогами люди спешили избавиться от скота. Продать? Никто не купит... Даром не возьмет... Значит — резать!



Собаки — разжиревшие, ленивые — объелись мясом и только лежали, смотря на очередную жертву. Напуганные непомерными налогами, люди спешили избавиться от скота. Продать? Никто не купит... Даром не возьмет... Значит — резать!

Потихоньку, с тысячью предосторожностей, тащу сноп... О Боже мой!
Как громко он шуршит! Вытащила... Увы, в тайнике пусто... Спокойно!
Это не тот сноп. Надо тащить тот другой, рядом...
Ура! Он здесь!



Потихоньку, с тысячью предосторожностей, тащу сноп... О
Боже мой! Как громко он шуршит! Вытащила... Увы - в
тайнике пусто... Спокойно! Это - не тот сноп. Надо та-
щить тот другой, рядом...
Ура! Он здесь...

...Взошла луна. Возле папиной могилы я остановилась на минуту, опустилась на колени, поцеловала землю и, не задумываясь, прошептала: «Спасибо!»



... Взошла луна. Возле папиной могилы, я остановилась на минуту, опустилась на колени, поцеловала землю и, не задумываясь, прошептала: «Спасибо!»

— Мы 23 года боролись, голодали, всякие лишения переносили, чтобы принести трудящимся всего мира свободу... А вы тут жрете колбасы с белым хлебом!

— Не стоило голодать 23 года, чтобы освободить нас от колбасы и белого хлеба! — ответила девчонка.



В свободное от работы время я возилась с ребятишками — мастерила им игрушки. Детишки были в восторге. Паша восторгалась еще больше: — Вы, Фрося, все умеете, и все у вас получается! И вы всегда бодрая, даже радостная. И вы на нас не сердитесь!



В свободное, от работы, время, я возилась с ребятишками — мастерила им игрушки. Детишки были в восторге; Паша восторгалась еще больше. — «Вы, Фрося, все умеете и все у Вас получается! И вы всегда бодрая — даже радостная. И вы на нас не сердитесь!...»

Каждый раз — если мне приходилось бывать у Василия Ивановича Бивола — главного ветеринара — во вторник я видала ту же картину: на веранде сидело с полдюжины накрашенных девиц — в том числе и Маруся Яворская. По вторникам Елена Петровна, городской врач, проводила медосмотр профессиональных проституток. И в том числе мой депутат?! Ну уж нет!



Каждый раз — если мне приходилось бывать у Василия Ивановича Бивола — главного ветеринара — во вторник, я видала ту-же картину: на веранде сидело с пол-дюжины накрашенных девиц — в том числе и Маруся Яворская. По вторникам, Елена Петровна, городской врач, проводила медосмотр профессиональных проституток. И в том числе, мой депутат?! Ну, уж нет!





— 35000 голосов подано «за»; один — «против», — сказал он.



Мы остановились и с удивлением смотрели друг на друга.



Мы остановились и, с удивлением смотрели друг на друга.

«Все, — подумала я. — Завтра у меня не будет напарника».



- Дроворуб, а дроворуб!
- Я сперва даже не подумала, что это относится ко мне.
- Дроворуб! Это вам говорят!
- Оборачиваюсь на голос. Милиционер? А черт его знает!
- Красный околышек.
- В чем дело?
- Идите за мной.
- Это с какой стати? И куда?
- На минутку. Здесь недалеко.



Собственно говоря, ничего страшного в этих пнях не было: дуб — твердое дерево, но колкое; весь секрет — тяжелый топор, меткий удар и настойчивость.



Собственно говоря ничего «страшного» в этих пнях не было; дуб — твёрдое дерево, но — колкое; весь секрет — тяжёлый топор, меткий удар и настойчивость,

Эта работа мне особенно нравилась: лес, тишина, небо, лошади...
 Все это было такое привычное, доброе... и ничуть не изменилось!
 А люди?... Нет! Их как будто подменили.



Эта работа мне
 особенно нравилась:
 лес, тишина, небо, лоша-
 ди.... Все это было такое
 привычное, доброе.... и - ничуть
 не изменилось!
 А люди?... Нет! Их как будто подменили.....

...размахивая бутылкой денатурата, завопила:

— А! Наконец я дождалась, что вы, паразиты, босиком ходите! Довольно на шее трудящихся поездили!

— Когда ты от пьянства умрешь, я своими руками заработаю себе дом...



...Размахивая бутылкой денатурата, за-
вопила:

— А! Наконец я дождалась, что вы, паразиты,
босиком ходите! Довольно на шее тру-
дящихся поездили!...

...когда ты, от пьянства, умрешь, я, своими руками, заработаю себе дом..

— Не могу я допустить, чтобы мой Тодор в твоих сапогах щеголял, а ты босиком ходила! За такой грех нас поразит проклятие!

Она положила на порог шалаша мои сапоги, поклонилась земным поклоном и, со словами «jarta mǎ» («прости, если я виновата»), ушла.



„Не могу я допустить, чтобы мой Тодор в твоих сапогах щеголял, а ты босиком ходила! За такой грех нас поразит проклятие!“

Она положила на порог шалаша мои сапоги, поклонилась, земным поклоном и, со словами „jarta mǎ“ (прости, если я виновата), ушла.

Монета счастья со звоном упала на пол, покатилась и исчезла. На-
прасно ползала я на четверинках*: «счастье» найти не удалось! И вдруг
мама упала головой на стол и разрыдалась — сама не зная почему...
Ира и Сережа стояли с бокалами вина в руках.

* Четверинки — старая форма
слова «четвереньки».

В это время часы начали бить двенадцать. Новый 1940 год вошел
в комнату. Настроение у нас было далеко не праздничное...



„Монета счастья“ со звоном упала на пол, покатилась и... исчезла. На-
прасно ползала я, на четверинках: „счастье“ найти не удалось! И вдруг
мама, упала, головой на стол и разрыдалась — сама не зная почему... Ира
и Сережа стояли, с бокалами вина, в руках.

В это время часы начали бить двенадцать. „Новый“ — 1940 год — вошел
в комнату. Настроение, у нас, было далеко не праздничное...

— Что с Вами? Вам плохо? — кинулась к старушке Зина.
 — Бедные вы, бедные — всхлипывала та, — как вы были счастливы,
 и что ждет вас?
 Слезы текли по ее морщинистым сероватым щекам...



— „Что с вами? Вам плохо?“ — Кинулась к старушке Зина.
 — „Бедные вы, бедные“ — всхлипывала та — „как вы были счастли-
 вы и что ждет вас?“
 Слезы текли по ее морщинистым, сероватым щекам...

— ...А я бы посоветовал вам: пользуйтесь случаем, пока вам открыта дверь!
 — Эта дверь ведет на задворки! К тому же на задворки вражеской страны, ненавидящей мою родину. Эта дверь не для меня!
 — А какая же дверь для вас?
 — Та, в которую можно войти, не опуская головы и не сгибая спину!
 Та, на которую мне дает право честный труд!
 — А кто вам такую дверь откроет?
 — Может быть, вы!
 Он усмехнулся.



«... а я-бы посоветовал вам: пользуйтесь случаем, пока вам открыта дверь!»
 «Эта дверь ведет на задворки — к тому же на задворки вражеской страны, ненавидящей мою родину. Эта дверь — не для меня!»
 «А какая же дверь для вас?»
 «Та, в которую можно войти, не опуская головы и не сгибая спину! Та, на которую мне дает право честный труд!»
 «А кто вам такую дверь откроет?»
 «Может быть — вы!» — Он усмехнулся.

Тропинка все круче. Паша то виснет на моей руке, то цепляется за что попало: за дерево, за забор...



Тропинка - все круче; Паша -
то виснет на моей руке, то цепляется
за что попало : за дерево, за забор...

Я наняла балагулу* и, захватив с собой Котю и Люду, съездила в больницу за Пашей и новорожденным.

* Балагула — извозчик

Это была впечатляющая процессия! Впереди — я с ребенком на руках; за мной — Паша с ребятами, скачущими от восторга.

Ну чем я не «папа»?!



Я наняла „Балагулу“ и, захватив, с собой Котю и Люду, съездила, в больницу за Пашей и новорожденным.

Это была впечатляющая процессия! Впереди — я, с ребенком на руках; за мной — Паша, с ребятами, скачущими от восторга.

Ну, чем я — не „папа“?!

Бедняга Дроботенко побледнел с перепуга, но парторг сам задал тон.
— Что ж? Похристосуемся — и за стол! — сказал он.

Все стали христосоваться. Дети визжали от восторга, цепляясь за отца, а тот, улыбаясь, держал в руках новорожденного. Разве плохо, когда все радуются? А грозные события близко.



Бедняга-Дроботенко, побледнел, с перепуга, но парторг сам „задал тон“

— „Что же? Похристосуемся и — за стол!“ — сказал он.

Все стали „христосоваться“. Дети визжали, от восторга, цепляясь за отца, а тот, улыбаясь держал в руках, новорожденного. Разве плохо, когда все радуются? А грозные события близко.

Церемония была очень торжественная. Заодно исповедалась и приобщилась старушка Эмма Яковлевна, хоть она и лютеранка. Удивительно, до чего чинно и серьезно держались Котя и Люда, как старательно целовали они крест! Я держала на руках маленького Юрку*.

* Юрий Дроботенко (1941-2012) стал доктором, работал главным врачом хирургического отделения детской больницы в г. Старый Оскол. После публикации в «Огоньке» в 1990 г. на одном из рисунков Е. Керсновской он узнал своих родителей и понял, что Евфросиния — его крестная. Их встреча состоялась в Ессентуках в 1991 г.



Церемония была очень торжественная. Заодно исповедалась и приобщилась старушка Эмма Яковлевна - хоть она и лютеранка. Удивительно, до чего чинно и серьёзно держались Котя и Люда, как старательно целовали они крест! Я держала на руках маленького Юрку.



Я присела у синагоги. Оттуда открывался заме-
чательный вид на город. Где-то, на северо-востоке,
полюхали зарницы. Приближалась гроза. Было душно.
Время от времени падало несколько тяжелых капель
дождя.

Внизу, на площади, играло радио - мои любимые пластинки -
те, что мы, когда-то, слушали, в Цепилове - папа, мама, Ира, я и
Дианка. Волна воспоминаний захлестнула меня и душа, как
распрямилась и потянулась к жизни, к радости, к счастью....

Какая то непонятная смесь сматенья и надежды охватила м

Я присела у синагоги. Отсюда открывался замечательный вид на город. Где-то на северо-востоке полыхали зарницы. Приближалась гроза. Было душно. Время от времени падало несколько тяжелых капель дождя.

Внизу, на площади, играло радио мои любимые пластинки — те, что мы когда-то слушали в Цепилове: папа, мама, Ира, я и... [собака] Дианка. Волна воспоминаний захлестнула меня, и душа как бы распрямилась и потянулась к жизни, к радости, к счастью... Какая-то непонятная смесь смятения и надежды охватила меня... Это будет!



И не музыка сама по себе выжала на глазах моих слезы... Просто на меня пахнуло той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которое так тесно связывало нашу семью, и мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви — всего того, что было! Мне показалось, что это не я сижу на камне у синагоги, что я там на ковре, у ног отца, рядом с любимой сестрой, что я имею право на счастье!

Одиночество пройдет — и я дождусь счастья! Но для этого надо бороться: победа не приходит сама собой, без борьбы.



И - не музыка, сама по себе выжила
Просто на меня пахнуло той любовью
Взаимным уважением, которое так т
воли, захотелось неловческой жизни
Мне показалось, что это - не я сижу
у ног отца, рядом с любимой сестрой
Одиночество пройдет и я дождусь
победы не приходит сама - собой, без



из моих слёз...
покойствием и
связывало нашу семью и мне, до
верья, любви... всего того, что было!
мне, у синагоги, что я — там, на ковре,
я имею право на счастье!
счастья! Но для этого, надо бороться;
бы...

— Берут всех: детей, стариков... Берут в чем попало: раздетых, больных... Злодеев так не хватают... А ведь это мирные, честные люди. Ах, Фросинька! Бегите, спрячьтесь. Может быть, спасетесь...
 — Бегут те, у кого совесть нечиста, а прячутся — трусы! — с некоторой напыщенностью сказала я.



«...берут всех-детей, стариков... Берут в чём попало — раздетых, больных... Злодеев так не хватают... А ведь это — мирные, честные люди... Ах, Фросинька! Бегите, спрячьтесь... Может быть и спасётся...»
 — Бегут те, у кого совесть нечиста, а прячутся — трусы! — с некоторой напыщенностью, сказала я.

— Бояться надо только Бога, но на Него надо и надеяться! Я заменю вам мать и благословлю на крестный путь. Уповайте на милость Господню и на молитвы матери вашей...



— Бояться надо только Бога, но на Него надо и надеяться!
Я заменю вам мать и благословлю на крестный путь....
Уповайте на милость Господню и на молитвы матери вашей

Он пытался мне всучить 25 рублей, но я их, разумеется, не взяла.
— Никто не знает, дорогой Александр Дмитриевич, что ждет вас самих завтра! И деньги вам понадобятся больше, чем мне! Я молода, здорова и вынослива! Я все выдержу!

О храбрость неведения! Могла ли я ждать, что то, что меня ждет, превышает силы человеческие?

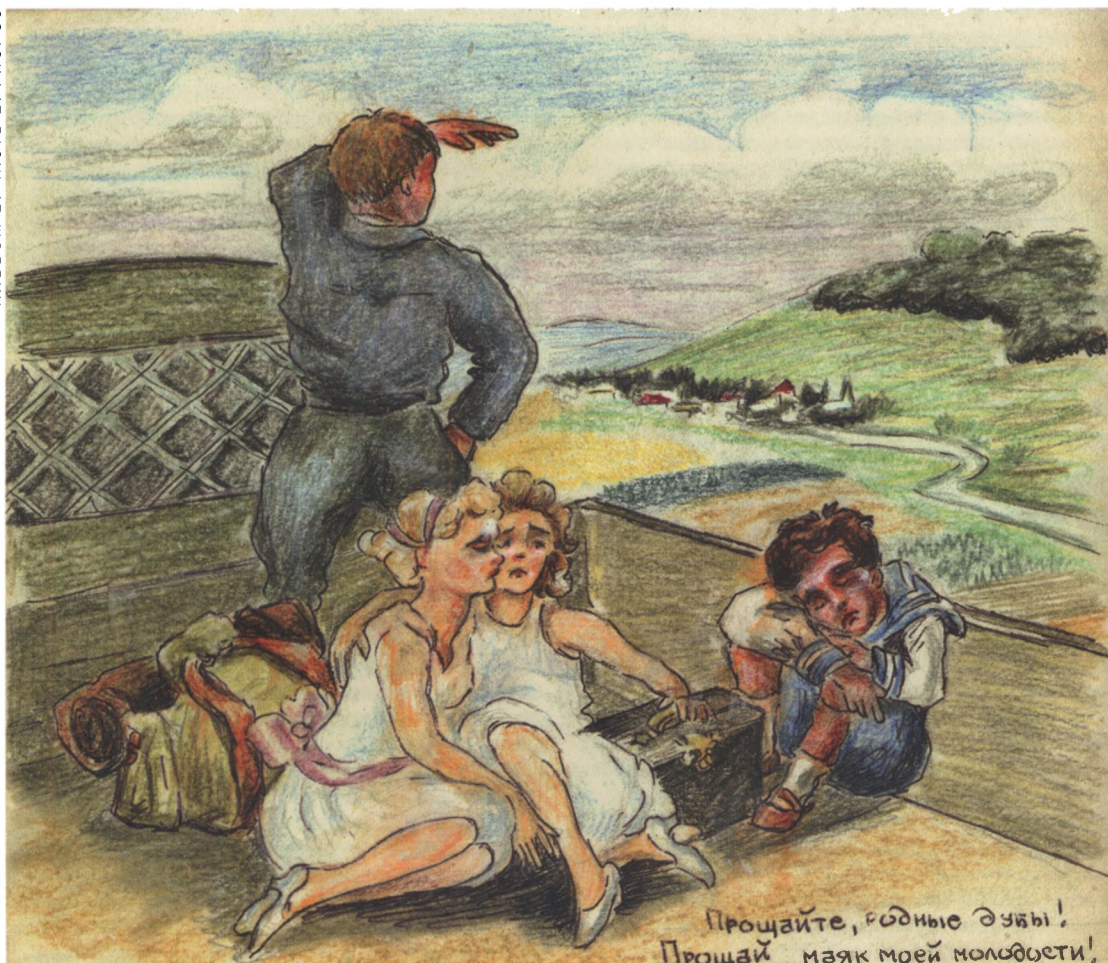


... он пытался мне всучить 25 рублей, но я их, разумеется, не взяла.
— Никто не знает, дорогой Александр Дмитриевич, что ждет вас самих завтра! И деньги вам понадобятся больше, чем мне: я молода, здорова и вынослива! Я все выдержу!"

О, храбрость неведения! Могла ли я ждать, что то, что меня ждет, превышает силы человеческие?

Прощайте, родные дубы! Прощай, маяк моей молодости! С самого детства, откуда бы я ни возвращалась, эти два дуба, сливающиеся на расстоянии в шар — компактный летом, кружевной зимой, — всегда наполняли мое сердце теплом родного дома, теплом родительской любви.

Прощай, Цепилово! Все мое прошлое, прощай!



Прощайте, родные дубы!
Прощай, маяк моей молодости!

С самого детства — откуда бы я ни возвращалась — эти два дуба, сливающиеся на расстоянии, в шар — компактный, летом, кружевной зимой — всегда наполняли моё сердце теплом родного дома, теплом родительской любви,

Прощай, Цепилово! Все моё прошлое, прощай!!!

31. Иногда — особенно лунной ночью — я долго не могла уснуть. И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и кваканье лягушек. И вот тогда, когда я была действительно одна — среди поля, на своей охапке соломы, — я переставала чувствовать свое одиночество: мысленно я разговаривала с мамой и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.

32. ...Люди были напуганы и везли все, что с них потребовали в качестве налога государству. Кукуруза, сваленная в огромные вороха, очень скоро нагрелась: сперва из нее пошел теплый пар; затем густой зловонный туман заволок все поле от мельницы Иванченко до Алеиниковской церкви. Горы золотых початков превратились в зеленовато-бурую гниющую массу.

Проезжие удивлялись, глядя на огромные вороха гниющей кукурузы:

— У детей наших изо рта вырвали и свалили сюда, чтобы гнило...

33. Собаки — разжиревшие, ленивые — объелись мясом и только лежали, смотря на очередную жертву. Напуганные непомерными налогами люди спешили избавиться от скота. Продать? Никто не купит... Даром не возьмет... Значит — резать!

34. В первые дни, как только вышло распоряжение о сдаче оружия, я его сразу выполнила. Однако я не все сдала. Винчестер, который я получила от дяди, страстного охотника, был красивый, как игрушка... И какой меткий бой! Еще был наган, отец подарил его, когда мне исполнилось 16 лет. Подарок ко дню рождения, он мне дорог, как память!

Я их хорошенько смазала и спрятала в скирде подсолнечных палок. Однако беда была в другом: кобурку к нагану подарил мне наш добрый приятель, муж Яневской, человек, которого я очень уважала и ни за что не могла допустить, чтобы он из-за меня пострадал, если бы оружие нашли: на внутренней стороне кобуры чернильным карандашом были написаны его имя и фамилия — Сергей Мелеги.

Будь что будет, а эту кобурку я должна взять обратно! И я приняла решение пробраться во двор моего бывшего дома и выкрасть свое оружие.

Потихоньку, с тысячью предосторожностей, тащу сноп... О Боже мой! Как громко он шуршит! Вытащила...

Увы, в тайнике пусто... Спокойно! Это не тот сноп.

Надо тащить тот другой, рядом... Ура! Он здесь!

Вытаскиваю винчестер, затем наган в кобуре.

Растегнула кобурку, вытащила из дула пробку. Порядок!

35. Проскользнув снова через лазейку, встаю на ноги и, пригибаясь, иду, все ускоряя шаг. От колодца — бегом. И вовремя.

Взошла луна. Возле папиной могилы я остановилась на минуту, опустила на колени, поцеловала землю и, не задумываясь, прошептала: «Спасибо!»

36. У Пети Малинды (он изготавливал колбасы и торговал мясом) квартировали военные, в том числе политрук, в прошлом матрос, очень любивший поговорить на политические темы.

Как-то, присмотревшись к тому, как живут у нас рабочие, отнюдь не богатые люди, он с досадой воскликнул:

— Мы 23 года боролись, голодали, всякие лишения переносили, чтобы принести трудящимся всего мира свободу... А вы тут жрете колбасы с белым хлебом!

— Не стоило голодать 23 года, чтобы освободить нас от колбасы и белого хлеба! — ответила девчонка, прислуга Малинды (это было как раз на посиделках: у нее собрались прясть шерсть, а парни пришли со скрипкой и флейтой — все веселились, и, как положено, на столе было приготовлено угощение — традиционные голубцы, пироги, колбасы, вино).

37. Гриша Дроботенко, младший лейтенант, его жена Паша Светличная, военфельдшер, и их дети Люда и Котя — первая советская семья, с которой мне довелось познакомиться, так как они квартировали у Эммы Яковлевны, той старушки, у которой нашла пристанище мама до отправки в Румынию.

В свободное от работы время я возилась с ребятами — мастерила им игрушки. Детишки были в восторге. Паша восторгалась еще больше:

— Вы, Фрося, все умеете, и все у вас получается!

И вы всегда бодрая, даже радостная. И вы на нас не сердитесь!

38. (Из машинописного варианта)

1 января 1941 года. День выборов!

Я не люблю толпы и, где только есть возможность, избегаю толчеи. Поэтому, посмотрев на объявление: «Избирательный участок открыт с шести часов утра до двенадцати часов ночи», — решила не спешить. Схлынет толпа — пойду.

Две фамилии кандидаты в депутаты мне были неизвестны, а третья — Маруся Яворская, о которой было написано, что она «беднячка», — профессиональная проститутка, одна из тех, кто по вторникам приходила к городскому врачу Елене Петровне Бивол на медосмотр! Каждый раз — если мне приходилось бывать у Василия Ивановича Бивола — главного ветеринара — во вторник

я видала ту же картину: на веранде сидело с полдюжины накрашенных девиц — в том числе и Маруся Яворская. По вторникам Елена Петровна, городской врач, проводила медосмотр профессиональных проституток. И в том числе мой депутат?! Ну уж нет!

Нет, если такую неисправимую особу ставят на одну ступеньку с теми двумя, что мне неизвестны, то извините, такие депутаты меня не устраивают. И я перечеркнула всех трех.

39.

На следующий день после выборов я сидела у Милобендзских и доканчивала отделявать лошадь-качалку для Коти Дроботенко — прилаживала ему пышный хвост. У Казимира Каликстовича, которого все для ясности называли просто Клистирыч, были всевозможные инструменты: он сам любил что-либо мастерить, а мне охотно разрешал в своей столярной мастерской работать. Клистирович прикреплял к уздечке медные бляхи и бубенчики, когда в комнату вошел один из начальства НКВД, квартировавший у Милобендзских.

— 35000 голосов подано «за»; один — «против», — сказал он и многозначительно глянул на меня. Я не отвела глаз и, усмехнувшись, сказала:

— А лошадка хоть куда, не правда ли?

40.

Начинался год 1941-й. Конец одной эры, начало другой. Работы на виноградниках закончились. Я купила два топора, пилу и навела справки, где, в каких учреждениях можно подрачиться пилить и колоть дрова. Искать напарника мне не пришлось, он сам напросился. Цыган Иван Бужор работой нахвалиться не мог! Но в следующий понедельник он на работу не вышел, сказал, что его якобы наняли к лошадям кучером. Жаль!

Я скорым шагом спускалась по крутой тропинке мимо синагоги в город и возле старого кладбища чуть не столкнулась со старушкой, идущей по этой же тропинке вверх. Оказалось, что это наша старая знакомая Феофания Петровна Буды, глазной врач.

— Мне все Иван Бужор рассказал. Я так была возмущена! Он работает у меня поденно: дорожку в саду мостит кирпичом, мусор убирает.

— У вас? Поденно? Да ведь он в какое-то учреждение кучером поступил...

Мы остановились и с удивлением смотрели друг на друга. — Кучером? Нет! Он без работы. Его вызвали в НКВД и сказали, что если он будет работать с вами, бывшей помещицей, то его возьмут на заметку как идеологического врага и тогда он сам окажется за бортом: его не примут в профсоюз.

41.

Я вспомнила, что у Василия Лисника есть сыновья, и он мне дал своего старшего сына Ванюшку, парня лет 16.

Взялись мы за 200 рублей гуртом 1000 пудов напилить, поколоть и сложить в сарай так называемой алейниковской школы. За неделю мы окончили, играючи, и парню было даже неловко брать половину платы.

И вот однажды, когда мы пилили дрова на Божаровке, подошел милиционер и через забор вызвал Ванюшку. Тот спокойно загнал топор в колоду, кивнул мне и пошел. «Все, — подумала я. — Завтра у меня не будет напарника».

42.

Я нашла выход из положения. У столярной пилы полотно закрепляется в рамку; отчего бы не приспособить подобным же образом поперечную пилу? Сказано — сделано. И теперь я могла работать одна.

Я действую так. Вижу во дворе, где-нибудь под навесом штабель дров. Вхожу: «Хозяйка, давайте-ка я напиллю и наколю вам дров!» Мелкие чиновники — самые удобные клиенты.

— Дроворуб, а дроворуб!

Я сперва даже не подумала, что это относится ко мне.

— Дроворуб! Это вам говорят!

Оборачиваюсь на голос. Милиционер? А черт его знает! Красный околышек.

— В чем дело?

— Идите за мной!

— Это с какой стати? И куда?

— На минутку. Здесь недалеко.

43.

Хорошую работенку подыскал для меня Сергей Васильевич Мелеги — муж Яневской. В сельскохозяйственной лаборатории уже несколько лет в подвале было свалено тонн 10–12 огромных дубовых пней. Никто не решался к ним подступиться!

Собственно говоря, ничего страшного в этих пнях не было: дуб — твердое дерево, но колкое; весь секрет — тяжелый топор, меткий удар и настойчивость.

Неполных пять дней работы — и пни превратились в осколки, а 200 рублей оказались в моем кармане.

44.

Эта работа мне особенно нравилась: лес, тишина, небо, лошади... Все это было такое привычное, доброе... и ничуть не изменилось! А люди?.. Нет! Их как будто подменили.

У нас все служащие должны были написать так называемые «автобиографии». Младшая сестра моего отца Лиза была замужем за Алексеем Ивановичем Богачевым. Хороший служака, кто бы мог подумать, что на Первой мировой войне он окажется героем? Во время революции 1917 года его же солдаты его убили. И теперь его дочь, его Леночка, в своей автобиографии написала, будто ее мать вышла замуж, будучи беременной, так что ее отцом был не царский полковник, а какой-то конюх-

цыган. Не постыдилась плюнуть на могилу отца и вылить ушат помоев на голову матери!

45.

Жила-была в Сороках старая баба-пьяница, торговавшая семечками на горе, возле синагоги. Рядом с ее скамеечкой всегда стоял штоф денатурата, который она предпочитала всем другим спиртным напиткам. Однажды, еще в конце лета, я возвращалась с работы босая.

Иваныха загородила мне дорогу и, размахивая бутылкой денатурата, завопила:

— А! Наконец я дождалась, что вы, паразиты, босиком ходите! Довольно на шее трудящихся поездили!

— Когда ты от пьянства умрешь, я своими руками заработаю себе дом...

46.

Однажды, еще летом, когда в дождливую погоду я лежала в шалаше на винограднике, ко мне крадучись подошла женщина, которую я на первых порах даже не узнала.

— Я мать Тодора — парнишки, что у тебя работал. Ты ему, бывало, давала харчей побольше в поле, а я с девочками приходила, чтобы с ним поесть. Вдова я, и ты сама знаешь, что это такое — вдовье хозяйство, пока дети не подрастут. Много мы от тебя добра видели! Ты Тодору, мальчонке, платила, как взрослому работнику, а к каждому празднику из одежды что-либо справляла и Насте моей разные платица. И от себя дала Тодору десятину кукурузы. Ох как это нас выручило! Иначе пришлось бы продать корову... А как с детьми да без молока прожить? Не могу я допустить, чтобы мой Тодор в твоих сапогах щеголял, а ты босиком ходила! За такой грех нас поразит проклятие!

Она положила на порог шалаша мои сапоги, поклонилась земным поклоном и, со словами «jarta mă» («прости, если я виновата»), ушла.

47.

Я вспомнила прошлогоднюю новогоднюю ночь. Мы в моей комнате, где был радиоприемник, повесили на стену часы-ходики и накрыли праздничный стол. Мы — это мама, мы с Ирой и Сережа, сын дяди Бори. В «Василопиту» — пирог в честь святого Василия — запекается золотая монета. Кому она попадется, того ждет счастье в наступающем году!

Монета счастья со звоном упала на пол, покатилась и исчезла. Напрасно ползала я на четверинках: «счастье» найти не удалось! И вдруг мама упала головой на стол и разрыдалась — сама не зная почему... Ира и Сережа стояли с бокалами вина в руках. В это время часы начали бить двенадцать. Новый 1940 год вошел в комнату. Настроение у нас было далеко не праздничное...

«Всему дому» счастья не было: из дома нас выгнали и семья распалась. Мама? Покинув дом в одном халатике, уйдя в Румынию налегке, она в течение двадцати лет жила так, как не дай Бог никому! Я? Ну, обо мне еще речь впереди, но то, что меня ожидало, на счастье похоже не было...

Мой брат? Тяжело раненный в 1940 году во Франции, он умер от последствий ранения. Сережа? Во время войны он погиб под Одессой. Ира? Выйдя замуж, она вскоре заболела туберкулезом и умерла. Умирала она очень мучительно.

48.

Однажды на Святки у Домники Андреевны Попеску был «вечер». Мы веселились: то пели хором, то танце-

вали под несложный оркестр — две гитары, скрипка и кларнет. Разыгрывали шуточные сценки — комичные, остроумные.

В соседней комнате были накрыты столы...

Среди гостей была и мать того майора, который квартировал у Домники Андреевны (того, кто не захотел, чтобы я у него пилила дрова), сморщенная, худенькая старушка в платочке и розовой (ради праздника) кофточке. Она сидела в стороне, и никто ее не замечал.

Вдруг кто-то всхлипнул. Это было неожиданно.

Все вздрогнули и посмотрели в угол. Старушка всхлипывала...

— Что с вами? Вам плохо? — кинулась к старушке Зина.

— Бедные вы, бедные, — всхлипывала та, — как вы были счастливы, и что ждет вас?

Слезы текли по ее морщинистым сероватым щекам...

49.

Вызывают меня в НКВД.

— Мать прислала вам вызов. Вы можете ехать к ней в Румынию.

— Она знает, что в Румынию я ехать не собираюсь! Я ее сама туда отправила в августе прошлого года.

— ...А я бы посоветовал вам: пользуйтесь случаем, пока вам открыта дверь!

— Эта дверь ведет на задворки! К тому же на задворки вражеской страны, ненавидящей мою родину. Эта дверь не для меня!

— А какая же дверь для вас?

— Та, в которую можно войти, не опуская головы и не сгибая спину! Та, на которую мне дает право честный труд!

— А кто вам такую дверь откроет?

— Может быть, вы!

— Он усмехнулся.

Как впоследствии выяснилось (почти через 20 лет), никакого вызова никто мне не высылал!

50.

Гриша Дроботенко, младший лейтенант, должен на 5 месяцев уехать в Киев на какие-то курсы, чтобы получить следующий чин лейтенанта. Приближается срок родов. Паша не хочет в роддом:

— Я сама фельдшер. Я вам буду говорить, как и что, вы и примете роды.

С большим трудом удается ее уломать, и то в последнюю минуту: схватки уже начались.

— Идем пешком, напрямик. Я дойду!

Тропинка все круче. Паша то виснет на моей руке, то цепляется за что попало: за дерево, за забор...

51.

Я наняла балагулу (извозчика) и, захватив с собой Котю и Люду, съездила в больницу за Пашей и новорожденным. Это была впечатляющая процессия! Впереди — я с ребенком на руках; за мной — Паша с ребятишками, скачущими от восторга. Ну чем я не «папа»?!

52.

Я решила как следует отметить Пасху. Не столько для себя, сколько для Паши и ее детей. Подумать только: она никогда в жизни настоящего праздника не видела. Это был настоящий пасхальный стол!

В прихожей послышался топот многих ног, дверь открылась... На пороге стоял Гриша Дроботенко, трое офицеров, очевидно его товарищей, и парторг!

Бедняга Дроботенко побледнел с перепуга, но парторг сам задал тон.

— Что ж? Похристосуемся — и за стол! — сказал он.

Все стали христосоваться. Дети визжали от восторга, цепляясь за отца, а тот, улыбаясь, держал в руках новорожденного. Разве плохо, когда все радуются? А грозные события близко.

53. Несколько дней спустя лейтенант Дроботенко встретился со мной в прихожей.

— Я очень вас прошу: окрестите моих детей! — выпалил он. — По-настоящему! Чтобы и свидетельство было! Я отошлю матери метрики. То-то она обрадуется! Только, пожалуйста, так, чтобы парторг не узнал! Вы тут, дома, на половине старушки.

Церемония была очень торжественная. Заодно исповедалась и приобщилась старушка Эмма Яковлевна, хоть она и лютеранка. Удивительно, до чего чинно и серьезно держались Котя и Люда, как старательно целовали они крест! Я держала на руках маленького Юрку.

54. Я присела у синагоги. Отсюда открывался замечательный вид на город. Где-то на северо-востоке полыхали зарницы. Приближалась гроза. Было душно. Время от времени падало несколько тяжелых капель дождя. Внизу, на площади, играло радио мои любимые пластинки — те, что мы когда-то слушали в Цепилове: папа, мама, Ира, я и... собака Дианка. Волна воспоминаний захлестнула меня, и душа как бы распрямилась и потянулась к жизни, к радости, к счастью... Какая-то непонятная смесь смятенья и надежды охватила меня... Это будет!

55. И не музыка сама по себе выжала на глазах моих слезы... Просто на меня пахнуло той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которое так тесно связывало нашу семью, и мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви — всего того, что было! Мне показалось, что это не я сижу на камне у синагоги, что я там на ковре, у ног отца, рядом с любимой сестрой, что я имею право на счастье! Одиночество пройдет — и я дождусь счастья! Но для этого надо бороться: победа не приходит сама собой, без борьбы.

56. Я быстро шагала через Божаровку, предместье Сорок, и слышала плач и причитания. Может быть, думала я, в одном из этих домов кто-то умер?

Я дошла до Титаревых. Они собирались пить чай на крыльце, выходящем в сад. На крыльцо взбежала соседка и сообщила шепотом, что многих среди ночи ни за что ни про что похватали, на подводы посажали и неизвестно куда везут!

— Ну, значит, и мой черед пришел! — спокойно, почти весело сказала я. И увидела Алису, дочь Эммы Яковлевны. Она еще издали кричала:

— Берут всех: детей, стариков... Берут в чем попало: раздетых, больных... Злодеев так не хватают... А ведь это мирные, честные люди. Ах, Фросинька, за вами уже два раза приходили. Бегите, спрячьтесь. Может быть, спасетесь...

— Бегут те, у кого совесть нечиста, а прячутся — трусы! — с некоторой напыщенностью сказала я.

57. Первая на пороге встретила меня Паша. Она была смущена и растеряна. Слезы текли по ее лицу, и было видно, что она не притворялась, когда, обняв меня, всхлипывала:

— А вас-то за что? Такая добрая, работающая, хорошая... — Ладно! Перемелется — мука будет! Я одна. Здоровая.

Работать привыкла. Мне-то чего бояться?!

В дверях появилась Эмма Яковлевна.

— Бояться надо только Бога, но на Него надо и надеяться! Я заменю вам мать и благословлю на крестный путь. Уповайте на милость Господню и на молитвы матери вашей...

Я опустилась пред ней на колени, и старушка перекрестила меня и поцеловала в лоб.

Сборы были недолги: я надела солдатские штаны, кирзовые сапоги, коротенькую куртку на пояске. В рюкзаке сунула смену белья, шорты и рубашу из домотканого холста, рабочие башмаки, кружку и ложку. В кармане папины часы, его охотничий нож и 6 рублей — все мое «наличие». В другом кармане паспорт и фотография отца.

Я хотела взять свое одеяло, но Паша настояла, чтобы я взяла ихнее, из чистой шерсти. Сколько раз спасало меня это одеяло!

58. Когда человек постригается в монахи, он трижды должен поднять с пола ножницы, которые нарочно роняет постригающий. Нечто подобное имело место со мной в тот памятный день — пятницу 13 июня 1941 года. Я назвала себя и сказала, что меня не было дома, когда ночью за мною приходили. Мне сказали: «Зайдите через часа полтора-два». Звякнули ножницы, упав на пол первый раз.

Но ножницы и во второй раз брякнули, падая на пол. Мне было сказано зайти еще раз. После обеда!

Я решила зайти попрощаться с профессором Павловским, отцом Яневской.

Он пытался мне всучить 25 рублей, но я их, разумеется, не взяла, хотя деньги бы мне не помешали, я свой заработок не торопилась получать, и работодатели мне здорово позадолжали.

— Никто не знает, дорогой Александр Дмитриевич, что ждет вас самих завтра! И деньги вам понадобятся больше, чем мне! Я молода, здорова и вынослива! Я все выдержу!

О храбрость неведения! Могла ли я ждать, что то, что меня ждет, превышает силы человеческие?

На этот раз мне не пришлось вновь поднимать уроненные ножницы: великий постриг совершился, и в тот момент, когда я перемахнула через борт грузовика, судьба моя была уже решена...

59. В машине нас было несколько человек, но запомнила я лишь трех. Прежде всего мальчик лет восьми-десяти — Недзведский из деревни Воловица. Его родителей, мелких помещиков (в кавычках, так как от помещиков-предков у них осталось пять-шесть десятин земли и полуразрушенная избушка на семью из пяти или больше человек), забрали ночью, а мальчик гостил у бабушки в деревне Боксаны, верстах в пятнадцати от Сорок. Теперь его, маленького и беспомощного, без шапки и пальто, чужие люди везли в чужую сторону, неизвестно куда, и перепуганный ребенок посинел от слез и захлебывался от горя. Больно было смотреть на него!

Еще были сестры. Взяли их прямо со школьного бала. Прощайте, родные дубы! Прощай, маяк моей молодости! С самого детства, откуда бы я ни возвращалась, эти два дуба, сливающиеся на расстоянии в шар — компактный летом, кружевной зимой, — всегда наполняли мое сердце теплом родного дома, теплом родительской любви. Прощай, Цепилово! Все мое прошлое, прощай!

Альбом 2

июнь — июль 1941

104



◀ Путь эшелона с депортированными жителями Бессарабии в Сибирь в 1941 г. Нанесено на карту распространения русского владычества из «Атласа азиатской России», 1914 г., Переселенческого управления землеустройства и земледелия.

Депортация части бессарабского населения началась 14 июня 1941 года с разделения отцов — «глав семей», которых без суда и следствия вывозили в лагеря, и членов семей, которых ссылали в необжитые места Сибири.

Евфросиния, естественно, попала во вторую категорию. Состояние ссыльного означало лишение естественных для человека потребностей, и это давали почувствовать уже на этапе в ссылку. Люди почти не имели еды, воды, воздуха, спали на полу вагона. Но так как сопровождающие вагон охранники лгали женщинам, что в конце пути они соединятся с мужьями, то они терпели эти мучения. В вагоне вместе с Евфросинией было около 40 человек, включая шестерых детей, нескольких подростков и двух старух, и она все время помогала слабым. Люди были лишены медицинской помощи, в пути у одной женщины случились роды, и их принимала Евфросиния.

Эшелон целую неделю шел по Украине через Полтаву, по европейской части России через Воронеж, Тамбов, Пензу, затем миновал Куйбышев, Уфу. После Урала — Петропавловск, Челябинск, Омск. Там стояла жара, и Евфросиния, несмотря на запрет, вышла из вагона и принесла для роженицы ведро воды, за что ее посадили в карцер.

Люди были лишены информации, они не знали, куда их везут и что их ждет. 22 июня 1941 года под Новосибирском на станции они случайно слышали по громкоговорителю сообщение радио о нападении Германии на СССР и об объявлении войны.

Эшелон проследовал в Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс). Ссылные недолго работали в колхозе, их доставили туда для организации овцеводства и производства брынзы, но вскоре их отправили на лесозаготовки, обратно повезли через Новосибирск, а затем по реке Оби — на север в Нарымский край (сейчас это Томская область).



Одна из форм издевательств - пытка стыдом...

Тщетно пыталась я остановить кровотечение... и никого на помощь!
Только в кошмаре бывает такое: на полу — роженица, истекающая кровью. Ни пеленки, ни тряпки, ни воды. Огарок догорает. Кругом дети — испуганные, беспомощные. Людей много, но все они до того погружены каждый в свою горе, что никто не пытается помочь.

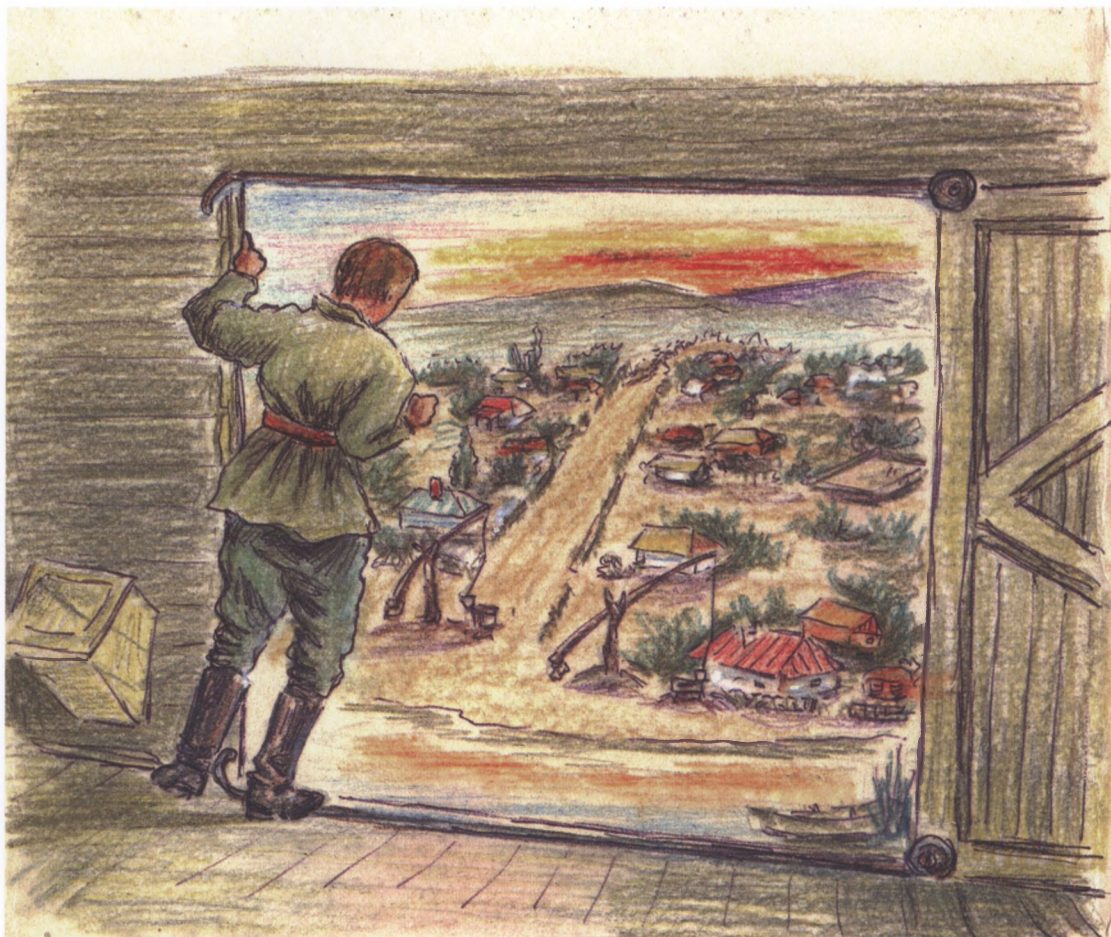


Тщетно пыталась я остановить кровотечение... и никого на помощь!
Только в кошмаре бывает такое: на полу — роженица, истекающая кровью.
Ни пеленки, ни тряпки, ни воды. Огарок догорает. Кругом дети — испуган-
ные, беспомощные. Людей много, но... Все они до того погружены —
каждый в свою горе, что никто не пытается помочь.

Случайно противоположная сторона была не заперта. Я открыла дверь и посмотрела на эту неправдоподобно мирную картину. Белые мазанки, окруженные садиками и огородами; стадо, окутанное пылью, возвращается с поля... Даже само солнце, низко стоящее над горизонтом, — за горой, по ту сторону Реута.

И старый как мир инстинкт, тот инстинкт, который заставляет зверя, попавшего в ловушку, искать выход, сказал мне: «Беги!»

Но... я не воспользовалась этой последней возможностью... Почему? То ли потому, что «...хуже быть не может, значит, будет лучше» или «прячется тот, кто виноват, а бежит — трус»? Надежда? Глупость? — Не знаю...



Случайно, противоположная сторона была не заперта. Я открыла дверь и посмотрела на эту, неправдоподобно-мирную картину. Белые мазанки, окруженные садиками и огородами; стадо, окутанное пылью, возвращается с поля... Даже само солнце, низко стоящее над горизонтом — за горой, по ту сторону Реута.

И, старый, как мир, инстинкт — тот инстинкт, который заставляет зверя, попавшего в ловушку, искать выхода — сказал мне: «Беги!»

Но... я не воспользовалась этой последней возможностью... Почему? То ли, что «...хуже быть не может; значит, будет лучше» или «...прячется тот, кто виноват, а бежит — трус»? Надежда? Глупость? — Не знаю...

— Наши мужья! Они идут нас встречать! — кричали женщины, теснясь у окон, и с надеждой смотрели на толпы мужчин.

Увы! Каждый раз надежда оказывалась обманутой...

«Это, наверное, буровые вышки. Тут, должно быть, нефть ищут», — думала я.

Пришло время, и я узнала, что значат эти вышки, бараки, ограды...

Нет! Тогда я была далека от мысли, что в XX веке возможно рабство! Так почему же сердце сжималось, как от недоброго предчувствия?



— «Наши мужья! Они идут нас встречать!» — кричали женщины, теснясь у окон и, с надеждой, смотрели на толпы мужчин.

Увы! Каждый раз надежда оказывалась обманутой....

— «Это, наверное, буровые вышки. Тут, должно быть, нефть ищут.» — думала я.

Пришло время и я узнала, что значат эти «вышки», бараки, ограды....

Нет! Тогда я была далека от мысли, что, в XX веке, возможно рабство! Так почему же сердце сжималось, как от недоброго предчувствия?

В отчаянии мечутся женщины: они рыдают, ломают руки, громко причитая. Наконец они поняли обман: мужа здесь их не ждут... Но самое возмутительное — это циничные насмешки конвоиров.

— Вася! Где же он, мой Вася? — рыдает одна.

— А зачем тебе Вася? Чем я, Петя, хуже Васи? Может, смогу его заменить? — смеется один из конвоиров.



В отчаянии мечутся женщины: они
рыдают, ломают руки, громко причитая.
Наконец они поняли обман: мужа
здесь их не ждут... Но самое возму-
тительное — это циничные насмешки конвоиров.
— „Вася! Где же он — мой Вася?“ рыдает одна.
— „А зачем тебе Вася? Чем я, Петя, хуже Васи? Может, смогу
его заменить?“ — смеется один из конвоиров.

Я развела костерок над самым обрывом у Оби и, сидя в дыму, отмахивалась от комаров. Всю ночь всхлипывали женщины, и на душе у меня было смутно.

Нужно было иметь каменное сердце, чтобы остаться равнодушным, видя, как рыдают жены и заламывают руки матери. Но в нашей стране сердца власть имущих привыкли причинять страдание.

Я одна. Я никого не потеряла в пути... Мне некого терять. Но, наталкиваясь на ложь, на обман, я теряла веру в торжество справедливости, и тоска липла, как паутина к лицу. И трудно было от нее отмахнуться.

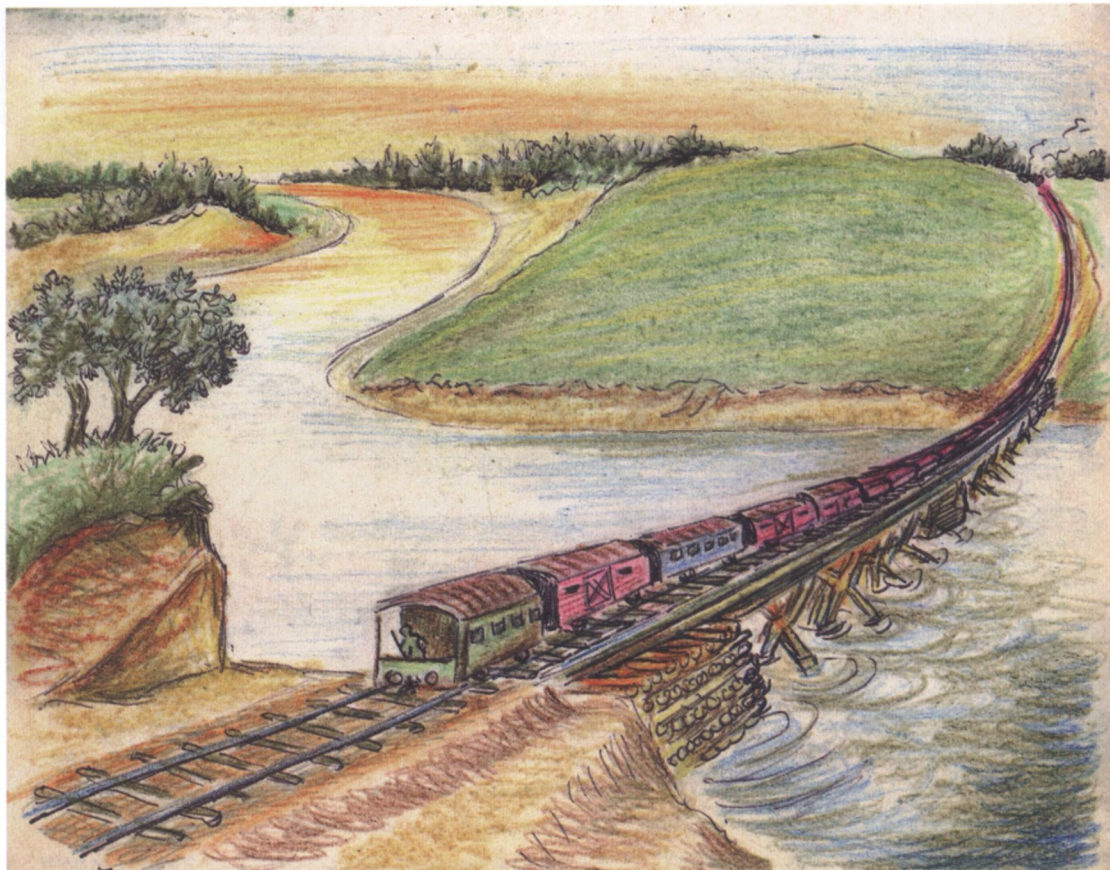


Я развела костерок, над самым обрывом, у Оби и, сидя в дыму, отмахивалась от комаров. Всю ночь всхлипывали женщины и, на душе у меня было смутно.

Нужно было иметь каменное сердце, чтобы остаться равнодушным, видя, как рыдают жены и заламывают руки матери. Но... в нашей стране, сердца "власть имущих", привыкли причинять страдание.

Я — одна. Я никого не потеряла, в пути... Мне некого терять. Но, наталкиваясь на ложь, на обман, я теряла... веру в торжество справедливости и тоска липла, как паутина, к лицу. И трудно было, от нее, отмахнуться...

Проснулась я оттого, что в поезде поднялась суматоха. Поезд медленно полз по наскоро построенному мосту в Резине — Рыбнице. Мост скрипел, от свай расходились круги. Мы покидали Бессарабию: под нами был Днестр; впереди... Что мы знали о том, что ждет нас впереди? Поезд еле-еле полз, и я долго смотрела на два дуба, растущих на самом берегу Днестра.



Проснулась я оттого, что в поезде поднялась суматоха. Поезд медленно полз по наскоро-построенному мосту из Резины-Рыбнице. Мост скрипел, от свай расходились круги. Мы покидали Бессарабию: под нами был Днестр; впереди.... Что мы знали о том, что ждет нас впереди? Поезд еле-еле полз и я долго смотрела на два дуба, растущие на самом берегу Днестра.

Урал... Когда-то я мечтала побывать в этом сказочном краю, но не в телячьем вагоне! Запомнился мне только... козел, с сознанием собственного превосходства смотревший на нас со скалы.

Ты прав, козел! Ты — свободен...



Урал... Когда-то я мечтала побывать в этом сказочном краю... но не в телячьем вагоне! Запомнился мне только... козел, с сознанием собственного превосходства, смотревший на нас, со скалы.

Ты прав, козел! Ты — свободен...

Вот он, обелиск, — та точка, через которую проходит линия, отделяющая Европу от Азии. Впрочем, год тому назад Азия шагнула к нам через Днестр. Мы теперь отдаем визит.



Вот он, обелиск — та точка, через которую проходит линия, отделяющая Европу от Азии. Впрочем, год тому назад Азия шагнула к нам, через Днестр. Мы теперь „отдаём визит“...

Что за диво? Коровы... ныряют?

Пришло время, и я поняла, чем объясняется это увлечение водным спортом: лишь в воде можно спастись от гнуса — этой гнусной смеси из комаров, мошки и паутов.

Не помню, упоминается ли в Библии подобная казнь египетская?



Что за диво? Коровы... ныряют?

Пришло время и я поняла, чем объясняется это... увлечение водным спортом: лишь в воде можно спастись от "гнуса" — этой гнусной смеси из комаров, мошки и паутов.

Не помню, упоминается ли, в Библии, подобная "казнь египетская".

— Данилуца, тяните меня за ноги, как только я открою щеколду и крикну «гата!», а вы — Василика и Ионел — катите дверь.

Затем, высунувши голову из окошка, я крикнула женщине из соседнего вагона:

— Готовь ведро — сейчас подам воду!

Рывок! И я, свесившись вниз головой, крючком поповского зонтика откинула щеколду.

— Гата! — крикнула я. Все пошло как по писаному: дверь открылась, меня втянули в вагон, я выскочила в дверь, схватила ведро, протянутое мне женщиной, и ринулась вниз, к воде.

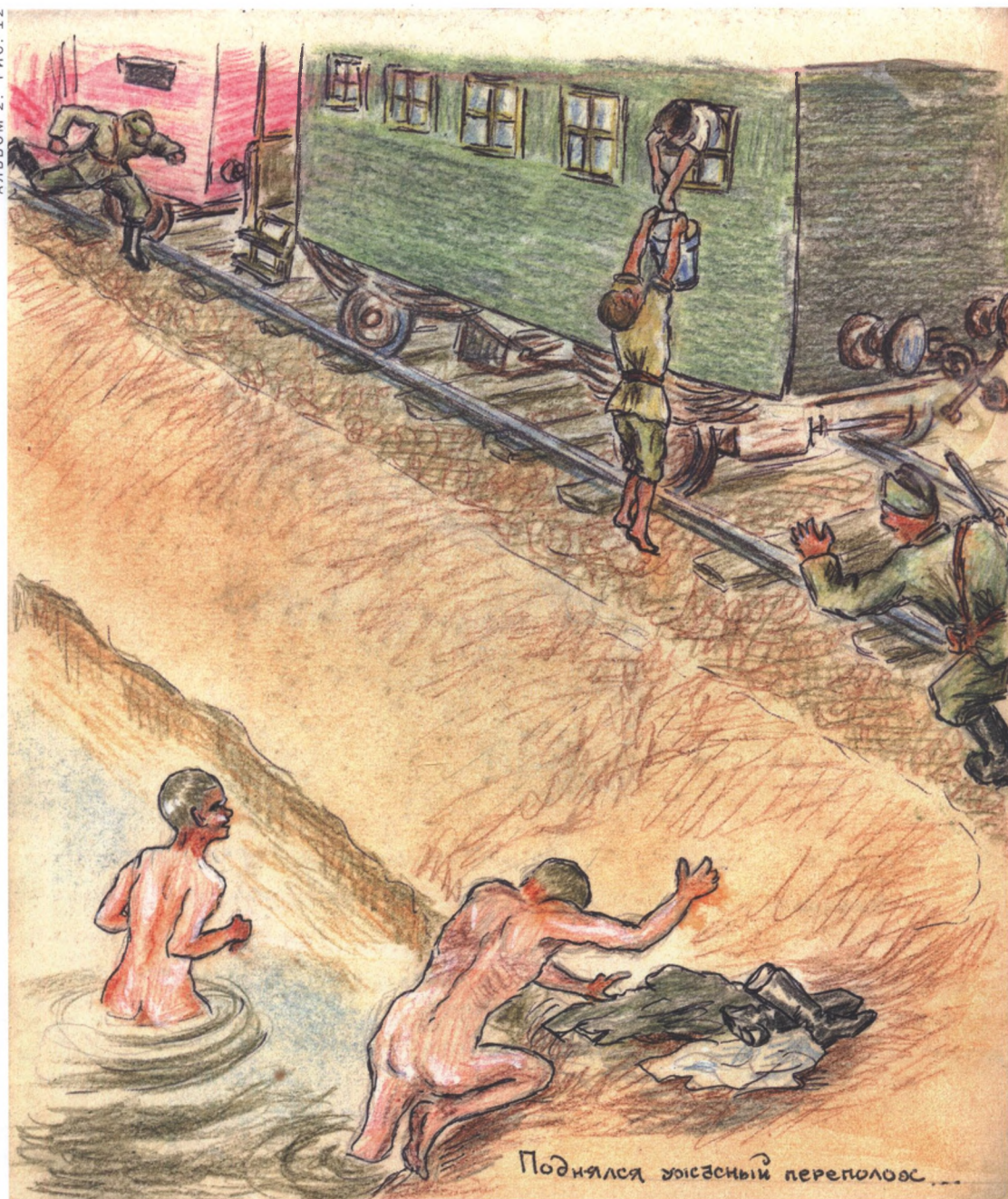


— „Данилуца, тяните меня за ноги, как только я открою щеколду и крикну „гата!“, а вы — Василика и Ионел, катите дверь.“ Затем, высунувши голову из окошка, крикнула женщине из соседнего вагона:

„Готовь ведро: сейчас подам воду!“

Рывок! И я, свесившись вниз головой, крючком поповского зонтика, откинула щеколду.

— „Гата!“ крикнула я. Все пошло, как по писанному: дверь открылась, меня втянули в вагон, я выскочила в дверь, схватила ведро, протянутое мне женщиной и ринулась вниз, к воде...



В этом «шкафу» было не так уж плохо, и, чтобы не скучать, можно было петь. Репертуар был у меня достаточно обширный: его могло хватить надолго...

Так впервые познакомилась я с наручниками. И это за то, что я проявила человеколюбие. Второй раз — за то, что я не могла позволить порочить память покойного отца. В третий раз я не смогла снести оскорбление.

Что ж? Все три раза — не зря...



В этом «шкафу» было не так уж плохо и, чтобы не скучать, можно было петь. Репертуар был у меня достаточно обширный: его могло хватить надолго....

Так, впервые познакомилась я с наручниками. И это — за то, что я проявила человеколюбие. Второй раз — за то, что я не могла позволить порочить память покойного отца. В третий раз я не смогла снести оскорбление.

Что же? Все три раза — не зря....

Кóндоба — бурная горная река, в которой вода будто кипит; леса — могучие, с буйно разросшимся подлеском; горы — пусть и не слишком высокие, но неправдоподобные по разнообразию контуров и крутизне — все это очаровывало и пугало.



Кóндоба — бурная горная река, в которой вода-будто кипит;
леса — могучие, с буйно-разросшимся подлеском; горы — пусть и не
слишком высокие, но неправдоподобные, по разнообразию контуров
и крутизне — все это очаровывало... и пугало....

Красивый это был уголок — Кузедеевский пионерлагерь! Вековые сосны, а дальше, на берегу Кондобы, гигантские ели. Как приятно пахнет! Какая красота! Какой простор!

Это было последнее радостное человеческое ощущение, после которого потянулись долгие годы страдания, унижения и множества открытий.



Красивый это был уголок — Кузедеевский пионерлагерь! Вековые сосны, а дальше — на берегу Кондобы — гигантские ели. Как приятно пахнет! Какая красота! Какой простор!

Это было последнее радостное, человеческое ощущение, после которого потянулись долгие годы страдания, унижения и... множества открытий....

Казалось, что это иллюстрация к сочинению прошлого века, а не колхоз Бенжареп 2-й. Поражало то, что жители — лишь старики и младенцы... И клопы... Боже мой! Сколько клопов!!! Даже на лужах (а лужи были повсюду) был красный налет из клопов.

Клопы... Гнус... Морозы... Голод... Сибирь, ты ли это?!



Казалось, что это иллюстрация к сочинению прошлого века... а не колхоз Бенжареп 2-й. Поражало то, что жители — лишь старики и младенцы... и клопы... Боже мой! Сколько клопов!!! Даже на лужах, (а лужи были повсюду) был красный налет, из клопов. Клопы... Гнус... Морозы... Голод... Сибирь, ты ли это?!

Самый нелепый табор! Горожане-интеллигенты, очутившиеся на берегу таежной реки, в болотах Нарымского края. Один — чиновник, двое — лавочники, и последний — кутила, прокутивший свою мельницу. Сумеет ли кто-либо из них работать? Что ждет их?



Самый нелепый табор! Горожане-интеллигенты, очутившиеся на берегу таежной реки, в болотах Нарымского края. Один — чиновник, двое — лавочники и последний — кутила, прокутивший свою мельницу. Сумеет ли, кто-либо из них, работать? Что ждет их?

Часть пути мы шли пешком — то по песчаным гривам, поросшим сосняком, то по кыргызовым болотам. Наш проводник шел уверенно. Меня это путешествие даже забавляло. Лотарь и его храбрая мамаша тоже не падали духом. Остальные же лишь охали и горестно вздыхали.



Часть пути мы шли пешком — то по песчаным гривам, поросшим сосняком, то по кыргызовым болотам. Наш проводник шел уверенно. Меня это путешествие даже забавляло. Лотарь и его храбрая мамаша тоже не падали духом. Остальные же лишь охали и горестно вздыхали.

Так мы прибыли на Ангу — первую точку, откуда начался мой труд ссыльной и университет невольничьей жизни. Тут предстояло мне сделать целую серию открытий.

124



АЛЬБОМ 2. РИС. 19 ▲

— Давно не пивал я чая с сахаром... А мой Илюша, пожалуй, вкуса его и не помнит. Ты угостила нас. Поделилась последним... Спасибо, добрая ты душа... Только запомни мой совет: свое береги для себя. Люди от нужды озверели: с тобой никто не поделится, никто не поможет, никто не пощадит...



АЛЬБОМ 2. РИС. 20 ▲



АЛЬБОМ 2. РИС. 20. (ФРАГМЕНТ) ▼



1 Одна из форм издевательств — пытка стыдом: в эту сбитую из досок и врезанную в стену трубу мы, мужчины и женщины, в большинстве знакомые, должны будем на глазах друг у друга отправлять естественные надобности.

2. Какой-то военный раза два обошел весь состав, вызывая какого-нибудь медика. Видя, что никто не отзывается, я сказала, что, будучи ветеринарным фельдшером, могу оказать помощь и человеку, если уж очень нужно. В соседнем вагоне был кошмар! Одних детей там было 18. И вот в этом кошмарном уголке ада родилась девочка. Тринадцатый ребенок несчастной, перепуганной женщины! Ее муж, жандарм, сбежал в Румынию, а все семьи таких невозвращенцев подлежат высылке.

Тщетно пыталась я остановить кровотечение... и никого на помощь! Только в кошмаре бывает такое: на полу — роженица, истекающая кровью. Ни пеленки, ни тряпки, ни воды. Огарок догорает. Кругом дети — испуганные, беспомощные. Людей много, но все они до того погружены каждый в свое горе, что никто не пытается помочь. Я сказала, что тут без врача не обойтись, и, пока я кое-как ей пыталась помочь, в каком-то вагоне выявили врача, еврея Лифшица, и вдвоем мы с грехом пополам справились.

3 Случайно я обнаружила, что вторая дверь нашего вагона — противоположная той, через которую нас загоняли, была не заперта. Я открыла дверь и посмотрела на эту неправдоподобно мирную картину. Белые мазанки, окруженные садиками и огородами; стадо, укутанное пылью, возвращается с поля... Даже само солнце, низко стоящее над горизонтом, — за горой, по ту сторону Реута. И старый как мир инстинкт, тот инстинкт, который заставляет зверя, попавшего в ловушку, искать выход, сказал мне: «Беги!» Но ...я не воспользовалась этой последней возможностью... Почему? То ли потому, что «...хуже быть не может, значит, будет лучше», или «прячется тот, кто виноват, а бежит — трус»? Надежда? Глупость? Не знаю...

4. Разлучили семьи, отделив почти всех мужчин и часть женщин.

— Женщины! Туда, куда вас привезут, ничего не приготовлено для вашего удобства. Мужчины поедут вперед, придут раньше и встретят вас на месте.

Это был, разумеется, обман. Но обман гениальный. С какой радостью кидались все к окнам, к щелям, если наш поезд проезжал мимо толпы людей, которых вели под конвоем!

— Наши мужья! Они идут нас встречать! — кричали женщины, теснясь у окон, и с надеждой смотрели на толпы мужчин.

Увы! Каждый раз надежда оказывалась обманутой... «Это, наверное, буровые вышки. Тут, должно быть, нефть ищут», — думала я. Пришло время, и я узнала, что значат эти вышки, бараки, ограды... Нет, тогда я была далека от мысли, что в XX веке возможно рабство! Так почему же сердце сжималось, как от недоброго предчувствия?

5. (Из машинописного варианта)

В отчаянии мечутся женщины: они рыдают, ломают руки, громко причитая. Наконец они поняли обман: мужья здесь их не ждут... Но самое возмутительное — это циничные насмешки конвоиров.

— Вася! Где же он, мой Вася? — рыдает одна.

— А зачем тебе Вася? Чем я, Петя, хуже Васи? Может, смогу его заменить? — смеется один из конвоиров.

6.

Забегая вперед, расскажу, что было, когда мы уже прибыли в село Молчаново на реке Оби.

Я развела костерок над самым обрывом у Оби и, сидя в дыму, отмахивалась от комаров. Всю ночь всхлипывали женщины, и на душе у меня было смутно. Нужно было иметь каменное сердце, чтобы остаться равнодушным, видя, как рыдают жены и заламывают руки матери. Но в нашей стране сердца власть имущих привыкли причинять страдание.

Я одна. Я никого не потеряла в пути... Мне некого терять. Но, наталкиваясь на ложь, на обман, я теряла веру в торжество справедливости, и тоска липла, как паутина к лицу. И трудно было от нее отмахнуться.

7.

Проснулась я оттого, что в поезде поднялась суматоха. Из всех вагонов доносились плач и причитания: так голосят обычно по покойникам. Да и неудивительно: все прощались с родиной, с родной бессарабской землей... Поезд медленно полз по наскоро построенному мосту в Резине — Рыбнице. Мост скрипел, от свай расходились круги. Мы покидали Бессарабию: под нами был Днестр; впереди... Что мы знали о том, что ждет нас впереди? Поезд еле-еле полз, и я долго смотрела на два дуба, растущих на самом берегу Днестра.

8.

Урал... Когда-то я мечтала побывать в этом сказочном краю, но не в телящем вагоне! Запомнился мне только... козел, с сознанием собственного превосходства смотревший на нас со скалы.

Ты прав, козел! Ты — свободен...

9.

Вот он, обелиск, — та точка, через которую проходит линия, отделяющая Европу от Азии. Впрочем, год тому назад Азия шагнула к нам через Днестр. Мы теперь отдаем визит.

10.

Июньский день. Железная крыша вагона раскалилась, как духовка. Единственное облегчение — это лечь на пол и подышать в щелку на полу. Воняет мочой и экскрементами, но все же воздух попрохладней. Мы по очереди ложились «подышать» в щелку.

О еде никто не думал, хотя нас в последнее время все чаще забывали покормить. Зато жажда...

Что за диво? Коровы... ныряют? Пришло время, и я поняла, чем объясняется это увлечение водным спортом: лишь в воде можно спастись от гнуса — этой гнусной смеси из комаров, мошек и паутов. Не помню, упоминается ли в Библии подобная казнь египетская?

11.

Но в озере купались не одни коровы. Наши конвоиры резвились в воде, как дельфины: голые тела, хохот, брызги. А тут рядом, в соседнем вагоне, женщина, которая родила во Флорештах, высунувшись из окна (в их вагоне окна были, как в четвертом классе, а не как в товарных), монотонным голосом обращается с одной и той же просьбой ко всем военным, проходящим мимо. Она просит воду. Воду для того, чтобы выкупать ребенка и простирнуть пеленки. Никакого внимания. Будто и не слышат. Кровь ударила мне в лицо. Что-то съало виски.

— Данилуца, тяните меня за ноги, как только я открою щеколду и крикну «гата!», а вы — Василика и Ионел — катите дверь.

Затем, высунувши голову из окошка, я крикнула женщине из соседнего вагона:

— Готовь ведро — сейчас подам воду!

Рывок! И я, свесившись вниз головой, крючком поповского зонтика откинула щеколду.

— Гата! — крикнула я. Все пошло как по писаному: дверь открылась, меня втянули в вагон, я выскочила в дверь, схватила ведро, протянутое мне женщиной, и ринулась вниз, к воде.

12.

Поднялся ужасный переполох...

Из озера выскакивают купальщики и голышом бегут ко мне. Но дудки! Я уже у вагона, вытягиваясь на цыпочках, подаю ведро с водой, проливая почти половину в свои рукава.

От головы поезда несется начальник эшелона и орет:

— Товарищ Соколов! Почему не стреляете?

Конвоир, бегущий с другого конца эшелона, в тон ему кричит:

— А вы сами, товарищ старший лейтенант, почему не стреляете?

С двух сторон меня хватают за руки и с проворством, достойным лучшего применения, надевают наручники.

13.

Меня засунули в какой-то железный шкаф с коленчатой вентиляционной трубой, находящийся в последнем, служебном вагоне. В этом «шкафу» было не так уж плохо, и, чтобы не скучать, можно было петь. Репертуар был у меня достаточно обширный: его могло хватить надолго...

Так впервые познакомилась я с наручниками. И это за то, что я проявила человеколюбие. Второй раз — за то, что я не могла позволить порочить память покойного отца. В третий раз я не смогла снести оскорбление.

Что ж? Все три раза — не зря...

Дверь открылась, и меня вывели «пред светлые очи» начальника эшелона.

— Ну что, Керсновская, будете и впредь проявлять неподчинение?

— Обязательно! Обещаю всегда помогать тем, над кем вы издеваетесь!

14.

Кончилась степь. Пошли холмы. Затем крутые сопки.

С трудом, пытая, тянет в гору паровоз длиннейший эшелон.

Приехали! Мы в Кузедеево.

Кондоба — бурная горная река, в которой вода будто кипит; леса — могучие, с буйно разросшимся подлеском; горы — пусть и не слишком высокие, но неправдоподобные по разнообразию контуров и крутизне — все это очаровывало и пугало.

15.

Красивый это был уголок — Кузедеевский пионерлагерь, куда нас поместили. Вековые сосны, а дальше, на берегу Кондобы, гигантские ели. Как приятно пахнет! Какая красота! Какой простор! Это было последнее радостное человеческое ощущение, после которого потянулись долгие годы страдания, унижения и множества открытий.

16.

Казалось, что это иллюстрация к сочинению прошлого века, а не колхоз Бенжареп 2-й. Поражало то, что жители — лишь старики и младенцы... И клопы... Боже мой! Сколько клопов!!! Даже на лужах (а лужи были повсюду) был красный налет из клопов.

Клопы... Гнус... Морозы... Голод... Сибирь, ты ли это?!

17.

И вот мы снова в Новосибирске*... Вода, речной вокзал. У причала — баржа... Значит, нас повезут по Оби на север?!..

На каждой остановке часть ссыльных выкликают по списку. Сначала шли колхозы, а дальше — только лесоповал!..

О том, как мы приехали в Молчаново, и о разочаровании наших женщин, надевавшихся, что там их ожидают мужья, я уже говорила.





АЛЬБОМ 3. ЧАСТЬ 1. РИС. 1 (ФРАГМЕНТ)

Все дальше, все дальше! Сначала — на пароходе, затем — на катере и под конец — на паузке (самоходной барже, совсем маленькой). И вот мы в поселке Суйга. Самый нелепый табор! Горожане-интеллигенты, очутившиеся на берегу таежной реки, в болотах Нарымского края. Один — чиновник, двое — лавочники, и последний — кутила, прокутивший свою мельницу. Сумеет ли кто-либо из них работать? Что ждет их?

* Раньше, перед тем как попасть в Кузедеево, на станции Чик под Новосибирском 22 июня 1941 года ссыльные в поезде узнали о том, что началась война.

18.

Часть пути мы шли пешком — то по песчаным гривам, поросшим сосняком, то по кыргызовым болотам. Наш проводник шел уверенно. Меня это путешествие даже забавляло. Лотарь и его храбрая мамаша Анна Михайловна Мунтян тоже не падали духом. Остальные же лишь охали и горестно вздыхали.

Анна Михайловна преподавала кулинарию в женской профессиональной школе, окончив специальное училище в Швейцарии. Мужа — Василия Мунтяна — передового деятеля профсоюза, революционера и советофила — еще во Флорештах забрали вместе с большинством мужчин. И жена, вернее «соломенная вдова», продолжала свой путь в изгнание вместе с сыном от первого брака. Лотарь Гершельман, лет 19–20, студент Бухарестского университета, не числился в списке репрессированных и за своей матерью последовал добровольно.

19.

Так мы прибыли на Ангу — первую точку, откуда начался мой труд ссыльной и университет невольничьей жизни. Тут предстояло мне сделать целую серию открытий.

20.

Еще тогда, когда мы направлялись в Ангу, мы заночевали на берегу Чулыма. Все побрели в поселок, а я предпочла остаться с проводником, стариком Лихачевым, и его сыном Илюшей...

— Давно не пивал я чая с сахаром... — сказал старик Лихачев. — А мой Илюша, пожалуй, вкуса его и не помнит. Ты угостила нас. Поделилась последним... Спасибо, добрая ты душа... Только запомни мой совет: свое береги для себя. Люди от нужды озверели: с тобой никто не поделится, никто не поможет, никто не пощадит...

Альбом 3. Часть 1

июль — декабрь 1941

130 Во время этапа по реке Оби ссыльных вызывали по списку на берег, и у Евфросинии была возможность остаться в одном из приобских сел в колхозе, но она хотела работать именно на лесозаготовках, потому что работа с лесом была знакома ей по Бессарабии и ей казалось, что этот труд будет лучше оплачиваться. Но она ошибалась.

Бессарабцы были депортированными спецпереселенцами. Они не выбирали место жительства или вида работы, их труд был принудительный, рабский. Рабочий день длился 12 часов. Ссылные попали в суровый климат тайги: короткое лето с гнусом и длинная холодная зима.

Евфросиния попала в самый отдаленный поселок на реке Анга, где валила лес для прокладки узкоколейки и зимней дороги. Ссылных перевели в Харск, где почти не было работы, а соответственно, и пищи. Зимой бессарабцев переселили в Усть-Тьярм. Евфросиния не взяла с собой зимнюю одежду, так как думала, что сможет купить все необходимое. Но в этих районах в магазинах почти ничего не продавалось, ссылные могли купить товары только по особому разрешению начальства, и, когда наступили 40-градусные морозы, ей разрешили купить валенки и телогрейку.

Нормы выработки (в кубометрах леса) были завышены, учитывали к оплате только качественный лес, а лес в болотистой тайге был плохого качества, что не всегда позволяло выполнять норму. Относительно хорошая оплата начиналась только после выполнения 40 норм, а Евфросинии все время меняли вид работы и такого количества норм у нее просто не набиралось.

Денег и вещей, которые она могла бы обменять на продукты, у нее не было. Евфросиния стала голодать. Несмотря на то, что все думали только о выживании, она продолжала жить по нравственным законам и, чем могла, делилась с земляками.

Анна Михайловна приспособила брюки мужа — широченные, из «чертовой кожи», — сделав из них что-то вроде комбинезона, и смело бралась за работу, которая ей была не по силам и абсолютно незнакома. Она мне здорово мешала... Я ей поручила поддерживать огонь в дымаре, без которого было немислимо работать. Еще она пекла грибы.



Анна Михайловна приспособила брюки мужа — широченные, из «чертовой кожи» — сделал из них, что то вроде комбинезона и смело бралась за работу... которая ей была не по силам и абсолютно незнакома. Она мне здорово мешала... Я ей поручила поддерживать огонь из «дымаре», без которого было немислимо работать. Еще она пекла грибы

После работы я во всю прыть мчалась к речке. Туча гнуса с жужжанием преследовала меня по пятам и нещадно жалила, пока я срывала я себя одежду. Затем наступало блаженство: я бросалась вниз головой в воду. Холодная вода приносила облегчение, и можно было смыть смесь дегтя с рыбьим жиром, которым приходилось смазывать лицо и уши. Вылезая из воды — опять тот же гнус, плюс пауты — огромные оводы, которые жалили с налета, да так, что кровь брызгала! Создал же Господь столько нечисти!



После работы, я, во всю прыть мчалась к речке. Туча гнуса, с жужжанием, преследовала меня, по пятам и нещадно жалила, пока я срывала, с себя, одежду. Затем — наступало блаженство — я бросалась, вниз головой, в воду. Холодная вода приносила облегчение и можно было смыть смесь дёгтя, с рыбьим жиром, которым приходилось смазывать лицо и уши. Вылезая из воды — опять тот же гнус, плюс "паути" — огромные оводы, которые жалили, с налёта, да так, что кровь брызгала! Создал же Господь столько нечисти!

— А твой отец тоже ссыльный?
 — Нет! Он вольный! — с гордостью сказала Тая.
 — Так где же он? Что-то я его не видела...
 — А он в тюрьме!
 Вот это да! Один вольный, и тот в тюрьме...



— "А твой отец тоже ссыльный?"

— "Нет! Он-вольный", с гордостью
 сказала Тая.

— "Так где же он? Что-то я его не видела..."

— "А он в тюрьме..." — "Вот это да! Один вольный и тот в тюрьме..."

Буквально чудом удалось мне выдернуть [напарницу] из-под падающего в неожиданном направлении дерева...
Тайга (как, впрочем, и шахта) беспощадна к ротозеям!



Буквально, чудом удалось мне выдернуть из-под падающего, в неожиданном направлении, дерева....

Тайга, (как, впрочем, и шахта) беспощадна к ротозеям!

День — в лесу; затем всю ночь грузили сено на паузок* и снова весь день работали в лесу... И все это для того, чтобы сходить в воскресенье в гости, за 108 км в оба конца. Ночь туда, ночь обратно. А с утра в понедельник — опять на работу в лесу. И это будучи постоянно голодными! Эх, молодость!

* Паузок — речное мелко сидящее судно, на которое выгружают товары с глубоко сидящего судна для перевозки по мелким местам.



День — в лесу; затем, всю ночь, грузили сено на паузок и — снова весь день работали в лесу... И всё это для того, чтобы сходить, в воскресенье, в гости... за 108 км. в оба конца. Ночь-туда; ночь-обратно... а, с утра, в понедельник — опять на работу, в лесу. И это — будучи, постоянно, голодными!
Эх, молодость!

Действительно, такой мост-призрак могли придумать только в Сибири. Но иного не построишь. При глубине речушки в 8–10 метров и весеннем паводке — вода на 2–3 метра выше берегов! Бревна связаны черемуховыми вицами.



Действительно, такой «мост-призрак» могли придумать только в Сибири... Но иного не построишь, при глубине речушки в 8–10 м и весеннем паводке, вода на 2–3 м выше берегов! Бревна связаны черемуховыми вицами.



Впервые почувствовала я себя лишней, совсем лишней. Ночью в дороге я была нужна — за свою способность ориентироваться и острое ночное зрение. А теперь даже кружки кипятку у них для меня не нашлось!

Я вышла во двор, улеглась на солнышке, укрывшись от комаров одеялом, и уснула. Кто спит — обедает, говорят французы.



Впервые почувствовала я, себя, лишней, совсем лишней. Ночью, в дороге, я была нужна — за свою способность ориентироваться и острое, «ночное» зрение. А теперь... Даже кружки кипятку, у них, для меня, не нашлось!

Я вышла на двор, улеглась на солнышке, укрывшись, от комаров, одеялом и уснула. «Кто спит — обедает», говорят французы.

Сперва Потапка смотрел с тоской на жующего колхозника, затем, вцепившись в юбку матери, заплакал. Он плакал судорожно, с отчаянием, но он не пытался попросить хлеба: за свою короткую жизнь он уже понял: человек человеку — волк, а волки едой не делятся!

Кто превратил сибиряков, славившихся хлебосольством, в волков?



Сперва Потапка смотрел с тоской, на жующего колхозника, затем вцепившись в юбку матери, заплакал. Он плакал судорожно, с отчаянием, но он не пытался попросить хлеба: за свою короткую жизнь он уже понял: „человек человеку — волк“, а волки, едой не делятся! Кто превратил сибиряков, славившихся хлебосольством, в волков?

Лотарь с Минькой предпочли пойти в Черкесово: «У нас есть деньги, и там мы поедем молока и рыбы». Я же решила попытать счастья в Харске, авось удастся купить картошки. Но... 20 верст туда, и столько же — обратно. Задолго до рассвета я сунула в рюкзак мешок и бодро зашагала, перепрыгивая через ручьи.

Серебрился иней, похрустывала замерзшая трава.

Короток осенний день! Надо спешить.

Теперь я только удивляюсь: откуда брались силы? И — бодрость?



Лотарь с Минькой
предпочли пойти в
Черкесово: «у нас есть
деньги и там мы по-
едим молока и рыбы».
Я-яже решила попы-
тать счастья в Хар-
ске — авось удастся
купить картошки?
Но... 20 верст-туда
и столько же-обратно.
Задолго до рассвета, я
сунула в рюкзак ме-
шок и бодро зашага-
ла, перепрыгивая через
ручьи

Серебрился иней, по-
хрустывала замёрзшая
трава... Короток осен-
ний день! Надо спешить...

Теперь я только удив-
ляюсь: откуда брались
силы? И-бодрость?

Мутная вода неслась, завихряясь водоворотами...
Речка вздувалась, уровень подымался на глазах. Мостков не было видно.
Я брела по колена в воде, стараясь не смотреть на бурлящую реку, чтобы
не потерять равновесия.



Мутная вода неслась, завихряясь водоворотами... Речка взду-
валась, уровень подымался на глазах. Мостков не было видно. Я
брела, по колена в воде, стараясь не смотреть на бурлящую
реку, что бы не потерять равновесия.

Эта мирная картина вызвала у меня отвращение... Скольких голодных лесорубов обворовывал этот завхоз, чтобы так роскошно жрать? И, не спросив о дороге, я повернулась, подхватила свою ношу и пошла наугад.

Смеркалось. Мороз крепчал. Снег заметал мои следы.



Эта мирная картина вызвала у меня, отвращение... Скольких голодных лесорубов обворовывал этот завхоз, чтобы так роскошно жрать? И, не спросив о дороге, я повернулась, подхватила свою ношу и пошла, наугад

Смеркалось, Мороз крепчал. Снег заметал мои следы.

Последнее усилие — и я рухнула на пороге барака. Мне и в голову не пришло, что эта картошка моя. Как можно? Нас четверо, и я разделила эти 50 кг на 4 доли. Мне это казалось совсем нормальным.



Последнее усилие... и я рухнула на пороге барака. Мне и в голову не пришло, что эта картошка — моя. Как можно? Нас четверо и я разделила эти 50 кг на четыре доли, Мне это казалось совсем нормальным

Последние дни золотой осени. Первый снег растаял, но вот-вот станет зима. Нас — Груню и меня — послали расчистить зимник на Усть-Тьярм. Груня — сибирячка. «Вольная». И она этим очень горда: ее предки — каторжане-убийцы, а не какие-то раскулаченные хозяева!



Последние дни «золотой осени». Первый снег растаял, но вот-вот станет зима. Нас — Груню и меня — послали расчистить «зимник» на Усть-Тьярм. Груня — сибирячка «Вольная». И она этим очень горда: ее предки — каторжане-убийцы, а не какие-то раскулаченные хозяева!

Прорубать зимник через бурелом — работа, что и говорить, не из легких... 40 километров мы прошли за 5 или 6 дней. Пайек нам выдали сухим пайком — один стакан пшена, одна соленая рыбешка — кажется, щука грамм в 300 — на двоих и по кирпичу хлеба. Этого должно хватить и на обратный путь. Спешу добавить, что возвращалась я одна (Груня осталась в Усть-Тыярме). Уже выпал снег. Наших я на Анге уже не застала: их перегнали в Харск, то есть еще на 20 км, о чем я узнала из записки — углем на двери.



Прорубать "зимник" через бурелом, работа — что и говорить, не из лёгких.... 40 километров мы прошли за 5 или 6 дней, Пайек нам выдали "сухим пайком" — один стакан пшена, одна солёная рыбёшка — кажется щука, грамм в 300 — на двоих и по "кирпичу" хлеба. Это должно хватить и на обратный путь. Спешу добавить, что возвращалась я одна (Груня осталась в Усть-Тыярме). Уже выпал снег. Наших "я" на Анге, уже не застала: их перегнали в Харск, т.е. еще на 20 км., о чём я узнала из записки — углём, на двери.

Нодия — поистине гениальное изобретение!

Две плоско обтесанные сухостоины укладываются рядом, чуть приподняв комлевую [корневую] часть. Между ними зажигают огонь. Против комля ставят шалаш из лапника — в роли отражателя, и даже при морозе в 40 градусов можно укладываться спать раздетым.

В тайге нодия — это спасение!



„Нодия“ — поистине гениальное изобретение!
Две плоско обтесанные „сухостоины“, укладываются рядом, чуть приподняв комлевую часть. Между ними зажигают огонь. Против комля ставят шалаш из „лапника“ — в роли отражателя и, даже при морозе в -40° , можно укладываться спать раздетым.
В тайге „нодия“ — это спасение!

Выстойка — это тоже сибирское изобретение: лошадь, потную, еще не отдышавшуюся, привязывают коротко, задравши ей голову, и оставляют так часа на полтора-два и лишь затем задают ей корма. А у нас, бывало, расседлаешь, разотрешь соломенным жгутом, укроешь попоной, водишь ее, пока не просохнет, и потом — в теплую конюшню. Жестокая страна Сибирь! Но надо признать: сибирские лошади здоровы, выносливы и в 20 лет еще работоспособны.



„Выстойка“... Это — тоже сибирское изобретение: лошадь — потную, еще не отдышавшуюся — привязывают коротко, задравши ей голову и оставляют так, часа на $1\frac{1}{2}$ — 2 и лишь затем задают ей корма. А у нас, бывало, расседлаешь, разотрешь соломенным жгутом, укроешь попоной, водишь ее, пока не просохнет и потом — в теплую конюшню.... Жестокая страна — Сибирь! Но... надо признать: сибирские лошади — здоровы, выносливы и в 20 лет еще работоспособны.

Мы с Лотарем с увлечением скоблили и мыли замерзшие кишки подохшей от чесотки лошади и предвкушали пир.



Мы, с Лотарем, с увлечением скоблили и мыли замерзшие кишки, подохшей, от чесотки, лошади и предвкушали "пир".

Ох и наелись мы!

— Запомним мы этот день, 11 ноября! — сказал Лотарь. — День, когда мы в первый раз были сыты!

Увы! Не думали мы тогда, что правильней было бы сказать не «в первый», а «в последний раз мы были сыты...».



Ох и наелись мы!

— Запомним мы этот день — 11 ноября! — сказал Лотарь, — день, когда мы, в первый раз, были сыты!

Увы! Не думали мы тогда, что правильней было бы сказать не «в первый», а «в последний раз мы были сыты...»

Проломав тонкий лёд — там, где рыба собиралась, чтобы дышать, — они ее выбрасывали на лёд черпаками...

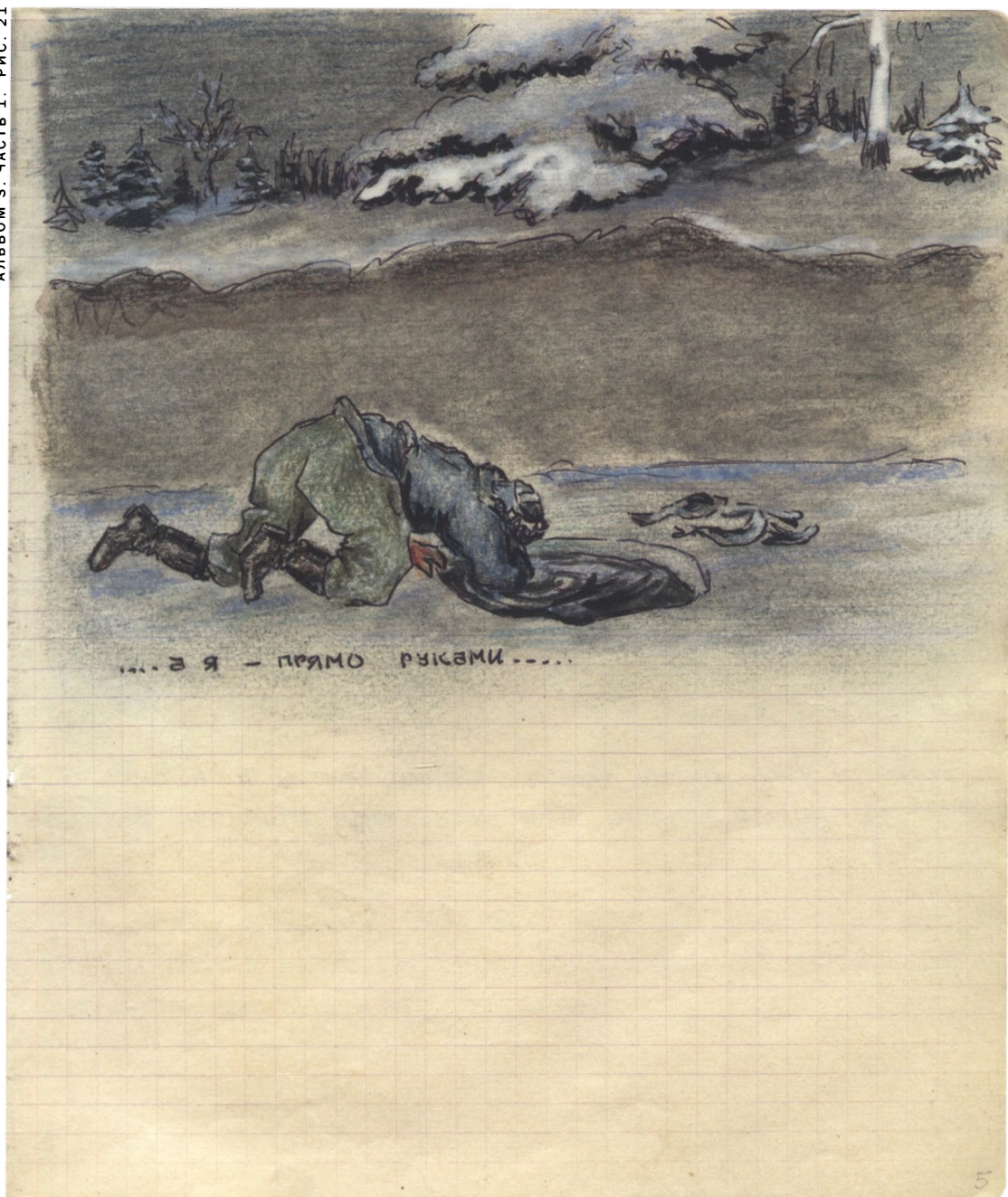
150



Альбом 3. Часть 1. Рис. 20

Проломав тонкий лёд — там, где рыба собиралась, чтобы
„дышать“, они её выбрасывали на лёд, черпаками.....

...А я — прямо руками.



Тут я совершила ошибку: желая вылить воду из сапог, я подняла обе ноги вверх, и вода затекла в штаны и даже дальше...

152



АЛЬБОМ 3. ЧАСТЬ 1. РИС. 22

Тут я допустила ошибку: желая вылить воду из сапог, я подняла обе ноги вверх... и вода затекла в штаны и даже дальше....

До чего зимний лес прекрасен! Хвойный лес зимой я никогда не видела, если не считать декораций к «Сусанину». Но до чего жалкий вид был у вереницы плохо одетых, еще хуже приспособленных к такого рода походу бессарабцев!..



До чего зимний лес прекрасен! Хвойный лес, зимой я никогда не видела... если не считать декораций к „Сусанину“. Но... до чего жалкий вид был у вереницы плохо одетых, еще хуже приспособленных к такого рода походу, бессарабцев!...

Так переправляют лошадей через ненадежно замерзающие трясины Нарымского края. Много опасностей в том краю! Но наиболее коварная — это трясина.



Так переправляют лошадей через ненадежно замерзающие трясины Нарымского края. Много опасностей в том краю! Но наиболее коварная — это трясина....

Так сторож доставил в Усть-Тьярм корову... 90 километров, в лодке!
Прямоком туда — 25 километров, но болота-зыбуны...



Так сторож доставил, в Усть-Тьярм, корову... 90 километ =
ров, в лодке! Прямоком — туда 25 км, но... болота — зыбуны...

Здесь тротуаров нет!

156



АЛБЕОМ 3. ЧАСТЬ 1. РИС. 26

Все задрожало, когда с ужасным грохотом и ревом семь лесин рухнули, вздымая целые тучи снега.



Всё задрожало, когда, с ужасным грохотом и ревом, семь лесин рухнули, вздымая целые тучи снега.---

— Любопытно, а как реагирует Япония? Ведь в силу договора от 1935 года Япония обязана объявить войну стране, помогающей стране, находящейся в состоянии войны с Германией, независимо от того, кто является агрессором!

Боже мой! Как от меня все шарахнулись!



«Любопытно — а как реагирует Япония? Ведь в силу договора от 35-го года Япония обязана объявить войну стране, помогающей стране, находящейся в состоянии войны с Германией, независимо от того, кто является агрессором!» Боже мой! Как от меня все шарахнулись!

1. Лотарь Гершельман с одним местным парнем (вольным, то есть потомком бывших каторжников) доставляли рельсы лодками из Черкесово, а мы с Анной Михайловной занялись прокладкой трассы. Мы валили и, где надо, корчевали деревья, а дети их разделявали, откатывали в сторону, а сучья складывали в кучи. Затем мы делали нивелировку почвы.

Анна Михайловна приспособила брюки мужа — широкие, из «чертовой кожи», — сделав из них что-то вроде комбинезона, и смело бралась за работу, которая ей была не по силам и абсолютно незнакома. Она мне здорово мешала... Я ей поручила поддерживать огонь в дымаре, без которого было невозможно работать. Еще она пекла грибы.

2. После работы я во всю прыть мчалась к речке. Туча гнус с жужжанием преследовала меня по пятам и нещадно жалила, пока я срывала я себя одежду. Затем наступало блаженство: я бросалась вниз головой в воду. Холодная вода приносила облегчение, и можно было смыть смесь дегтя с рыбьим жиром, которым приходилось смазывать лицо и уши. Вылезая из воды — опять тот же гнус, плюс пауты — огромные оводы, которые жалили с налета, да так, что кровь брызгала! Создал же Господь столько нечисти!

3. Четырнадцать мальчишек и девчонок даны мне для выполнения вспомогательных работ на прокладке узкоколейки. Они дети, но вместе с тем есть в них что-то взрослое: все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае и пережили ужасы раскулачивания и ссылки. Здесь главным образом «улов» 1937 года, хотя есть и с 1933-го. (Первый «улов» — 1930-го или 1931 года — едва успели нарыть землянки и почти все поумирали.) Каждый рассказывает мне вкратце историю своей жизни, мытарства семьи, кто и где умер.

Наконец очередь доходит до Таи. Ей лет 14.
— А твой отец тоже ссыльный?
— Нет! Он вольный! — с гордостью сказала Тая.
— Так где же он? Что-то я его не видела...
— А он в тюрьме!

Вот это да! Один вольный, и тот в тюрьме...

4. Буквально чудом удалось мне выдернуть напарнику из-под падающего в неожиданном направлении дерева... Я успела ее схватить за брюки из «чертовой кожи» и выдернуть, когда лесина уже почти коснулась ее позвоночника. Тайга (как, впрочем, и шахта) беспощадна к ротозеям!

5. День — в лесу; затем всю ночь грузили сено на паузок* и снова весь день работали в лесу... И все это для того, чтобы заработать право сходить в воскресенье в гости, за 108 км в оба конца. Ночь туда, ночь обратно. А с утра в понедельник — опять на работу в лесу. И это будучи постоянно голодными!
Эх, молодость!

* Паузок — речное мелко сидящее судно, на которое выгружают товары с глубоко сидящего судна для перевозок по мелким местам.

6. Действительно, такой мост-призрак могли придумать только в Сибири. Но иного не построишь. При глубине речушки в 8–10 метров и весеннем паводке — вода на 2–3 метра выше берегов! Бревна связаны черемуховыми вицами.

7. Суйга. Мирная картина.
Признаться, я только теперь присмотрелась к Суйге. Вернее, к русской, именно советской русской деревне. Да еще расположенной в сердце северной тайги. Кузеево, Бенжереп-второй промелькнули не как деревни, в которых живут — рождаются и умирают — люди, а как театральные декорации, нечто выдуманное. И сама Суйга, когда я ее в первый раз видела, промелькнула как во сне. Теперь я на нее посмотрела совсем иными глазами.

8. Нет, не такими ожидала я встретить своих земляков! Повсюду царило уныние, все были деморализованы. Впервые почувствовала я себя лишней, совсем лишней. Ночью в дороге я была нужна — за свою способность ориентироваться и острое ночное зрение. А теперь даже кружки кипятку у них для меня не нашлось! Я вышла во двор, улеглась на солнышке, укрывшись от комаров одеялом, и уснула. Кто спит — обедает, говорят французы.

Лотарь с восторгом рассказывал, как он поел картошки с молоком. Я солгала, что тоже поела, не уточняя, что съела тот ломтик хлеба, который принесла с собой.

9. Тесно стало в бараке. Кроме нас, восьмерых бессарабцев, прибыли с полдюжины колхозников — вольных, отбывавших трудгужовинность. Назначили и дневальную — молодую изможденную женщину, незамужнюю, но с ребенком.

Мальчонке — звали его Потапка — было года два. Ходил он еще в рубашонке, штанов не имел и не умел говорить ничего, кроме «мамка» и «иси-ти-ти», что должно было означать «есть хочу»...

Что меня поразило, так это та житейская мудрость, которую уже успел приобрести этот юный гражданин, едва вышедший из эмбрионального состояния.

Сперва Потапка смотрел с тоской на жующего колхозника, затем, вцепившись в юбку матери, заплакал. Он плакал судорожно, с отчаянием, но он не пытался попросить хлеба: за свою короткую жизнь он уже понял: человек человеку — волк, а волки едой не делятся!

Кто превратил сибиряков, славившихся хлебосольством, в волков?

10.

Нам дали выходной. Лотарь с Минькой Слоновским предпочли пойти в Черкесово: «У нас есть деньги, и там мы поедем молока и рыбы». Я же решила попытать счастья в Харске, авось удастся купить картошки. Но 20 верст туда, и столько же — обратно. Задолго до рассвета я сунула в рюкзаке мешок и бодро зашагала, перепрыгивая через ручьи. Серебрился иней, похрустывала замерзшая трава. Короток осенний день! Надо спешить.

Теперь я только удивляюсь: откуда брались силы?

И — бодрость?

11.

И вот картошка куплена: полпуда — в рюкзаке, а два с половиной пуда — в узком длинном домашнем мешке. Надо было спешить: снег, начавший порошить с утра, усилился. Остановилась я возле переправы и ахнула. Мутная вода неслась, завихряясь водоворотами...

Речка вздувалась, уровень подымался на глазах.

Мостков не было видно. Я брела по колена в воде, стараясь не смотреть на бурлящую реку, чтобы не потерять равновесия.

12.

Вскоре я убедилась, что сбился с пути. Мне стало не по себе. Но вот я снова вышла на тропу. Вот барак, рядом другой. Они пусты и заперты: люди на работе. Вот контора. Я открыла дверь, шагнула на порог...

Эта мирная картина вызвала у меня отвращение...

Сколько голодных лесорубов обворовывал этот завхоз, чтобы его семья могла сожрать килограммов 5 мяса, если на рабочего отпускают 50 грамм мяса (из коих 60 процентов — кости) и 20 грамм крупы или лапши в сутки?! Выражение вороватого испуга и жест, которым старшие попытались прикрыть таз с мясом, подтвердили мою догадку.

И, не расспросив о дороге, я повернулась, подхватила свою ношу и пошла наугад. Смеркалось. Мороз крепчал. Снег заметал мои следы.

13.

Я вышла на луг, и вдали, за излучиной реки, блеснул огонек. Какое счастье, что они догадались не погасить лампу! Я бы свалилась в полутора-двух километрах от цели. Последнее усилие — и я рухнула на пороге барака.

Я потеряла сознание. Подняли меня Анна Михайловна и дневальная. Другие не захотели прерывать свой сладкий сон. Тогда я была лучше, чем теперь. Я всегда старалась не приобретать житейской мудрости, которая покрывала своей колючей в душе то, что должно быть прозрачным, как хрусталь.

Мне и в голову не пришло, что эта картошка моя. Как можно? Нас четверо, и я разделила эти 50 кг на 4 доли. Мне это казалось совсем нормальным.

14.

Последние дни золотой осени. Первый снег растаял, но вот-вот станет зима. Нас — Груню Серебрянникову и меня — послали расчистить зимник на Усть-Тьярм —

зимний путь, по которому предстояло подвозить сено из Анги в Усть-Тьярм для лошадей лесовозчиков. В Нарымской тайге лишь зимой, когда большинство болот замерзает, можно с грехом пополам передвигаться с места на место.

Груня — сибирячка. «Вольная». И она этим очень горда: ее предки — каторжане-убийцы, а не какие-то раскулаченные хозяева!

15.

Прорубать зимник через бурелом — работа, что и говорить, не из легких... 40 километров мы прошли за 5 или 6 дней. Паек нам выдали сухим пайком — один стакан пшена, одна соленая рыбешка — кажется, щука грамм в 300 — на двоих и по кирпичу хлеба. Этого должно хватить и на обратный путь. Спешу добавить, что возвращалась я одна (Груня осталась в Усть-Тьярме). Уже выпал снег. Наших я на Анге уже не застала: их перегнали в Харск, то есть еще на 20 км, о чем я узнала из записки — углем на двери.

16.

Нодия — поистине гениальное изобретение!

Две плоско обтесанные сухостоины укладываются рядом, чуть приподняв комлевую (корневую) часть. Между ними зажигают огонь. Против комля ставят шалаш из лапника — в роли отражателя, и даже при морозе в 40 градусов можно укладываться спать раздетым. В тайге нодия — это спасение!

17.

Выстойка — это тоже сибирское изобретение: лошадь, потную, еще не отдышавшуюся, привязывают коротко, задравши ей голову, и оставляют так часа на полтора-два и лишь затем задают ей корма. А у нас, бывало, расседлаешь, разотрешь соломенным жгутом, укроешь попоной, водишь ее, пока не просохнет, и потом — в теплую конюшню. Жестокая страна Сибирь! Но надо признать: сибирские лошади здоровы, выносливы и в 20 лет еще работоспособны.

18.

Мы с Лотарем с увлечением скоблили и мыли замерзшие кишки подошедшей от чесотки лошади и предвкушали пир. Нам повезло: хозяева наши были сердечные люди. Больше того, благодаря их великодушию мы смогли хоть один раз поесть досыта! Хозяин не был настолько голоден, чтобы съесть ту часть конских кишок, которая пришлась на его долю при разделе издохшей от чесотки леспромхозовской лошади...

19.

Ох и наелись мы!

Анна Михайловна, хоть и «профессор кулинарии», наотрез отказалась от попытки приготовить изысканное блюдо из этой требухи. И надо было видеть, как мы с Лотарем уплетали за оба уха это варевое! Варила я его в чугушке без дна. Дно вставила деревянное и варила, обкладывая чугунок углями.

— Запомним мы этот день, 11 ноября! — сказал Лотарь. — День, когда мы в первый раз были сыты!

Увы! Не думали мы тогда, что правильной было бы сказать не «в первый», а «в последний раз мы были сыты...». В сущности, в русскую рубленую избу вошла я впервые. Черные, прокопченные стены и еще более черный потолок. Смерд, спертый воздух. Непроходимое невежество и непроглядная, но уже привычная нужда обитателей. И — тараканы. О клопах я не говорю. В том, что они вездесущи, я уже убедилась. Впечатление был кошмарное: темно, грязно, воняет, и все копошится и шуршит.

20.

— В воскресенье будет полнолуние, — сказал нам хозин. — Мы с Петром Чоховым пойдем ночью рыбачить. Если хочешь, попытай счастье и ты. Проломав тонкий лед — там, где рыба собиралась, чтобы дышать, — они ее выбрасывали на лед черпаками...

21.

...А я — прямо руками.

Рыба скользкая. Ухватить ее трудно. Зато если опустить обе руки сразу, растопырить пальцы и поддавать ими рыбу, то получается неплохо, и моя доля улова быстро росла. Мороз жег как огнем, но я увлеклась и почти его не замечала.

Там, где были родники, я при свете полной луны увидела большую рыбину и, забыв об осторожности, окунула руки по самые плечи.

Ура! На льду трепыхается щука килограмма на три.

Вот это рыбища! Знай наших! Чем я не рыбак?!

И, в восторге от своей удачи, я забыла об осторожности. Вот возле мыска, круто спускавшегося вниз, растут тростники. Должно быть, тут лед тонкий. Я его пробью — и рыба моя!

Увы! Лед оказался слишком тонким и не рыба попала ко мне, а я — к рыбам!

22.

Тут я совершила ошибку: желая вылить воду из сапог, я подняла обе ноги вверх, и вода затекла в штаны и даже дальше...

Я мечтала об отварной щуке... Мы бы ели ее втроем, душистую уху. Это не протухшие конские кишки, а свежая рыбина, пойманная мной, притом пойманная прямо руками. Весть о моей удаче распространилась по Харску. И тут-то мое представление о взаимной вырубке и святости товарищества выдержало серьезное испытание. Ко мне подошла Анна Михайловна и несколько смущенно сказала:

— Нам не на что выкупить свой паек! А тут одни соседи хотят справить именины и просят продать им эту щуку на заливное...

Даже если бы я не увидела в ее глазах мольбы, я б ей никогда не отказала. Я протянула ей щуку и сказала:

— Продавайте!

И отвернулась, чтобы скрыть свое разочарование.

23.

До чего зимний лес прекрасен! Хвойный лес зимой я никогда не видела, если не считать декораций к «Сусанину». Но до чего жалкий вид был у вереницы плохо одетых, еще хуже приспособленных к такого рода походу бессарабцев! Мы покидали Харск без сожаления. Мы радовались тому, что получим возможность продуктивно работать. Возле Харска настоящего лесоповала уже не было: весь лес был давно уничтожен. Местные жители боролись с голодом и умудрялись водить за нос Смерть... А на что было рассчитывать нам? Один раз, да и то случайно, выручила щука. А дальше как быть?

25.

Так переправляют лошадей через ненадежно замерзающие трясины Нарымского края. Много опасностей в том краю! Но наиболее коварная — это трясина.

Лошадей нельзя был вести через них. Их пришлось повалить, связав ноги, и человек пять, разойдясь веером, на изрядном расстоянии друг от друга, перетаскивали их по очереди через опасные места. Вербки были привязаны к недоузду, к связанным ногам и к хвосту. Вьюк переносили вручную. Затем опять выючили лошадей.

25.

Тогда мне вспомнился рассказ, показавшийся неправдоподобным, как сторож из Усть-Тьярма (летом там никого, кроме сторожа, не было) доставил туда из Суйги корову, в лодке! Прямоком туда — 25 километров, но болота-зыбуны не позволяют... 90 километров везли несчастную буренушку, связанную «по рукам и ногам», в долбленке из цельного ствола вербы, перетаскивая из речки в речку.

26.

Здесь тротуаров нет!

«Хрен редьки не слаще» — и хваленый Усть-Тьярм оказался немногим лучше Анги, Харска или Суйги. По пути на работу надо было пересекать несколько речушек, характерных для этого края — быстрых и глубоких. Большинство из них замерзают поздно, и то остаются полыньи. Мостов и в помине нет: надо переходить по бревну, опираясь на жердь. Переходя по скользкому бревну, переносили с собой и жердь. Случается, что все жерди на одной стороне. Попробуй переберись так!

27.

Однажды случилось, что шесть хлыстов зависли на седьмом. Но я считала себя уже достаточно опытным лесорубом и начала подрубать эту седьмую лесину, чтобы спилить и ее. Внезапно эта лесина сломилась. Все задрожало, когда с ужасным грохотом и ревом семь лесин рухнули, вздымая целые тучи снега. Когда рассеялась снежная пыль, я с удивлением обнаружила, что цела и невредима, чудом оказавшись в «окне». Выкарабкавшись из этого завала, я с еще большим удивлением увидела, что пятеро лесорубов, в том числе мастер Иван Жаров, бьются в эпилептическом припадке.

28.

К нам на лесосеку, через тайгу — где на собаках, где на лыжах — приехал агитатор-докладчик. Мы находились в полном неведении о том, что же происходит на свете. Можно себе представить, что меня не пришлось, как других, чуть ли не силой загонять в клуб!..

Окончив газетную статью, лектор начал говорить, читая по бумажке, речь, смысл которой сводился к тому, что Германия вероломно напала на миролюбивую страну и захватила нас врасплох. Но это вскоре в корне изменится. Стоит нам перестроить свою военную индустрию, и все пойдет на лад. И мы им покажем! А пока что Америка — наш верный, мощный и свободолюбивый союзник — снабдит нас всем необходимым, используя порты Дальнего Востока и Персидского залива.

— Любопытно, а как реагирует Япония? Ведь в силу договора от 1935 года Япония обязана объявить войну стране, помогающей стране, находящейся в состоянии войны с Германией, независимо от того, кто является агрессором! — сказала я. Боже мой! Как от меня все шарахнулись!

Дня через два мне было приказано явиться в Суйгу.

Альбом 3. Часть 2

декабрь 1941 — февраль 1942

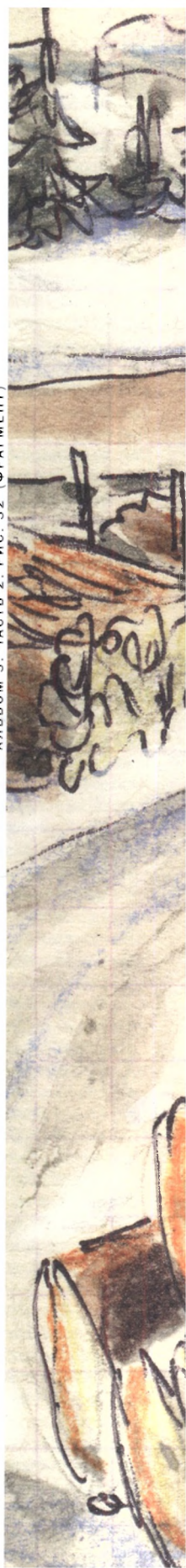
162 Начальником суйгинского леспромхоза был назначен Хохрин, беспредельно жестокий в обращении с людьми. Местные лесорубы, узнав о его назначении, плакали. Евфросиния отличалась от других тем, что она говорила то, что думала. На собраниях лесорубов в клубе она критиковала Хохрина и в его лице — власть — за завышенные нормы выработки, за запрет членам бригады помогать друг другу. В начале декабря 1941 года Хохрин перевел Евфросинию работать в Суйгу на самый трудный участок, надеясь таким образом скорее избавиться от нее.

В Суйге было немало иждивенцев — детей и стариков, а им полагалось лишь 150 граммов хлеба в день. Если работавшие отдавали свою еду иждивенцам, членам своей семьи, то сами от недоедания теряли силы и были обречены на смерть. Хохрин и его семья ни в чем не нуждались, были тепло одеты. Евфросиния обвинила Хохрина в том, что голодание детей целиком на его совести.

В феврале 1942 года Евфросиния заболела и не могла выходить на работу. Хохрин велел назначенной им фельдшернице не выписывать ей освобождение от работы и лишил ее пайка. Смерти в рабстве она предпочла волю и 26 февраля 1942 года бежала из ссылки.

Хохрин регулярно писал на Евфросинию доносы в НКВД, но зимой лесозаготовки были отрезаны от районного центра. Весной за ней пришли, чтобы арестовать, но ее уже не было среди ссыльных, и НКВД объявил Евфросинию в розыск.

АЛЬБОМ 3. ЧАСТЬ 2. РИС. 32 (ФРАГМЕНТ)



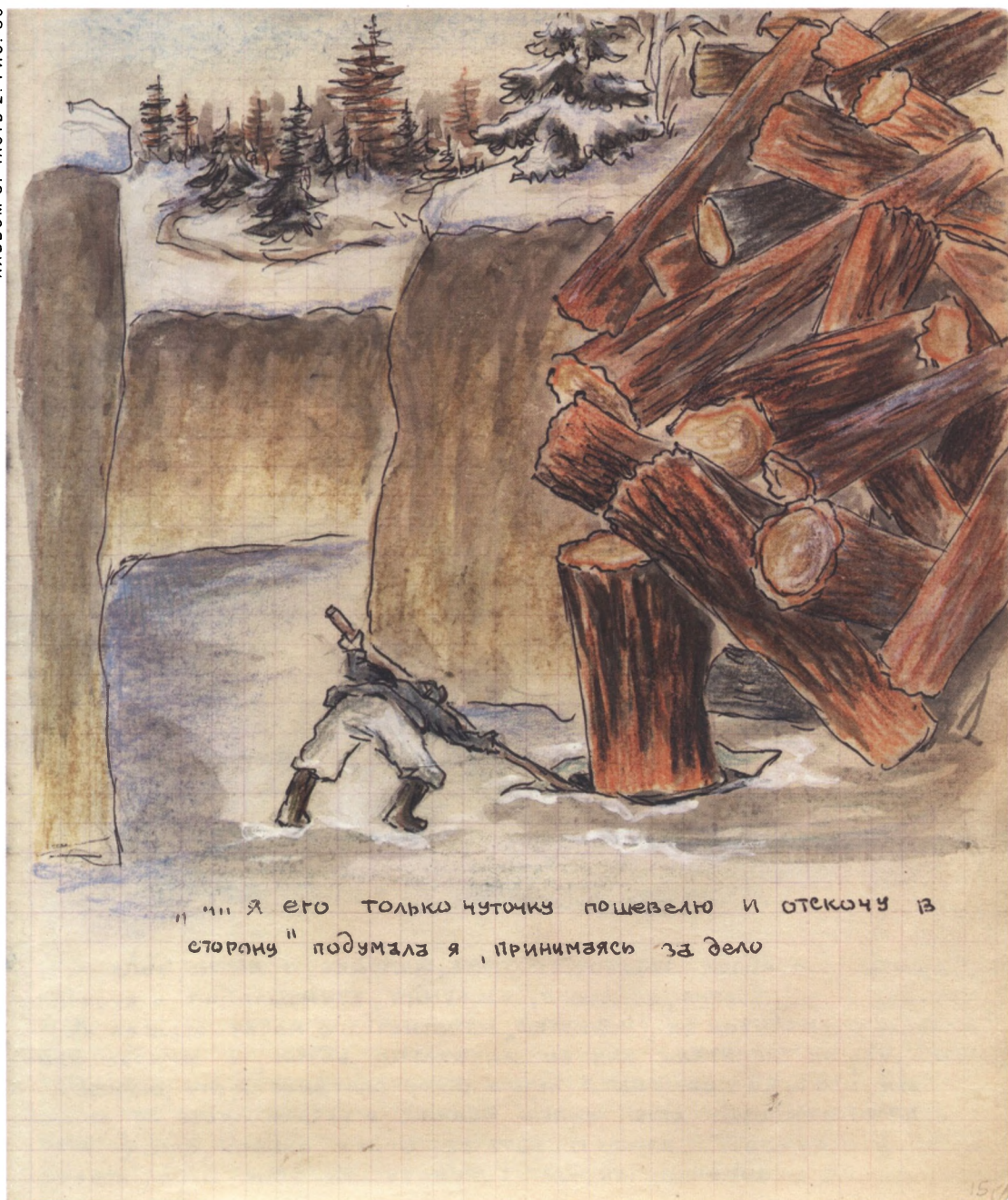


— Я так размечтался о пшенной каше, да еще со шкварками, что 28 штабелей проехал. Аж на двадцать девятом опомнился!



«... я так размечтался о пшённой каше... да ещё со шкварками, что 28 штабелей проехал. А на двадцать девятом опомнился!...»

«Я его только чуточку пошевелью и отскочу в сторону», —
подумала я, принимаясь за дело.



„... я его только чуточку пошевелью и отскочу в
сторону“ подумала я, принимаясь за дело

Лед, земля и, наверное, небо задрожали, когда все катище*, грохоча и подпрыгивая, ринулось с обрыва вниз.

* Катище — горы толстых бревен.

Я лежала рядом с гигантским сутунком, по которому фуговали все лесины, и, когда последняя из них скатилась на лед, я встала.

Первое, что я заметила, — это старик Кравченко: бледный как смерть он стоял вверху и, скинув шапку, часто-часто крестился.

— Ну, Фрося, крепко кто-то за тебя молится... Тебе ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть: ты — заговоренная.



Лёд, земля и, наверное, небо задрожали, когда всё „катище“, грохоча и подпрыгивая, ринулось с обрыва вниз.

Я лежала рядом с гигантским „сутунком“, по которому „фуговали“ все лесины и, когда последняя из них скатилась на лёд, я встала.

Первое, что я заметила — это старик Кравченко: бледный, как смерть он стоял вверху и, скинув шапку часто-часто крестился — „Ну, Фрося, крепко кто-то за тебя молится... Тебе-ни в воде не сгореть, ни в воде не утонуть: ты — заговорённая...“

Тут я впервые поняла, что голод начинает одерживать верх надо мной: я знала, что 20 минут отдыха для меня полезней, чем безнадежная попытка отыскать эту крошку хлеба, затерявшуюся в штабели, но мысль об этом кусочке хлеба становилась невыносимой.



Тут я впервые поняла, что голод начинает одерживать верх надо мной: я знала, что 20 минут отдыха для меня полезней, чем безнадежная попытка отыскать эту крошку хлеба, затерявшуюся в штабели, но... Мысль об этом кусочке хлеба, становилась невыносимой...

— Девочка ты моя милая! Это же не пироги. Это рукавицы!

— Ах!

На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах. Она закрыла лицо руками и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура олицетворяла такое отчаяние, что, будь у меня один-единственный пирог, я бы его отдала ей. Что может быть грустней и несправедливей, чем вид голодного ребенка?! За что детей-то мучить в ссылке?



— „Девочка ты моя милая! Это же не пироги. Это — рукавицы!“
— „Ах!“ На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах. Она закрыла лицо руками и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура олицетворяла такое отчаяние, что... будь у меня один-единственный пирог, я бы его отдала ей.
Что может быть грустней и несправедливей, чем вид голодного ребёнка?! За что детей-то мучить в ссылке?

Дверь открывалась, в столовую врывалась озверевшая от голода толпа лесорубов. С размаху они налетали на железный камбус и, топча упавших, кидались к раздаточному окошку. Что тут творилось! Было и больно и стыдно за людей, потерявших облик человеческий.



Дверь открывалась, в столовую врывалась, озверевшая от голода, толпа лесорубов. С размаху, они налетали на железный «камбус» и, топча упавших, кидались к «раздаточному окошку». Что тут творилось! Было и больно и стыдно за людей, потерявших облик человеческий ---

Полночь близилась, луна заходила. Костры догорали, силы мои иссякли, и я поняла, что норму выполнить невозможно... Впервые я поддалась отчаянию: схватившись за голову, я рухнула в снег. Затем, подхватив инструмент, надела телогрейку и пошла, шатаясь от голода и усталости.

Луна зашла. Тайга — темная, враждебная. Ты победил, Хохрин! Я буду бороться! Не с тем, чтобы победить, а чтобы умереть с достоинством. Это было 24 декабря... День моего рождения.



Полночь близилась, луна заходила. Костры догорали, силы мои иссякли и я поняла, что норму выполнить невозможно... Впервые я поддавалась отчаянию: схватившись за голову, я рухнула в снег. Затем, подхватив инструмент, надела телогрейку и пошла, шатаясь от голода и усталости.

Луна зашла. Тайга — темная, враждебная. Ты победил, Хохрин! Я буду бороться! Не с тем, чтобы победить, а чтобы умереть с достоинством. Это было 24 декабря... День моего рождения...

...и тогда на сцену подымалась я. И начинала беспощадную, обличительную речь. Хохрин был что угодно, только не оратор, и я ему задавала хорошую словесную трепку.



..... и тогда на сцену подымалась я. И начинала беспощадную, обличительную речь... Хохрин был — что угодно, только не оратор и я ему задавала хорошую словесную трепку

Жена Хохрина говорила:

— ...и еще, для Лидочки, один килограмм манной крупы, и еще, для Лидочки, один килограмм пшена, и еще, для Лидочки...

Тут заведующий Николай Щукин заметил меня и заорал:

— Магазин не работает! Закрой двери!



Жена Хохрина говорила:
"...и еще, для Лидочки, 1 кг. манной крупы и еще, для Лидочки, 1 кг. пшена и еще, для Лидочки..." Тут заведующий Николай Щукин, заметил меня и заорал: "Магазин не работает! Закрой двери!"

А вот и сама Лидочка: на коврик, окруженная игрушками, — девочка-подросток лет 12, гладкая, раскормленная. В ее возрасте дети — худые, обожженные морозом, — работают в лесу ради права на пайку. Увидев меня, она бросила на меня хмурый взгляд исподлобья, сгребла свои игрушки и накрыла всем своим телом.

В ее волчьем взгляде было столько ненависти, что можно было не сомневаться: это дочь Хохрина.



А вот и сама Лидочка: на коврике, окруженная игрушками — девочка-подросток, лет 12^{ти} — гладкая, раскормленная. В ее возрасте дети — худые, обожженные морозом — работают в лесу ради права на «пайку». Увидев меня, она бросила на меня хмурый взгляд исподлобья, сгребла свои игрушки и накрыла всем своим телом.

В ее волчьем взгляде было столько ненависти, что можно было не сомневаться: это — дочь Хохрина.

Поперек широкой кровати лежало шестеро детей... Детей? Да можно ли назвать детьми этих, воскового цвета, опухших старичков?! И рядом сидит, тупо смотря на них, мать... Что может быть ужасней?!



Поперёк широкой кровати лежало шестеро детей...
Детей? Да можно ли назвать "детьми" этих, воскового цвета,
опухших старичков?! И рядом сидит, тупо смотря на них, мать...
Что может быть ужасней?!

Они брели по болотам и завалам бурелома. Сперва они вынуждены были побросать свой бедный скарб; затем стали умирать дети, а затем... Немногим удалось добраться до более обжитых мест, где они и осели: будучи пожизненно ссыльными, вернуться на родину они не имели права.



Они брели по болотам и завалам бурелома. Сперва они вынуждены были побросать свой бедный скарб; затем стали умирать дети, а затем... Немногим удалось добраться до более обжитых мест, где они и осели: будучи пожизненно ссыльными, вернуться на родину, они не имели права.

— Не могу больше, Фрося! Пересчитай их ты. К концу дня во мне все дрожит... Боюсь напутать. Судить будут... Засудят... У меня Сима дочку родила... Так я свое дите не увижу... 18 километров! Не пускают к ней... Не могу больше! — бормотал Афанасьев, хватаясь за голову.

«До какого состояния полнейшего нервного истощения довел Хохрин своих невольников!» — подумала я.



„... Не могу больше, Фрося! Пересчитай их ты... К концу дня во мне все дрожит... Боюсь напутать... Судить будут... Засудят... У меня дочку Сима родила... Так я свое дите не увижу... 18 километров! Не пускают к ней... Не могу больше! — бормотал Афанасьев, хватаясь за голову. „До какого состояния полнейшего нервного истощения довел Хохрин своих невольников!“ подумала я.

Лесоповал — работа и сама по себе опасная, если же вдобавок работать второпях, через силу... Ничего нет удивительного в том, что несчастные случаи — явление нередкое. Невольно содрогнешься, глядя на девушку, припиленную сучком к земле.



Лесоповал — работа и сама по себе, опасная; если же, вдобавок, работать второпях, через силу... Ничего нет удивительного в том, что несчастные случаи — явление нередкое. Невольно содрогнешься, глядя на девушку, припиленную сучком, к земле.

— Этот «симулянт» умирает! И умирает по вашей вине... Вы не имели права забирать лампу из барака, где умирает человек. Принесите свою лампу: у вас их три!

Этот случай «саботажа» тоже фигурировал на суде: «она сорвала собрание, унеся лампу из клуба». Что ж, это, пожалуй, был единственный обоснованный донос из числа тех ста одиннадцати доносов Хохрина на меня.



«Этот «симулянт» умирает! И умирает по вашей вине... Вы не имели права забирать лампу из барака, где умирает человек. Принесите свою лампу: у вас их три!»

Этот случай «саботажа» тоже фигурировал на суде: «она сорвала собрание, унеся лампу из клуба». Что же? Это, пожалуй, был единственный обоснованный донос из числа тех ~~ста~~ ~~одна~~ ~~двенадцати~~ ~~двенадцати~~ доносов Хохрина на меня.

Старик Барзах ползал в снегу, целовал его [Хохрина] ноги и, ломая руки, умолял не вычеркивать его из списка тех, кто имеет право на пайку, — то есть право за свои деньги купить 800 граммов хлеба в день. У него двое детей, жена совсем больная и старуха мать, которой 90 лет. Он плакал и извивался, как раздавленный червяк... Нужно было видеть самодовольное выражение лица Хохрина! Уму непостижимо! В XX веке!!!



Старик Барзах ползал из снега, целовал его ноги и, ломая руки, умолял не вычеркивать его из списка тех, кто имеет право на пайку" — т.е. право, за свои деньги, купить 800,0 хлеба, в день. У него — двое детей, жена — совсем больная и старуха — мать, которой 90 лет. Он плакал и извивался, как раздавленный червяк... Нужно было видеть самодовольное выражение лица Хохрина! Уму непостижимо! В XX^{ом} веке!!!

Барзах, в прошлом владелец магазина модельной обуви, никак не мог справиться с работой возчика. И больно и смешно было смотреть на его тщетные попытки водрузить бревно на подсанок! И никто не имел права ему помочь... Впрочем, не имел и возможности: все, выбиваясь из сил, торопились справиться со своей нормой, и над каждым висела угроза остаться без пайки. Царь Голод! Самый жестокий царь... коммунизма.



Барзах, в прошлом, владелец магазина модельной обуви, никак не мог справиться с работой возчика. И больно и смешно было смотреть на его тщетные попытки водрузить бревно на „подсанок"! И никто не имел права ему помочь... Впрочем, не имел и возможности: все, выбиваясь из сил, торопились справиться со своей нормой... и над каждым висела угроза остаться „без пайки"! Царь Голод! Самый жестокий царь... коммунизма....

Вся семья в радостном возбуждении. Нюра так и сияет.

— Ах, Фрося! Радость-то какая: с оказией Вася мой пишет — он женился...

У нее — изба своя, корова, огород... Понимаешь? Своя картошка, молоко!

— Постой-постой, — прервала ее я, — так чему же ты радуешься?

— Как чему? Да ведь он сыт! И мне не надо ему посылку снаряжать — от детей последнее отрывать. Ведь у меня их шестеро. А получают по 150 грамм хлеба. Легко ли сухарей насушить?

— Ну а если он не вернется?

Она на мгновение призадумалась.

— Как не вернется? Он, чай, своим детям отец? Жалеет он их! Ну... там видно будет. Но он хоть сыт. И жив будет. Ну и мы, хоть не очень-то сыты, но не замрем...

Я шла домой в раздумье. Как мать — она права. А как женщина?



Вся семья — в радостном возбуждении. Нюра — так и сияет.

— «Ах, Фрося! Радость-то какая: с оказией Вася мой пишет — он женился...»

У нее — изба своя, корова, огород... Понимаешь? Своя картошка, молоко!»

— «Постой — постой!» — прервала ее я, — так чему же ты радуешься?»

— «Как — чему? Да ведь он сыт! И мне не надо ему посылку снаряжать — от детей последнее отрывать. Ведь у меня их шестеро. А получают по 150 грамм хлеба. Легко ли сухарей насушить?»

— «Ну, а если он не вернется?» Она, на мгновение призадумалась.

— «Как не вернется? Он, чай, своим детям отец? Жалеет он их! Ну... там видно будет. Но он, хоть сыт. И — жив будет. Ну и мы — хоть не очень-то сыты, но — не замрем...»

Я шла домой, в раздумьи. Как мать — она права. А как женщина?





Альбом 3. Часть 2. Рис. 46
(фрагмент)

Озверевшие от голода возчики буквально забивали до смерти своих лошадей: ведь за перевыполнение и без того невыполнимой нормы возчик получал право... купить пирожок из черной муки с брусникой. Мысль об этом проблематическом пирожке сводила с ума!



Озверевшие, от голода, возчики, буквально забивали до смерти, своих лошадей: ведь, за "перевыполнение" и без того невыполнимой, нормы, возчик получал право... купить пирожок - из черной муки, с брусникой. Мысль об этом, проблематическом, пирожке, сводила с ума!

Вконец деморализованные доходяги толпились в надежде на обьедки. «Наглядное пособие»: стахановец* и «тунеядцы». Но «стахановец» оттого и стахановец, что он сыт. А «тунеядцы», если бы им создать условия обычной рабочей скотины, не скатились бы до столь унижительного состояния.

* Стахановец — работник, который добивался наивысшей производительности труда благодаря особым созданным для него условиям.



Вконец деморализованные «доходяги» толпились в надежде на обьедки. «Наглядное пособие»: стахановец и «тунеядцы». Но «стахановец» — оттого стахановец, что он сыт. А «тунеядцы», если бы им создать условия обычной рабочей скотины, не скатились бы до столь унижительного состояния----

Я напрягла все свои силы до предела... В глазах темнело, во рту ощущался противно-металлический привкус, но перевернуть сутонок, впившийся сантиметров на 50–70 в мерзлый грунт... Нет! Это было невозможно выполнить в одиночку! А помогать друг другу Хохрин строжайше запретил! В конце дня эту работу выполняла вся бригада за мой счет! Таким образом, мой заработок сводился к нулю после 12 часов напряженного труда. Один сучкоруб с соседней делянки, проработав день, за-должал 4 рубля 20 копеек.

Разумеется, вечером на собрании я подняла этот вопрос. Можно только удивляться, как сумел [Хохрин] в очередном докладе извратить смысл моего выступления!



Я напрягла все свои силы до предела... В глазах темнело, во рту ощущался противно-металлический привкус, но перевернуть сутонок, впившийся сантиметров на 50–70, в мерзлый грунт... Нет! Это было невозможно выполнить в одиночку! А помогать друг-другу Хохрин строжайше запретил! В конце дня, эту работу выполняла вся бригада, за мой счёт! Таким образом, мой заработок сводился к нулю, после 12^{ти} часов напряженного труда. Один сучкоруб, с соседней делянки, проработав день, задолжал 4^р20^к. Разумеется, вечером, на собрании, я подняла этот вопрос. Можно только удивляться, как сумел, в очередном докладе, извратить смысл моего выступления!

...Заломив руки, я соскальзываю с пня и падаю на колени.

— Папа! Мне так невыносимо тяжело, папа! Как долго смогу я выносить такие мучения? Я не могу больше...

Он с грустью посмотрел на меня и сказал одно лишь слово: «восемь». На лес, на поляну наползает тьма. Только слышно шуршание листьев. Шаги удаляются, и я просыпаюсь.

Чего восемь? Лет? Дней? Недель?

...Между днем, когда я в первый раз взяла косу и пошла на сенокос, и той ночью, когда я бросила топор под ступеньки конторы и ушла в тайгу, прошло ровно восемь месяцев. Мистика? Совпадение?



...Заломив руки, я соскальзываю с пня и падаю на колени — „Папа! Мне так невыносимо-тяжело, папа! Как долго смогу я выносить такие мучения? Я не могу больше...“

Он, с грустью, посмотрел на меня и сказал одно лишь слово: „8“. На лес, на поляну, наползает тьма. Только слышно шуршание листьев. Шаги удаляются и... я просыпаюсь.

Чего - восемь? Лет? Дней? Недель?

Между днём, когда я, в первый раз взяла косу и пошла на сенокос и той ночью, когда я бросила топор под ступеньки конторы и ушла в тайгу — прошло ровно восемь месяцев. Мистика? Совпадение?

Собаки съели еще вначале, осенью, сразу после того, что их хозяева-охотники получили «собачий паек» (4 кг прогорклой овсянки в месяц). Так что можно было найти достаточно костей — вываренных, но еще съедобных.

Эти кости я толкла и ела. Но вскоре костей не стало: их съели неработающие, уже выбившиеся из сил доходяги — преимущественно мои земляки, — а также дети, старики... Они не работали, времени у них было больше, а мое «открытие» не было запатентовано.



Собаки съели ещё вначале осенью — сразу после того, что их хозяева-охотники получили „собачий паёк“ (4 кг прогорклой овсянки, в месяц), т.ч. можно было найти достаточно костей — вываренных, но... ещё съедобных. Эти кости я толкла и ела. Но, вскоре, костей не стало: их съели неработающие, уже выбившиеся из сил „доходяги“ — преимущественно мои земляки, а также дети, старики... Они не работали, времени, у них было больше... а мое „открытие“ не было запатентовано.

На Валю было страшно смотреть: она рухнула в снег, корчась от боли. В глазах буквально горел огонь безумья: у нее был грудной ребенок, и грудная железа воспалилась. Грудница (мастит) — очень мучительная болезнь, а она работала сучкорубом!

— Дмитрий Алексеевич! Не могу больше... — прохрипела она.

— Не можешь? Так умри! — и он пошел дальше.

У меня в глазах потемнело, и рука сама собой сжала ручку топора.



На Валю было страшно смотреть: она рухнула в снег, корчась от боли. В глазах, буквально „горел огонь безумья“: у нее был грудной ребенок и грудная железа воспалилась — грудница (мастит) очень мучительная болезнь... а она работала сучкорубом!...

— „Дмитрий Алексеевич! Не могу больше...“ прохрипела она.

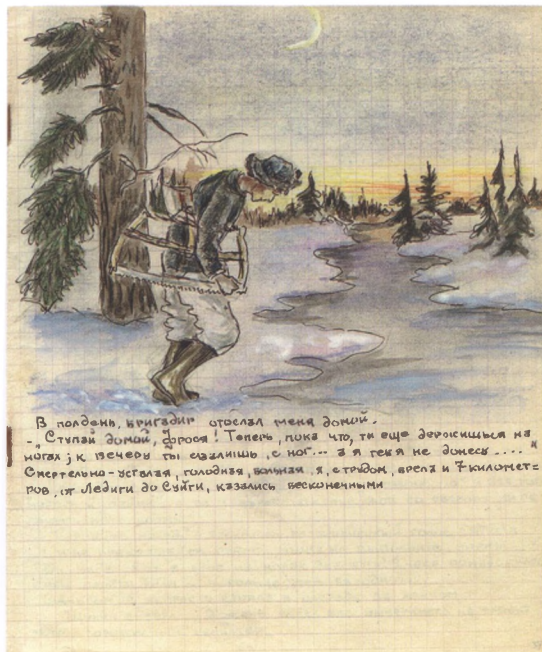
— „Не можешь? Так умри!“ и он пошел дальше.

У меня в глазах потемнело и рука сама-собой сжала ручку топора.

В полдень бригадир отослал меня домой.

— Ступай домой, Фрося! Теперь пока что ты еще держишься на ногах, к вечеру ты свалишься с ног, а я тебя не донесу...

Смертельно усталая, голодная и больная я с трудом брела, и семь километров от Ледиги до Суйги казались бесконечными.



В полдень бригадир отослал меня домой.
— Ступай домой, Фрося! Теперь пока что ты еще держишься на ногах, к вечеру ты свалишься с ног... а я тебя не донесу...
Смертельно усталая, голодная, больная я, с трудом, вела и 7 километров от Ледиги до Суйги, казались бесконечными.



Разумеется, я зашла в контору: нужно было заявить о том, что с работы я ушла. Иначе невыполненная мною норма легла бы на плечи Вали Яременко и Миши Скворцова, и без того выбивающихся из последних сил, чтобы не подвергнуться урезанию и без того мизерной пайки, а то и заработать пирожок со свеклой за перевыполнение нормы.

— Ступайте назад, — закрипел безжизненный голос сади́ста, — и не прекращайте работы, пока не выполните нормы...

Он видел, что я едва на ногах держусь! Четыре часа понадобилось, чтобы пройти семь километров, и солнце уже заходило...

Вечером я напрасно стояла в очереди за хлебом. Щукин сказал:

— Хохрин велел вас вычеркнуть из списка.

Это — сознательное убийство.



АЛЬБОМ 3. ЧАСТЬ 2. РИС. 54



АЛЬБОМ 3. ЧАСТЬ 2. РИС. 54. (ФРАГМЕНТ) ▲

— Я понимаю, Фрося, вам плохо, вы... болеете она [медсестра] чуть было не сказала — «умираете»), я могу дать вам порошок, ну два. Но я не могу, не имею права дать вам больничный, освободить от работы! Распоряжения Дмитрия Алексеевича [Хохрина] относительно вас не допускают такой возможности.



«...Я понимаю, Фрося, вам плохо, вы... болеете (она чуть было не сказала «умираете»), я могу вам дать порошок, ну-два.... Но я не могу, не имею права дать вам «больничный», освободить от работы! Распоряжения Дмитрия Алексеевича, относительно вас, не допускают такой возможности...!»

Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном.

Я слышу: «Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла... Жалела нас и детей наших... Господи! Будь милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину... Прости нам, Фрося, грехи наши. Мы не забудем помянуть тебя в молитвах наших...»



Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу: «Ты умираешь Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла... Жалела нас и детей наших... Господи! Будь милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину... Прости нам, Фрося, грехи наши... Мы не забудем помянуть тебя, в молитвах наших...»

Как? Дождаться «легкой кончины»... и чтобы он, гад, восторжествовал? Что он думает? Что я покорно умру? Или, как Барзах, ноги его целовать буду?! Нет! И, собравшись с силами, я схватила топор и помчалась через весь поселок в контору.

Был вечер. Люди возвращались с работы и торопились в очередь за хлебом, за супом. При виде меня — с непокрытой головой, в расхристанной рубашке, с топором в руке — они сторонились с пути и оглядывались.



Как? Дождаться «лёгкой кончины»... и, что бы он, гад, восторжествовал? Что он думает? Что я покорно умру? Или... как Барзах, ноги его целовать буду?! Нет! И, собравшись с силами, я схватила топор и помчалась, через весь посёлок, в контору.

Был вечер. Люди возвращались с работы и торопились в очередь за хлебом, за супом. При виде меня — с непокрытой головой, в «расхристанной» рубашке, с топором в руке, они сторонились с пути и оглядывались.

Убить такого злодея — доброе дело, но... Чтобы нанести удар из-за спины, надо быть убийцей. Дьявол — покровитель Хохрина — надоумил его пересечь затылком к входу.

Я стояла за его спиной. Я не видела его мутных, как у трупа, глаз. Я не убийца! И нанести удара я не смогла...



Убить такого злодея — доброе дело, но... Что бы нанести удар из-за спины — надо быть убийцей... Дьявол — покровитель Хохрина — надоумил его пересечь затылком к входу...

Я стояла за его спиной. Я не видела его мутных, как у трупа, глаз... Я — не убийца! И нанести удара я не смогла...

Прорубь... В ней кончается власть Хохрина. В ней конец мучений, конец издевательствам... Всему конец!

Я склонилась над прорубью. Где-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урча и свиваясь в воронки, текла, как Стикс — река подземного царства.

Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула через прорубь и, волоча за лямку рюкзака, побежала через реку — подальше от этого жуткого Стикса, чье ворчание, казалось, преследовало меня.



Прорубь... В ней кончается власть Хохрина... В ней — конец мучений, конец издевательствам... Всему конец!

Я склонилась над прорубью. Где-то, из глубины, на меня глянула черная вода, которая, урча и свиваясь в воронки, текла... как Стикс — река подземного царства.

Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула... через прорубь и, волоча, за лямку, рюкзак, побежала, через реку — подальше от этого жуткого „Стикса“, чье ворчание, казалось, преследовало меня.

— Боже! — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы руки. —
Боже! Укажи мне, что делать? И, что бы ни случилось, — да будет воля Твоя...

И будто услышала я слова Кравченко: «Кто-то молится — крепко молится за тебя, Фрося!» Но кто? Кто?! И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим волосам. Мама! Живая или мертвая, но душа ее со мной, и молитва ее в критические минуты моей судьбы смягчает ее удары и придает силы, чтобы их перенести.

Над Суйгой сквозь облака несяся месяц с такой быстротой, что у меня от слабости закружилась голова и я опустила глаза.

И взгляд мой упал на черную прорубь...

Я вскочила на ноги, подхватила рюкзак и повернулась спиной к Суйге.

Впереди — тайга. Наверное — смерть. И позади — смерть. Смерть в рабстве. Смерть на воле. Я сделала выбор...



— „Боже!“ — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы, руки,
— „Боже!“ — Укажи мне, что мне делать? И, что бы ни случилось — да бу-
дет воля Твоя...“ И будто услышала я слова Кравченко: „...кто то
молится — крепко молится, за тебя, Фрося!“... Но кто? Кто?!
И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим воло-
сам. Мама! Живая или мертвая, но душа ее — со мной и молитва
ее, в критические минуты моей судьбы, смягчает ее удары и при-
дают силы, что бы их перенести.

Над Суйгой, сквозь облака, несяся месяц с такой быстротой, что у меня,
от слабости, закружилась голова и я опустила глаза.

И взгляд мой упал на черную прорубь...

Я вскочила на ноги, подхватила рюкзак и повернулась, спиной к Суйге.

Впереди — тайга, Наверное — смерть. И позади — смерть. Смерть в рабстве.
Смерть на воле... Я сделала выбор...





29. — Я так размышлял о пшенной каше, да еще со шкварками, что 28 штабелей проехал. Аж на двадцать девятом опомнился! — рассказывал старик Кравченко, неунывающий хохол, инструктор на новой для меня работе. В Суйге жили мы, ссыльные бессарабцы, в бараке, вповалку на общих нарах, питались в столовке, где получали два раза в день по пол-литра жидкой баланды по 24 копейки, а если баланда была «мясная», то есть сварена на бульоне из костей павшей лошади, то по 76 коп. Хлеб получали по вечерам после работы по списку. А работать ходили на речку Ледигу, километров за семь. Я штабелевала лес, подвозимый возчиками.

30. Я застала на своем рабочем месте беспорядок: горы толстых бревен были нагромождены в хаотическом беспорядке на крутом берегу. Как тут быть? Мне этого затора никак не разобрать! А тут с минуты на минуту начнут подвозить новый лес, его будут сваливать все дальше и дальше от берега. Наверное, сутунок уперся в дно реки.
«Я его только чуточку пошевелю и отскочу в сторону!», — подумала я, принимаясь за дело.

31. Лед, земля и, наверное, небо задрожали, когда все катище*, грохоча и подпрыгивая, ринулось с обрыва вниз. Я лежала рядом с гигантским сутунком, по которому фуговали все лесины, и, когда последняя из них скатилась на лед, я встала. Первое, что я заметила, — это старик Кравченко: бледный как смерть он стоял вверху и, скинув шапку, часто-часто крестился.
— Ну, Фрося, крепко кто-то за тебя молится... Тебе ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть: ты — заговоренная.

* Катище — горы толстых бревен.

32. Ко мне на катище перед самым обеденным перерывом подошел Кравченко.
— Фрося! Я уронил вот в тот штабель 50 грамм хлеба. Тут я впервые поняла, что голод начинает одерживать верх надо мной: я знала, что 20 минут отдыха для меня полезней, чем безнадежная попытка отыскать эту крошку хлеба, затерявшуюся в штабелях, но мысль об этом кусочке хлеба становилась невыносимой.

33. Дед Кравченко подарил мне пару старых шубенных рукавиц. Какое счастье! Ведь до того я работала голыми руками, заматывая руки тряпками. Как-то, получив аванс 5 рублей, которых должно было хватить на неделю, но никак не хватало, потому что только за хлеб приходилось платить 96 копеек, я задержалась в прихожей конторы,

положив рукавицы на окно.

— Домнишора* Керсновская! — услышала я за собой тоненький голосок. — Может быть, для вас это слишком много? Пирог... Может быть, вам одного хватит?
— Девочка ты моя милая! Это же не пироги. Это рукавицы!
— Ах!

На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах. Она закрыла лицо руками и судорожно всхлипла. Вся ее фигура олицетворяла такое отчаяние, что, будь у меня один-единственный пирог, я бы его отдала ей. Что может быть грустней и несправедливей, чем вид голодного ребенка?! За что детей-то мучить в ссылке?

* Домнишора — госпожа (молдавск.).

34. Дверь открывалась, в столовую врывалась озверевшая от голода толпа лесорубов. С размаху они налетали на железный камбус и, топчая упавших, кидались к раздаточному окошку. Что тут творилось! Было и больно и стыдно за людей, потерявших облик человеческий.
Самым проворным был Зейлик Мальчик со своим ночным горшком, в который он получал свой обед.

35. Моей обязанностью было обрубить сучья заподлицо (без задоринки), со всех сторон ошкуривать пни и сжигать все остатки.... Ветви — мокрые, на морозе не горят. А как притащить тяжелые вершины, чурки, бревна?! Полночь близилась, луна заходила. Костры догорали, силы мои иссякли, и я поняла, что норму выполнить невозможно... Впервые я поддалась отчаянию: схватившись за голову, я рухнула в снег. Затем, подхватив инструмент, надела телогрейку и пошла, шатаясь от голода и усталости. Луна зашла. Тайга — темная, враждебная. Ты победил, Хохрин! Я буду бороться! Не с тем, чтобы победить, а чтобы умереть с достоинством. Это было 24 декабря... День моего рождения.

36. Очень любил Хохрин проводить собрания... В конце выступления обедеет всех своими трупными глазами. Просто удивительно, до чего жуткие были эти глаза! Мутные, как у снулой рыбы, к тому же маленькие и неподвижные.

Все молчат... Кто осмелится спорить?!

...и тогда на сцену подымалась я. И начинала беспощадную, обличительную речь. Хохрин был что угодно, только не оратор, и я ему задавала хорошую словесную трепку.

37. Однажды я была в Суйге днем и решила зайти в магазин получить мою пайку, что избавило бы меня от необходимости вечером стоять в очереди, иногда до одиннадцати часов. Дверь была приоткрыта, и я зашла незамеченная.

У прилавка стояла жена Хохрина и говорила:

—...и еще, для Лидочки, один килограмм манной крупы, и еще, для Лидочки, один килограмм пшена, и еще, для Лидочки...

Тут заведующий Николай Щукин заметил меня и заорал:
— Магазин не работает! Закрой двери!

38.

Однажды, получая зарплату, я зачем-то зашла в заднюю комнату при конторе.

А вот и сама Лидочка: на коврике, окруженная игрушками, — девочка-подросток лет 12, гладкая, раскормленная. В ее возрасте дети — худые, обожженные морозом, — работают в лесу ради права на пайку. Увидев меня, она бросила на меня хмурый взгляд исподлобья, сгребла свои игрушки и накрыла всем своим телом. В ее волчьем взгляде было столько ненависти, что можно было не сомневаться: это дочь Хохрина.

39.

Однажды я зашла к Яше Наливкину, нашему возчику. Работал он старательно, но явно через силу. Одутловатое лицо, мешки под глазами, дрожащие руки...

Жена его редко выходила на работу.

— Болееет! — говорил Яша.

И вот я зашла в его лачугу. Зашла — и отшатнулась.

Поперек широкой кровати лежало шестеро детей...

Детей? Да можно ли назвать детьми этих, воскового цвета, опухших старичков?! И рядом сидит, тупо смотря на них, мать... Что может быть ужасней?!

40.

Чаще всего встречалась я с Валей Яременко. Но как было помочь ей советом, когда единственным рабочим в семье была сама Валя, а делиться своей пайкой надо было со старухой свекровью и двумя детьми?

От ее свекрови я слышала рассказ, которому в прежние времена ни за что бы не поверила!

Они с мужем и тремя детьми были одними из первых раскулаченных. Завезли их в верховья реки Кеть, и стали они рыть Кеть-Енисейский канал. Но вот пришло время, и по произведенным изысканиям выяснилось, что Енисей куда выше Кети и вообще от Енисея на запад сильный уклон и пришлось бы строить систему шлюзов, а это нерентабельно. Работы прекратили, а о рабочих просто забыли. Когда несчастные это поняли, на них напал ужас. Они брели по болотам и завалам бурелома. Сперва они вынуждены были побросать свой бедный скарб; затем стали умирать дети, а затем... Немногим удалось добраться до более обжитых мест, где они и осели: будучи пожизненно ссыльными, вернуться на родину они не имели права.

41.

...Мы работали втроем: я подготавливала дерево — отгребала снег, обрубала поросль; затем Петр Чохов

лучковой пилой валил хлыст. Афанасьев раскряжевывал его, стараясь выгадать как можно больше бревен высших сортов. Бревно каждого сорта своей, особой длины, и допустимая разница плюс-минус 2 см...

За каждую ошибку — штраф, а за обмер больше 2 см грозит суд по обвинению в саботаже.

— Не могу больше, Фрося! Пересчитай их ты. К концу дня во мне все дрожит... Боюсь напутать. Судить будут... Засудят... У меня Сима дочку родила... Так я свое дите не увижу... 18 километров! Не пускают к ней... Не могу больше! — бормотал Афанасьев, хватаясь за голову.

«До какого состояния полнейшего нервного истощения довел Хохрин своих невольников», — подумала я.

42.

Лесоповал — работа и сама по себе опасная, если же вдобавок работать второпях, через силу... Ничего нет удивительного в том, что несчастные случаи — явление нередкое. Невольно содрогнешься, глядя на девушку, припиленную сучком к земле.

43.

...одного крепкого, как бык, колхозника зашибло пачкой (охапкой) сучьев, застрявшей на соседнем дереве, и человек был долгое время без сознания. Хохрин приказал ему работать. Человек подчинился, попытался работать. Домой его привели. Верней — приволокли. Прихожу я однажды с работы. Ох, отдохнуть бы поскорей! Вот сейчас вымою больного, положу лед на голову, он притихнет немного, и тогда — спать, спать! Но что это? В бараке темно. Вихрем — в клуб. Куда и усталость делась! И твердым шагом — к трибуне.

— Дмитрий Алексеевич! Нам нужна лампа: у нас лежит тяжелобольной...

— Ваш больной — си-му-лянт, — проскрипел он в ответ, — он просто не хочет работать.

— Этот «симулянт» умирает! И умирает по вашей вине...

Вы не имели права забирать лампу из барака, где умирает человек. Принесите свою лампу: у вас их три!

Этот случай «саботажа» тоже фигурировал на суде: «она сорвала собрание, унесла лампу из клуба». Что ж, это, пожалуй, был единственный обоснованный донос из числа тех ста одиннадцати доносов Хохрина на меня.

44.

Старик Барзах ползал в снегу, целовал его Хохрина] ноги и, ломая руки, умолял не вычеркивать его из списка тех, кто имеет право на пайку, — то есть право за свои деньги купить 800 граммов хлеба в день. У него двое детей, жена совсем больная и старуха мать, которой 90 лет. Он плакал и извивался, как раздавленный червяк... Нужно было видеть самодовольное выражение лица Хохрина! Уму непостижимо! В XX веке!!!

45.

Барзах, в прошлом владелец магазина модельной обуви, никак не мог справиться с работой возчика. И больно и смешно было смотреть на его тщетные попытки водрузить бревно на подсанок! И никто не имел права ему помочь... Впрочем, не имел и возможности: все, выбиваясь из сил, торопились справиться со своей нормой, и над каждым висела угроза остаться без пайки. Царь Голод! Самый жестокий царь... коммунизма.

46.

В начале войны старшее поколение ссыльных не призывали в армию. В первые же месяцы войны молодое поколение получало право умирать за родину, то есть за Сталина, загнавшего их с родителями в Нарымские болота. Старших же стали брать в трудармию, куда-то в Томск на лесную биржу, где им приходилось не сладко. С женой одного из этих трудармейцев я часто разговаривала.

Вся семья в радостном возбуждении. Нюра так и сияет.

— Ах, Фрося! Радость-то какая: с оказией Вася мой пишет — он женился... У нее — изба своя, корова, огород... Понимаешь? Своя картошка, молоко!

— Постой-постой, — прервала ее я, — так чему же ты радуешься?

— Как чему? Да ведь он сыт! И мне не надо ему посылку снаряжать — от детей последнее отрывать. Ведь у меня их шестеро. А получают по 150 грамм хлеба. Легко ли сухарей насытить?

— Ну а если он не вернется?

Она на мгновение призадумалась.

— Как не вернется? Он, чай, своим детям отец? Жалеет он их! Ну... там видно будет. Но он хоть сыт. И жив будет. Ну и мы, хоть не очень-то сыты, но не замрем...

Я шла домой в раздумье. Как мать — она права. А как женщина?

47.

Озверевшие от голода возчики буквально забивали до смерти своих лошадей: ведь за перевыполнение и без того невыполнимой нормы возчик получал право... купить пирожок из черной муки с брусникой. Мысль об этом проблематическом пирожке сводила с ума!

Упавшая лошадь только вздрагивала от сыпавшихся на нее ударов, а возчик выл от отчаяния, видя, что пирога ему не выдать.

48.

Вконец деморализованные доходяги толпились в надежде на объедки. «Наглядное пособие»: стахановец* и «тунеядцы». Но «стахановец» оттого и стахановец, что он сыт. А «тунеядцы», если бы им создать условия обычной рабочей скотины, не скатились бы до столь унижительного состояния.

Александров умолял дать ему хоть немного жижи из ведра. Еще недавно упитанный, круглолицый паренек, Александров был страшен: худой, растрепанный, заросший, грязный, сгорбленный, с лихорадочно блестящими глазами.

— Очень ты мне нужен! — ухмыльнулся Тимошенко. — Я эту жижу теленку отдам!

Мне вспомнилась Ядвига, которая порцию супа тоже лила в ведро, чтобы, разбавив водой, накормить своих восьмерых дочерей.

* Стахановец — работник, который добивался наивысшей производительности труда благодаря особым созданным для него условиям.

49.

Я напрягла все свои силы до предела... В глазах темнело, во рту ощущался противно-металлический привкус, но перевернуть сутунок, впившийся сантиметров на 50-70 в мерзлый грунт... Нет! Это было невозможно выполнить в одиночку! А помогать друг другу Хохрин строжайше запретил! В конце дня эту работу выполняла вся бригада за мой счет! Таким образом, мой заработок сводился к нулю после 12 часов напряженного труда. Один сучкоруб с соседней деланки, проработав день, задолжал 4 рубля 20 копеек.

Разумеется, вечером на собрании я подняла этот вопрос. Можно только удивляться, как сумел [Хохрин] в очередном доносе извратить смысл моего выступления!

50.

Вещий сон... Цепилово. Поляна в нашем лесу. Солнце заходит за большими дубами. Я сижу на пне, и на душе невероятная тоска, хотя я не отдаю себе отчета — отчего?

Вдруг на фоне заходящего солнца — силуэт. Кто-то подходит ко мне, и я ничуть не удивлена, что это покойный отец. Он в охотничьем костюме.

Заломив руки, я соскальзываю с пня и падаю на колени.

— Папа! Мне так невыносимо тяжело, папа! Как долго смогу я выносить такие мучения? Я не могу больше...

Он с грустью посмотрел на меня и сказал одно лишь слово: «восемь». На лес, на поляну наползает тьма. Только слышно шуршание листьев. Шаги удаляются, и я просыпаюсь.

Чего восемь? Лет? Дней? Недель?

...Между днем, когда я в первый раз взяла косу и пошла на сенокос, и той ночью, когда я бросила топор под ступеньки конторы и ушла в тайгу, прошло ровно восемь месяцев. Мистика? Совпадение?

51.

Местные собаки, охотничьи лайки, помогают в охоте не только на белок, колонков или бурундуков, но и на ценных зверей, таких, как соболь. Собак регистрируют осенью, и на них полагается паек в 3 раза больше, чем на ребенка.

Собак съели еще вначале, осенью, сразу после того, что их хозяева-охотники получили «собачий паек» (4 кг прогорклой овсянки в месяц). Так что можно было найти достаточно костей — вываренных, но еще съедобных. Эти кости я толкла и ела. Но вскоре костей не стало: их съели неработающие, уже выбившиеся из сил доходяги — преимущественно мои земляки, а также дети, старики...

Они не работали, времени у них было больше, а мое «открытие» не было запатентовано.

52.

На Валу Яременко было страшно смотреть: она рухнула в снег, корчась от боли. В глазах буквально горел огонь безумья: у нее был грудной ребенок, и грудная железа воспалилась. Грудница (мастит) — очень мучительная болезнь, а она работала сучкорубом!

— Дмитрий Алексеевич! Не могу больше... — прохрипела она.

— Не можешь? Так умри! — и он пошел дальше.

У меня в глазах потемнело, и рука сама собой сжала ручку топора.

53.

В полдень бригадир отослал меня домой.

— Ступай домой, Фрося! Теперь пока что ты еще держишься на ногах, к вечеру ты свалишься с ног, а я тебя не донесу...

Смертельно усталая, голодная и больная я с трудом брела, и семь километров от Ледиги до Суйги казались бесконечными.

54. Разумеется, я зашла в контору: нужно было заявить о том, что с работы я ушла. Иначе невыполненная мною норма легла бы на плечи Вали Яременко и Миши Скворцова, и без того выбивающихся из последних сил, чтобы не подвергнуться урезанию и без того мизерной пайки, а то и заработать пирожок со свеклой за перевыполнение нормы.

— Ступайте назад, — заскрипел безжизненный голос садиста, — и не прекращайте работы, пока не выполните нормы...

Он видел, что я едва на ногах держусь! Четыре часа понадобилось, чтобы пройти семь километров, и солнце уже заходило...

Вечером я напрасно стояла в очереди за хлебом. Щукин сказал:

— Хохрин велел вас вычеркнуть из списка.

Это — сознательное убийство.

55. Я понимаю, Фрося, вам плохо, вы... болеете (она [медсестра] чуть было не сказала — «умираете»), я могу дать вам порошок, ну два. Но я не могу, не имею права дать вам больничный, освободить от работы! Распоряжения Дмитрия Алексеевича [Хохрина] относительно вас не допускают такой возможности.

56. Суйгинские женщины подходят, крестятся, кланяются земным поклоном.

Я слышу: «Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла... Жалела нас и детей наших...

Господи! Будь милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину... Прости нам, Фрося, грехи наши. Мы не забудем помянуть тебя в молитвах наших. Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличии, — дошло до моего сознания, — и мы принесли тебе все, чтобы обрядить в могилу...»

В руку мне вложили восковую свечку, зажженную. Уходя, каждая клала к изголовью что-то из «женского снаряжения», а на скамейку — кое-что съестное...

Я опять осталась одна. Одна во всем бараке.

Но почему-то мне стало легче: я почувствовала, что здесь, в этом поселке, я не совсем одинока.

Ведь пришли же со мной попрощаться эти совсем почти незнакомые женщины! Ведь обещали они молиться за меня! Да и на всем свете я не одна! Может, жива моя мать? Может, где-то там, вдалеке, молится она обо мне?

57. Как? Дождаться «легкой кончины»... и чтобы он, гад, восторжествовал? Что он думает? Что я покорно умру? Или, как Барзах, ноги его целовать буду?! Нет! И, собравшись с силами, я схватила топор и помчалась через весь поселок в контору.

Был вечер. Люди возвращались с работы и торопились в очередь за хлебом, за супом. При виде меня — с непокрытой головой в расхристанной рубашке, с топором в руке — они сторонились с пути и оглядывались.

58. Убить такого злодея — доброе дело, но... Чтобы нанести удар из-за спины, надо быть убийцей. Дьявол — покровитель Хохрина — надутил его пересечь затылком к входу. Я стояла за его спиной. Я не видела его мутных, как у трупа, глаз. Я не убийца! И нанести удара я не смогла...

И поспешно зашагала назад, в барак... Но здесь я не останусь! Я умру — выхода нет, но не на глазах у Хохрина! С лихорадочной поспешностью я сгребла в рюкзак все свои вещи, скатала и привязала сверху одеяло. Надела на себя вторую телогрейку, шапку, рукавицы, натолкала в карманы все прощенные дары (даже свечки и пятики, подаренные мне женщинами), подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась: пустые нары! Как будто меня там никогда и не бывало! Слава Богу: и не будет!

59. Прорубь... В ней кончается власть Хохрина. В ней конец мучений, конец издевательств... Всему конец! Я склонилась над прорубью. Где-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урча и свиваясь в воронки, текла, как Стикс — река подземного царства. Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула через прорубь и, волоча за лямку рюкзака, побежала через реку — дальше от этого жуткого Стикса, чье ворчание, казалось, преследовало меня.

60. — Боже! — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы руки. — Боже! Укажи мне, что делать? И, что бы ни случилось, — да будет воля Твоя... И будто услышала я слова Кравченко: «Кто-то молится — крепко молится за тебя, Фрося!» Но кто? Кто?! И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим волосам. Мама! Живая или мертвая, но душа ее со мной, и молитва ее в критические минуты моей судьбы смягчает ее удары и придает силы, чтобы их перенести. Над Суйгой сквозь облака несясь месяц с такой быстротой, что у меня от слабости закружилась голова и я опустила глаза. И взгляд мой упал на черную прорубь... Я вскочила на ноги, подхватила рюкзак и повернулась спиной к Суйге. Впереди — тайга. Наверное — смерть. И позади — смерть. Смерть в рабстве. Смерть на воле. Я сделала выбор...

Альбом 4. Часть 1

март — апрель 1942

204 Суйга — Нарга — Парабель — Пудино — Кенга — Бакчар — Вороново — по этим пунктам пролегал путь Евфросинии по Западной Сибири.

Евфросиния несколько дней шла по руслу рек на запад и перешла с правого берега Оби на левый. В первой же встреченной ею деревне Нарга она поняла закон «сибирского гостеприимства»: беглых ссыльных не пускали в дом. Ночевала она в лесу и где придется, в рюкзаке имелось теплое одеяло. Зима в болотистой местности была сезоном заготовки топлива, и на пропитание Евфросиния зарабатывала заготовкой дров для местных жителей.

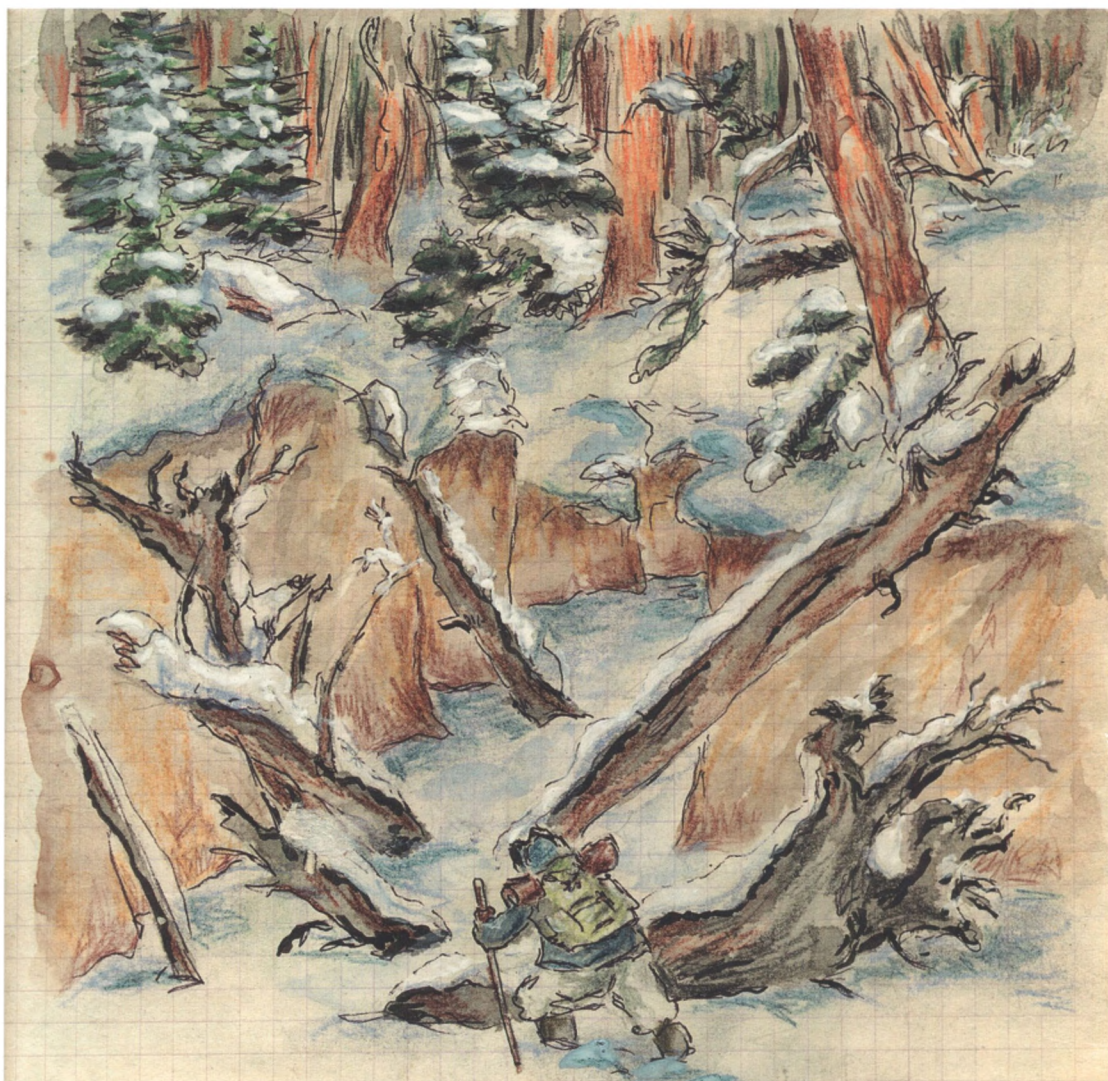
Первоначальный план Евфросинии был — идти к Омску, от села Парабель на юго-запад. Но почти все деревни и скиты староверов, что встречались ей на пути, были безлюдными. Голод заставил ее повернуть назад, на Бакчар. От ссыльных поляков она узнала, что в Томске формируется польская армия, которая будет воевать с фашистами. Евфросиния решила пойти в Томск к польскому консулу и, сославшись на свое происхождение по линии отца, записаться в польскую армию в качестве медсестры. Но этот план также не удался: Томск находился на правом берегу Оби, а Евфросиния — на левом. Она опоздала — на Оби прошел ледоход, и реку можно было переплыть только на пароме, для этого требовалось показать документы, которых у Евфросинии не было. Ей ничего не оставалось, как идти на юг.

► Путь побега Евфросинии из ссылки и ее хождения по Сибири в 1942 году: на запад, через р. Обь — Нарга, Парабель, на юг: Черная Балка, Пудино, Кенга, Бакчар, Вороново, Гынгаса, Боборыкино, станция Чик около г. Новосибирска, Сухая (Суха) Вершина, Кочки (Новосибирская область, Кочковский район), на юго-запад: р. Карасук, Солёное озеро, вверх по р. Алей (приток Оби), Рубцовка (г. Рубцовск) Алтайского края, обратно в Новосибирскую обл. — Мохнатка (Мохнатый лог?).

Нанесено на карту Томской губернии из «Атласа азиатской России», 1914 г., Переселенческого управления землеустройства и земледелия.



Брести по захламленному руслу таежной речки нелегко, но все же легче, чем продираться по сплошным завалам бурелома. Кроме того, тут встречались участки, где снег был сдут ветром, так что можно было идти по льду или по твердому насту. Вдобавок, речки текли к какой-то реке, а в тайге, особенно в морозном тумане, можно было кружить на месте.



Брести по захламленному руслу таежной речки, нелегко, но все же легче, чем продираться по сплошным завалам бурелома - еще труднее.... Кроме того, тут встречались участки, где снег был сдут ветром, т.ч. можно было идти по льду или - по твердому насту. Вдобавок речки текли к какойто реке, а в тайге - особенно в морозном тумане - можно было кружить на месте.

Когда усталость валила меня с ног, я зарывалась в снег где-нибудь под корягой, укутавшись с головой в одеяло, и засыпала, но все время чувствовала, что где-то — совсем рядом — на страже стоит Смерть... Сама не знаю, какая сила заставляла меня просыпаться? И откуда брались силы, чтобы продолжать путь? Куда? Зачем? Об этом я тогда как-то не думала совсем.



Когда усталость валила меня с ног, я зарывалась в снег — где-нибудь под корягой, укутавшись с головой в одеяло и засыпала, но, всё время чувствовала, что где-то — совсем рядом — на страже стоит Смерть... Сама не знаю, какая сила заставляла меня просыпаться? И откуда брались силы, чтобы продолжать путь?

Куда? Зачем? Об этом я тогда, как-то, не думала совсем....

Я шла через знаменитую Большую Гарь. Тайга здесь сгорела еще в прошлом веке. Вся эта Гарь заболотилась. Почти ничего там не растет. Обгорелые пни производили жуткое впечатление! Надо учесть, что я была больна — в жару. Мало ли что может померещиться?! Обгорелые коряги казались мне фигурами негров, которые шевелятся — борются или движутся мне навстречу. И еще мне казалось, что кто-то — неизвестный и невидимый — следует за мной и шепчет что-то непонятное... Я быстро оборачивалась и, разумеется, никого не обнаруживала.

Как долго это продолжалось? Сутки? Двое? Больше или меньше? Не знаю. Но и теперь, вспоминая эту Большую Гарь, мне не по себе...



Я шла через знаменитую "Большую Гарь". Тайга здесь сгорела еще в прошлом веке. Вся эта "Гарь" — заболотилась. Почти ничего там не растет. Обгорелые пни производили жуткое впечатление! Надо учесть, что я была больна — в жару. Мало ли что может померещиться?! Обгорелые коряги казались мне фигурами негров, которые шевелятся — борются или движутся мне навстречу. И еще мне казалось, что кто-то — неизвестный и невидимый — следует за мной и шепчет что-то непонятное....

Я быстро оборачивалась.... и, разумеется, никого не обнаруживала. Как долго это продолжалось? Сутки? Двое? Больше или меньше? Не знаю. Но и теперь, вспоминая эту "Большую Гарь", мне не по себе!...

Занималась заря, когда я вышла из лесу. Впереди пустое пространство. Что это? Озеро? Река? Нет, не озеро. Это река, и притом большая: прибрежные кусты и деревья — даже расположенные на несколько метров надо льдом — повалены весенним ледоходом.

Так что это за река? Обь? Енисей?

Обе эти реки текут на север. Кусты повалены вправо. Значит, север справа. Я стою на правом берегу. Выйди я к Енисею, берег был бы левый. Значит, это Обь!

Сколько раз приходилось мне решать подобные географические задачи! Как часто жалела я, что плохо знаю географию Сибири!



Занималась заря, когда я вышла из-леса.

Впереди — пустое пространство. Что это? Озеро? Река?

Нет, не озеро. Это — река. И, притом — большая: прибрежные кусты и деревья — даже расположенные на несколько метров надо льдом, повалены весенним ледоходом.

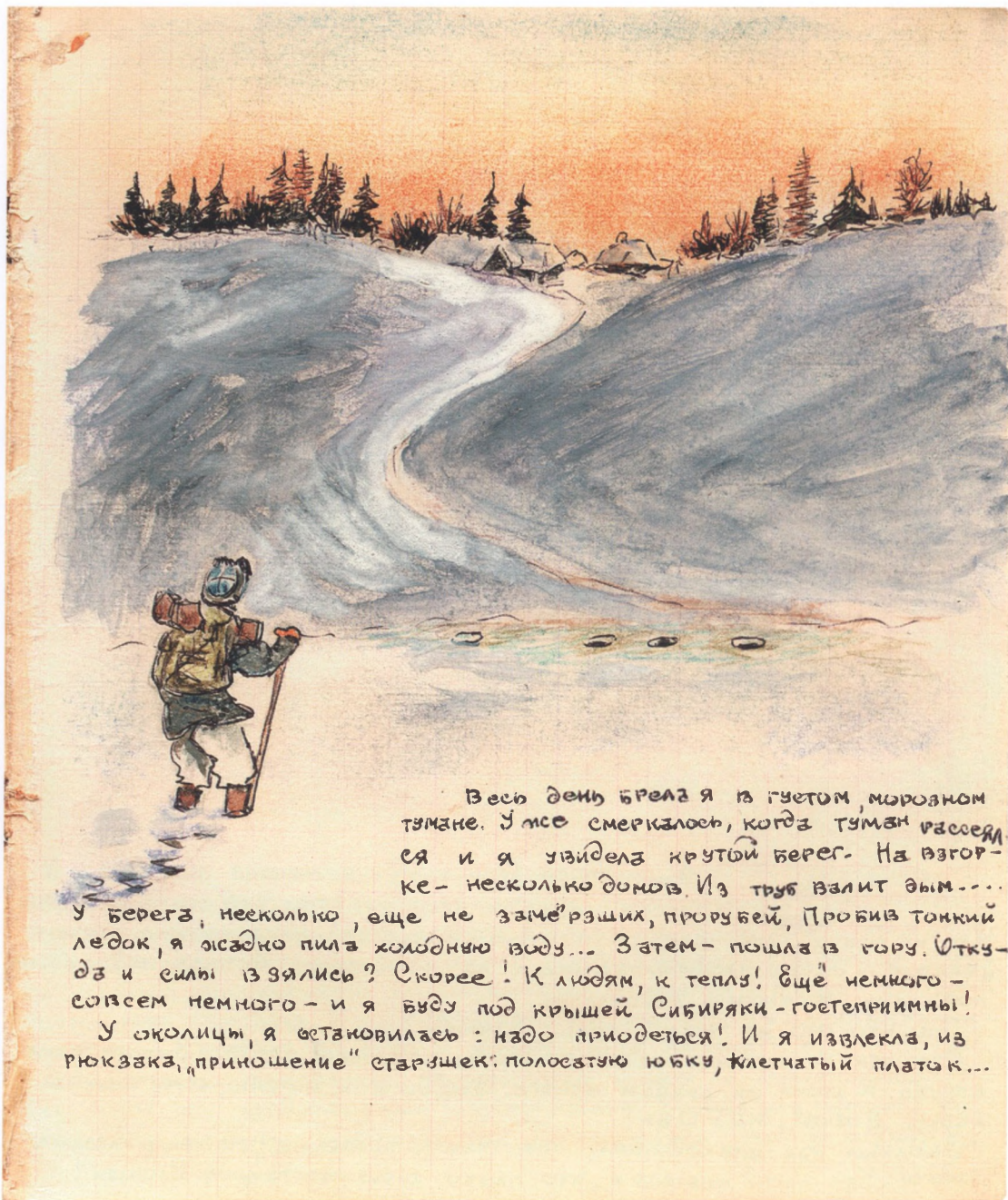
Так что это за река? Обь? Енисей?

Обе эти реки текут на север. Кусты повалены вправо. Значит север справа. Я стою на правом берегу. Выйди я к Енисею, берег был бы левый. Значит, это — Обь!

Сколько раз приходилось мне решать подобные „географические задачи“! Как часто жалела я, что плохо знаю географию Сибири!

Весь день брела я в густом морозном тумане. Уже смеркалось, когда туман рассеялся и я увидела крутой берег. На взгорке — несколько домов. Из труб валит дым... У берега несколько еще не замерзших прорубей. Пробив тонкий ледок, я жадно пила холодную воду... Затем пошла в гору. Откуда и силы взялись? Скорее! К людям, к теплу! Еще немного, совсем немного — и я буду под крышей. Сибиряки гостеприимны!

У околицы я остановилась: надо приодеться! И я извлекла из рюкзака приношение старушек: полосатую юбку, клетчатый платок...



Весь день брела я в густом, морозном тумане. Уже смеркалось, когда туман рассеялся и я увидела крутой берег. На взгорке — несколько домов. Из труб валит дым...

У берега, несколько, еще не замерзших, прорубей. Пробив тонкий ледок, я жадно пила холодную воду... Затем — пошла в гору. Откуда и силы взялись? Скорее! К людям, к теплу! Еще немного — совсем немного — и я буду под крышей. Сибиряки — гостеприимны!

У околицы, я остановилась: надо приодеться! И я извлекла, из рюкзака, "приношение" старушек: полосатую юбку, клетчатый платок...

Деревенька — восемь домов. В восемь ворот стучалась я, из-за восьми частоколов из толстых бревен слышалось: «Проваливай! А не то собак на-
травлю!» И злобный лай множества цепных псов...

Обессилев, падаю на колоду у последних ворот... Погибнуть в тайге — это понятно. Но умереть на пороге дома, в котором живут люди? Но люди ли это?!



Деревенька — восемь домов...
В восемь ворот стучалась...
Из-за восьми частоколов, из

толстых брёвен, слышалось: „Проваливай! А не то - собак на-
травлю!“ И злобный лай множества цепных псов...

Обессилев, падаю на колоду, у последних ворот... Погибнуть
в тайге - это понятно. Но умереть на пороге дома, в кото-
ром живут люди? Но... люди ли это?!

Увидев меня, женщина сказала:

— Вот, тетка, посуди сама: я, с мужиком, получаем по 800 грамм, а они, иждивенцы, по 200. Я-то делю всем поровну. А им все мало: ты, дескать, нам мало даешь! Вот я и решила отвесить им по 200! Пусть знают, что такое пайка!

Выражение лиц и самые позы девчонок олицетворяли глубочайшее разочарование и даже отчаяние!



Увидев меня, женщина сказала: „Вот, тетка, посуди сама: я, с мужиком, получаем по 800 грамм, а они, иждивенцы — по 200. Я-то делю всем поровну. А им — всё мало: ты, дескать, нам мало даешь!“ Вот я и решила отвесить им, по 200! Пусть знают, что такое — „пайка!“

Выражение лиц и самые позы девчонок, олицетворяли глубочайшее разочарование и даже — отчаяние!

Куда бы я ни шла, взгляд мальчика следовал за мной. Вдруг:
— Сестра, ты в Нарге была?

И вспомнился мне тот вечер, мое отчаяние и тот домик, где женщина развешивала пайки трем девочкам. И тот мальчик, который принес мне кусок мяса — конину от лошади, павшей от чесотки. Я съела это мясо сырым. И это было для меня спасением.

И вот где довелось встретиться с этим мальчиком!



Куда бы я не шла, взгляд мальчика следовал за мной. Вдруг:
— Сестра, ты в Нарге была?

И вспомнился мне тот вечер, мое отчаяние и тот домик, где женщина развешивала пайки трем девочкам. И тот мальчик, который принес мне кусок мяса — конину от лошади, павшей от чесотки. Я съела это мясо сырым. И это было для меня спасением.

И вот где довелось встретиться с этим мальчиком!

— Почему это? — спрашиваю я, в надежде из ответа узнать, что это за конфеты.

— Бери, бери, касатка! Бери, родимая! Не пожалей: сера самая лучшая, лиственничная...

Я отпрянула. Сера! Если есть что-нибудь, что вызывает у меня глубочайшее отвращение, так это сибирская привычка жевать эту жвачку, чвякая и щелкая.

— „почём это?“ спрашиваю я, в надежде, из ответа, узнать, что это за „конфеты“

— „Бери, бери, касатка! Бери, родимая! Не пожалей: сера самая лучшая, лиственничная...“

Я отпрянула. „Сера“! Если есть что-нибудь, что вызывает у меня, глубочайшее отвращение, так это сибирская привычка жевать эту жвачку, „чвякая“ и „щелкая“.



В тех краях дрова заготавливают зимой: летом трясины делают дороги абсолютно не проезжими. Так передо мной открылось обширное поле деятельности. Рабочих рук не было, и, когда я бралась заготовить несколько кубометров дров, никто не задавал вопросов, откуда я взялась. Так, с легкой руки одноглазого старика, я обрела профессию заготовителя топлива. Платили мне 8 рублей за кубометр и кормили картошкой, иногда овсянкой или пшенной кашей. Хлеба ни у кого не было. Я нигде не задерживалась: поработала день — и айда! Это чтобы не вызывать подозрения.



В тех краях дрова заготавливают зимой: летом, трясины делают "дороги" абсолютно непроезжими. Так, передо мной, открылось обширное "поле деятельности". Рабочих рук — не было и, когда я бралась заготовить несколько кубометров, никто не задавал вопросов, откуда я взялась. Так, с легкой руки одноглазого старика, я обрела профессию — заготовителя топлива. Платили мне 8 рублей за кубометр и кормили картошкой. Иногда — овсянкой или пшенной кашей. Хлеба — ни у кого не было. Я нигде не задерживалась: поработала день и — айда! Это — чтобы не вызывать подозрения.

Думала ли я, что встречу здесь, в развалюхе-сарае, за поскотиной*, своих земляков? В большинстве людей работающих, образованных, в прошлом далеко не богатых и — ирония судьбы — просоветски настроенных?

* Поскотина — пастбище, выгон; изгородь вокруг выгона.



Думала ли я, что встречу здесь, в развалюхе-сарае, за поскотиной, своих земляков? В большинстве, людей работающих, образованных, в прошлом — далеко небогатых и — ирония судьбы! — про-советски настроенных?

Так встретила я Пасху [1942 года], в кругу семьи агронома Сырбуленко...
Невеселое было это разговенье, похлебкой из двух мерзлых картофелин
и горсти мелкой ржи.



Так встретила я пасху, в кругу семьи агронома, Сырбуленко...
Невеселое было это „разговенье“... похлебкой из двух мерзлых
картофелин и горсти мелкой ржи...

Гроб с телом отца мальчика дотащили до кладбища — до той его части, где получили постоянную прописку многие из земляков-бессарабцев, но похоронить не смогли...



Гроб с телом отца мальчика дотащили до кладбища — до той его части, где „получили постоянную прописку“ многие из земляков-бессарабцев, но похоронить не смогли....

Ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега, рванул из рук одеяло, которое я так и не успела сложить, и завыл насмешливо: «сибирское гостеприимство!»



Ветер швырнул мне, в лицо, пригоршню снега, рванул, из рук, одеяло, которое я так и не успела сложить и завыл насмешливо: „... сибирское гостеприимство!“

След саней еще не был занесен снегом. Значит, жилье недалеко: ведь никто на ночь глядя не повезет солому в такой бурян. А вась, доберусь до ночлега лучшего, чем эта рига с остатками соломы! Крыша-то есть, но под нею гуляет ветер.

220



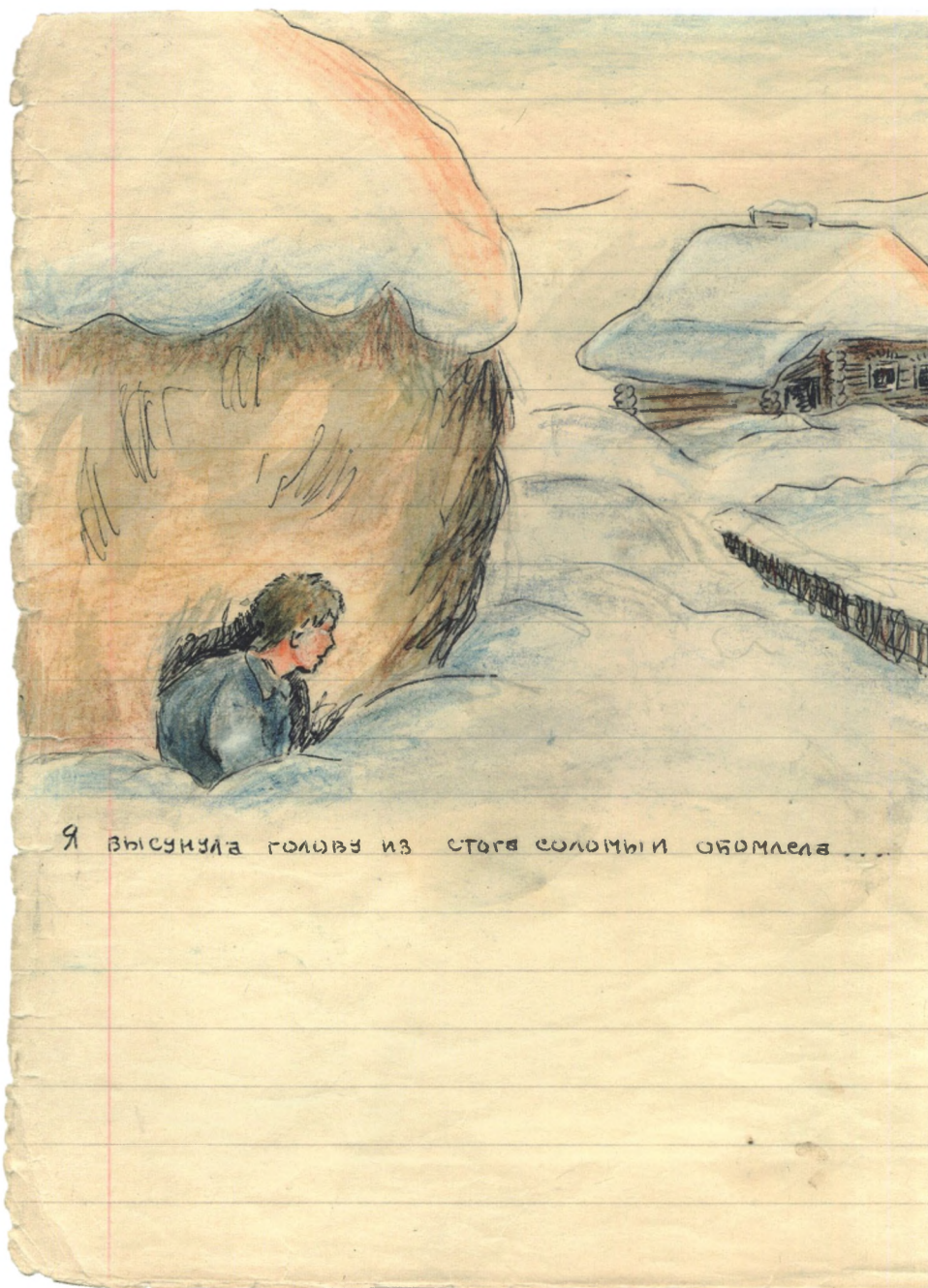
Альбом 4. Часть 1. Рис. 15 (из машинописного варианта)

Альбом 4. Часть 1. Рис. 15 (из машинописного варианта. Фрагмент) ▼



Я высунула голову из стога соломы и обомлела...

222



Я высунула голову из стога соломы и обомлела...

Ничто не напоминало о вчерашнем буране: яркое солнце, ослепительно белый снег. До чего мир прекрасен! И как радостна жизнь! Истерзанная голодом, изломанная усталостью, я на мгновение все забыла: табун упитанных, ухоженных коней спешил на водопой.



Альбом 4. Часть 1. Рис. 16

Ничто не напоминало
вчерашнем буране; яркое солнце,
слепительно-белый снег. До чего мир прекрасен!
как радостна жизнь!
истерзанная голодом, изломанная усталостью, я на мгновение
забыла: табун упитанных, ухоженных коней спешил на водопой.

[— Сегодня Пасха блаженных, то есть Красная Горка, как еще говорят. А у нас, у летгальцев, такой обычай: к столу должны садиться не меньше двенадцати человек. Тогда и Христос будет с нами. Зовут меня Климентий Петрус Кимм. Родом я из Латвии. В девятьсот пятом году за революцию боролся; в девятьсот седьмом за это сюда и попал... Работал. Своими руками избу срубил, хозяйством обзавелся, детей вырастил, на ноги поставил. Все было. А теперь сыновья... Бог знает, вернутся ли? Снохи, внуки... Нелегко без хозяйства жить! Но не жалуемся и свой обычай чтим: и в этот день за стол нас сядет двенадцать.

И с этими словами он вышел.

Вскоре он вернулся, приведя с собой двух растерянных парнишек-дроворубов. Как он объяснил, они сироты и ходят по дворам дрова колют.

«Что много былое было - католическая - но не было
изображена святая Мэриона, с лилии, в розовом и с
летним отсережьем, но не, восткнув эту свечу в
книжку, наполненную отборной пшеницей Зетель-с
торжественно, с той, отсережьем розовыми с той свечой-
то молитву, не то погасение - с той католической бы-
ли помяти мне не изменил, едущий».



— „Пшеница - это награда человеку, за его труд -
хлеб наш насущный, дарованный нам Богом;
свеча - из воска, евангельского безвестной прозвучи-
тельной - пшеницы, во славу Божию. А пшеница еван-
- символ того, что человек, едущий, с небес,
на земли, Христово - как благословение Божье
нашего, на жизнь праведную, во славу Его!“

Чинно, не торопясь все уселись на длинных скамьях вдоль стола. Хозяин каждому указал его место. Затем, взяв в руки толстую восковую свечу – из тех, что в старину называли венчальной, – засветил ее от лампадки, висевшей перед иконой (должна оговориться,) что икона была явно католическая, на ней была изображена святая Цецилия с лилияй в руках и с богатым ожерельем на шее), воткнул эту свечу в макитру, наполненную отборной пшеницей. Затем очень торжественно, стоя и опираясь руками о стол, сказал не то молитву, не то поучение...

Щи из свиной головы были до того наваристы, что можно было умереть от восторга, только понюхав их!

Но на меня вдруг напала внезапная слабость. Мне хотелось крикнуть: «Я хочу жареной картошки!» Но я поняла, что хочу спать и сейчас усну...

Затем он ел. А он, не имея его сентиментальности, садясь за стол. И какой вере или какой сентиментальности этот «старый революционер» — я знаю. Но это должна была быть вера истинно христианская, потому что, за пасхальный стол он дал и пасхальную молитву, бродячего портного, вытёрки, в этот день, развешенный, у него.

Промежуток всего сущего и подал на стол лимонный пирог с медом, разведённого водкой и все это было пропитано

в это сущее тонкие белые сущие, домашний вышивки

и, по-другому, этим переплетом из швей. И оказалась «в персе» с созданием. (создания и титанов, сидевшие на «торцах» стола и были по швей.

Это было — нето молитва, нето — поучение, но впечатление было торжественное...

АЛЬБОМ 4. ЧАСТЬ 1. РИС. 17 (ИЗ ТЕТРАДНОГО ВАРИАНТА)



...Проснулась я, когда уже смеркалось. Лежала я на кошке. Было тепло. Пахло луком. И вдруг я вспомнила, и меня точно каленым железом обожгло! Я могла бы покушать мяса, жареного с картошкой, а я все это проспала!



— Мы все в свое время пытались бежать из ссылки... безуспешно.

Ступай, тетка! Желаем тебе большого успеха...

Я обалдела от неожиданности. Неловко поклонившись, я, все еще не придя в себя от удивления, направилась к дверям.

Со стен глядели на меня портреты вождей и, должно быть, удивлялись не меньше меня самой.



«...мы все, в свое время, пытались
бежать из ссылки... безуспешно...
Ступай, тетка! Желаем тебе боль-
шего успеха...»

Я обалдела, от неожиданности... Неловко поклонившись я, все
еще не придя в себя от удивления, направилась к дверям.

Со стен глядели на меня портреты вождей и, должно быть
удивлялись не меньше меня самой...

Рассказывать о прошлом внимательному слушателю — истинное наслаждение! Итак, дед наслаждался, а я и развесила уши! Дед уверял меня в том, что в непроходимой тайге находятся раскольничьи скиты и пустыnnики мне помогут пройти тайгой на Омск, пройдя 800 верст, вместо 2400, избежав встреч с НКВД.

Я абсолютно не знала советской действительности. А верить тому, чему хочется верить, так хочется! Вот и решила я последовать совету деда!



Рассказывать о прошлом внимательному слушателю — истинное наслаждение! Итак, дед „наслаждался“, а я и развесила уши! Дед уверял меня, что в непроходимой тайге находятся раскольничьи скиты и „пустынники“ мне помогут пройти тайгой на Омск, пройдя 800 верст, вместо 2400... избежав встреч с НКВД.

Я абсолютно не знала советской действительности... А верить тому, чему хочется верить — так хочется! Вот и решила я последовать совету деда!

С бугра было хорошо видно большое, по сибирским понятиям, поселение и обширные, опять же для таежной области, поля. Но ни дымка, ни следа: деревня была мертва. И покинута она была, очевидно, уже давно: на заброшенных пашнях всюду уже подрастал кустарник. Что тут произошло?



С бугра было хорошо видно большое (по сибирским понятиям) поселение и обширные (опять же для таежной области) поля... Но... ни дымка, ни следа: деревня была мертва. И покинута она была, очевидно, уже давно: на заброшенных пашнях всюду уже подрастал кустарник... Что тут произошло?

Дед не во всем ошибался: скит (или вернее, то, что от скита осталось) я нашла. И тут мне стало ясно: то, чего не могли (или не очень желали) царские урядники, то решила сделать советская власть. И от скита осталась лишь груда толстущих бревен, поваленный частокол да поломанные восьмиконечные кресты на могилах. Все уже успело зарости ельником. Идти дальше — верная смерть. Идти назад? Не выйду: сегодня я догрызла последнюю сушеную картофелину. Осталась одна брюква и больше ста верст... Попытаюсь на юг, юго-восток?



Дед не во всем ошибался:
 "скит" (или, вернее, то, что от скита
 осталось), я нашла... И тут мне стало
 ясно: то, чего не могли (или не очень
 желали) царские урядники, то решила советская власть... и, от
 "скита" осталась лишь груда толстущих бревен, поваленный частокол,
 да поломанные восьмиконечные кресты, на могилах. Все уже успело
 зарости ельником. Идти дальше — верная смерть; идти назад? Не выйду:
 сегодня я догрызла последнюю сушеную картофелину. Осталась одна
 брюква... и больше ста верст... Попытаюсь на юг, юго-восток?

На этот раз я уже не смогла встать. Я сбросила рюкзак, с головы свалилась шапка. Я поползла, ловя воздух открытым ртом, и единственная мысль была: хоть бы месяц еще немного не заходил...

И вдруг где-то совсем близко заревела корова.

Никакая небесная симфония не сдвинула бы меня с места! Но тут я так резко вскочила на ноги, что если надо мной уже склонилась Смерть, то я, наверное, огрела ее затылком по зубам. Тут мне все стало ясно: лес поредел, он был вырублен, и совсем близко проходила поскотина, а занею — деревня.



На этот раз я уже не смогла встать. Я сбросила рюкзак, с головы свалилась шапка. Я поползла, ловя воздух открытым ртом и единственная мысль была: „хоть бы месяц еще немного не заходил...“

И вдруг где-то — совсем близко — заревела корова.

Никакая небесная симфония не сдвинула бы меня с места! Но тут я так резко вскочила на ноги, что, если надо мной уже склонилась Смерть, то я, наверное, огрела ее затылком по зубам. Тут мне все стало ясно: лес поредел, он был вырублен и совсем близко проходила поскотина, а за ней — деревня.

Голод, стужа, усталость... Нет, это еще не все! Есть еще один бич всех бродяг и вообще бездомных — это вши. Они не дают возможности отдохнуть, даже когда эта возможность бывает.

И вот, когда солнце стало заявлять свои права и в полдень на солнышке начинало подтаивать, я повела решительную борьбу с этим бичом: я выбирала сугроб у подножия большой сосны, вытаптывала нишу и раздевалась догола. И тут начинала охоту. В первый день было 312 жертв; во второй — 238; в третий — 112.

С того дня это стало правилом, когда погода это допускала, я эту процедуру не пропускала.



Голод, стужа, усталость... Нет! Это еще не все! Есть еще один бич всех бродяг и, вообще, бездомных, это — вши! Они не дают возможности отдохнуть. Даже, когда эта возможность бывает.

И вот, когда солнце стало „заявлять свои права“ и, в полдень, на солнышке начинало подтаивать я повела решительную борьбу с этим „бичом“ : я выбирала сугроб, у подножия большой сосны, вытаптывала нишу и... раздевалась до-гола. И тут начинала „охоту“. В первый день было... 312 жертв; во второй — 238; в третий — 112.

С этого дня, это стало правилом: когда погода это допускала, я эту „процедуру“ не пропускала.

Я была на пределе: дождь со снегом — я промокла, я голодна, я устала до невероятности! Голодная, я прошла, не отдыхая, 72 километра, и ожидаемой деревни все нет и нет! И тут еще это горькое разочарование: то, что я приняла за освежеванную павшую лошадь, оказалось ошкуранным лиственничным сутунком!

Этого я не выдержала и расплакалась...

Но это длилось мгновение. Я обругала саму себя. И правда: кто бы оставил дохлую лошадь — столько мяса — когда всюду столько голодных?! Эту падаль разделили б — в счет зарплаты — рабочим!



Я была "на пределе": дождь, со снегом — я промокла, я голодна, я устала, устала до невероятности! Голодная, я прошла, не отдыхая 72 километра... и, ожидаемой деревни все нет и нет! И тут еще это горькое разочарование: то, что я приняла за освежеванную павшую лошадь... оказалось ошкуранным, лиственничным "сутунком"!

Этого я не выдержала и... расплакалась...

Но это длилось мгновение. Я обругала саму себя... И правда: кто бы оставил дохлую лошадь — столько мяса — когда всюду столько голодных?! Эту падаль разделили б — в счет зарплаты — рабочим!

Все жилки и поджилки дрожали у меня, но звериный инстинкт диктовал мне единственную в данном случае линию поведения: я притворилась крепко спящей — еще плотнее замоталась в свое тряпье, дышала глубоко, всхрипывая, и из-под согнутой руки зорко следила за поведением моего компаньона по ночлегу в этой лесной гостинице. А вид у него был... Э, да что там говорить! Ни один зверь не может выглядеть отвратительней человека, потерявшего человеческий облик. Он выбрался из сена и, стоя на коленях и сжимая в руке дубину, смотрел на меня таким взглядом, какого мне не забыть никогда. Однако после короткого раздумья он встал, подхватил свою котомку и пустился наутек. Я последовала его примеру.

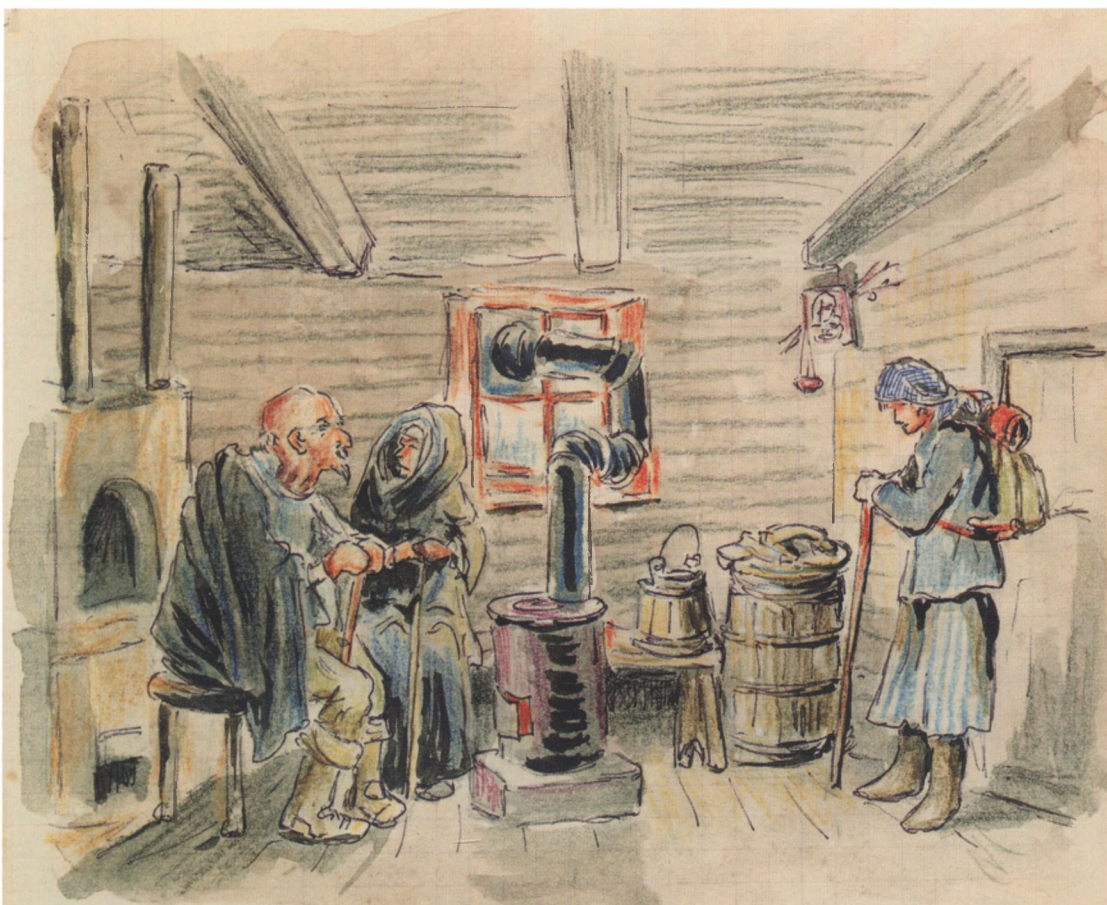
Да, «товарищ по несчастью» — это не обязательно друг.



Все жилки и поджилки дрожали у меня, но «звериный инстинкт» диктовал мне единственную в данном случае «линию поведения»: я притворилась крепко спящей — еще плотнее замоталась в своё тряпье, дышала глубоко, всхрипывая... и, из-под согнутой руки, зорко следила за поведением моего компаньона по ночлегу в этой лесной гостинице. А вид у него был... Э! Да что там говорить! Ни один зверь не может выглядеть отвратительней человека, потерявшего человеческий облик... Он выбрался из сена и, стоя на коленях и сжимая в руке дубину, смотрел на меня таким взглядом, какого мне не забыть никогда. Однако после короткого раздумья он встал, подхватил свою котомку и пустился наутёк. Я последовала его примеру.

Да, «товарищ по несчастью» — это не обязательно «друг».

В комнате — пустой и убогой — возле почти уже потухшей печурки-буржуйки, сидели двое — дед и баба. Не было у них курочки рябой, да, пожалуй, и разбитого корыта.



В комнате - пустой и убогой - возле почти уже потухшей печурки-буржуйки, сидели двое - дед и баба. Не было у них, "курочки рябой"... да, пожалуй, и разбитого корыта...

Через многочисленные речушки приходилось переправляться по-разному. Самый удачный случай — это надежное дерево, упавшее поперек речки: это можно назвать естественным мостом.



Через многочисленные речушки приходилось переправляться по-разному. Самый удачный случай — это надежное дерево упавшее поперёк речки: это можно назвать „естественным мостом“.

Но бывало и хуже: это когда берега речки были заболочены и воздушных мостов не предвиделось. Тогда приходилось перебираться где вброд, а где и вплавь.



Но бывало и хуже: это - когда берега речки были заболочены и "воздушных мостов" не предвидилось. Тогда приходилось перебираться где - вброд, а где и вплавь.

Это не «Гермес, посланец богов», хотя даже без крылатых сандалий я развивала неплохую скорость: ведь после ледяной ванны не оденешься, не согревшись! А чем согреешься? Голодному холод — первый враг. Только на бегу и согреешься... Счастье, что образовались проталины, и там уже солнце прогрело.



Это — не „Гермес, Посланец Богов“... хотя — даже без крылатых сандалий, я развивала неплохую скорость! ведь, после ледяной ванны — не оденешься, не согревшись! А чем согреешься? Голодному, холод — первый враг... Только на-бегу и согреешься.... Счастье, что образовались проталины и там уже солнце „прогрело“

«...Слушай внимательно, дочка! За твое доброе дело я тебе дам добрый совет: избегай большой дороги и деревень. Там энкаведистов полным-полно! На фронт им неохота; вот они всех подряд хватают, чтобы доказать, что они — во как необходимы в тылу! Иди по ночам. Так спокойней! А на рассвете, где увидишь поворот, притрушенный сеном или соломой, туда и сворачивай. Там и выпишься».



л... Слушай внимательно, дочка! За твое доброе дело, я тебе дам добрый совет: избегай большой дороги и деревень. Там энкаведистов полным-полно! На фронт им неохота; вот они всех подряд, хватают, что бы доказать, что они — во как необходимы в тылу! Иди по ночам. Так спокойней! А на рассвете, где увидишь поворот притрушенный сеном или соломой, туда и сворачивай. Там и выпишься.

Первый раз, увидав подобную бесхозяйственность, я глазам своим поверить не могла! В дальнейшем я так часто видела еще и не такие примеры безобразнейшего головотяпства. Боюсь, что и теперь — столько лет спустя — я все еще продолжаю делать подобные открытия, которые теперь уже ничем невозможно ни объяснить, ни оправдать... Тогда я многое объясняла войной, пока не убедилась, что причина еще более глубокая и беспощадная.



Первый раз, увидав подобную бесхозяйственность, я глазам своим поверить не могла! В дальнейшем я так часто видела еще и не такие примеры безобразнейшего головотяпства. Боюсь, что и теперь — столько лет спустя — я все еще продолжаю делать подобные открытия, которые теперь уже ничем невозможно — ни объяснить ни оправдать... Тогда я многое объясняла войной... пока не убедилась, что причина еще более глубокая и беспощадная

Отдыхать лучше днем: и теплее и безопасней. Идти же по шоссе [лучше] ночью. [Завидев] фары автомашины, я подбирала юбку, перескакивала кювет и пряталась за стволом какой-нибудь ели. Зато по шоссе шагать совсем легко.

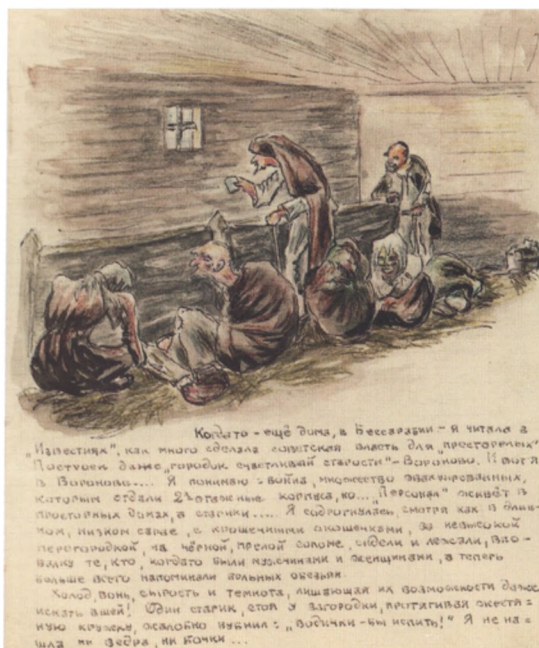


Отдыхать лучше днём: и - теплее и безопасней. Идти же, по шоссе, ночью. Только... лишь завидев фары автомашины, я подбирала юбку, перескакивала кювет и пряталась за стволом какой-нибудь ели. Зато по шоссе шагать совсем легко.

Когда-то, еще дома в Бессарабии, я читала в «Известиях», как много сделала советская власть для престарелых. Построен даже городок счастливой старости — Вороново.

И вот я в Воронове... Я понимаю: война, множество эвакуированных, которым отдали двухэтажные корпуса, но персонал живет в просторных домах, а старики... Я содрогнулась, смотря, как в длинном, низком сарае с крошечными окошечками, за невысокой перегородкой, на черной прелой соломе сидели и лежали вповалку те, кто когда-то были мужчинами и женщинами, а теперь больше всего напоминали больных обезьян.

Холод, вонь, сырость и темнота, лишаящая их возможности даже ис-
кать вшей!



Альбом 4. Часть 1. Рис. 34

Альбом 4. Часть 1. Рис. 34 (фрагмент) ▼



Один старик, стоя у загородки, протягивая жестяную кружку,
жалобно бубнил:

— Водички бы испить!

Я не нашла ни ведра, ни бочки...

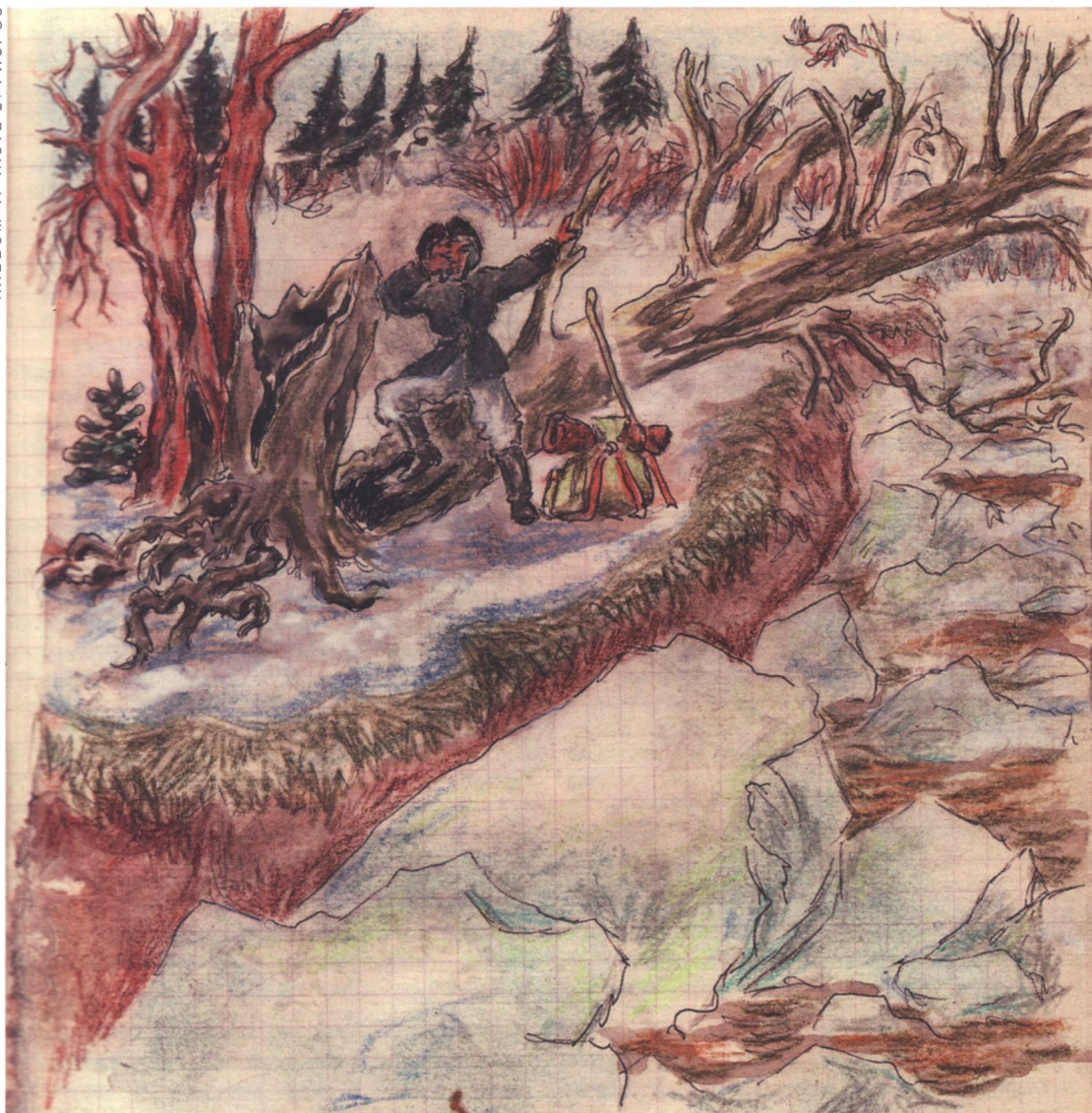


Холодные камни, свет луны, падающий сквозь отдушину — все было ужасно неуютно... Но самое жуткое — было воспоминание о стариках. Данте в своем «Аду» не додумался...



Холодные камни, свет луны, падающий сквозь отдушину — все было ужасно неуютно.... Но самое жуткое — было воспоминание о стариках. Данте, в своём «Аду» не додумался....

С грохотом и скрежетом неслись по реке льдины, и я с грустью смотрела на эту грозную картину и с грустью думала, что река [Обь] сломала не только лёд, но и все мои сумбурные надежды на мифического польского консула. Что ж? Пойду куда-нибудь!



С грохотом и скрежетом неслись по реке льдины... и я, с грустью смотрела на эту грозную картину и, с грустью думала, что река сломала не только лёд, но и все мои сумбурные надежды на мифического польского консула. Что же? Пойду... куда-нибудь!

1. Брести по захламленному руслу таежной речки нелегко, но все же легче, чем продираться по сплошным завалам бурелома. Кроме того, тут встречались участки, где снег был сдут ветром, так что можно было идти по льду или по твердому насту. Вдобавок, речки текли к какой-то реке, а в тайге, особенно в морозном тумане, можно было кружить на месте.

2. Когда усталость валила меня с ног, я зарывалась в снег где-нибудь под корягой, укутавшись с головой в одеяло, и засыпала, но все время чувствовала, что где-то, совсем рядом, на страже стоит Смерть... Сама не знаю, какая сила заставляла меня просыпаться? И откуда брались силы, чтобы продолжать путь? Куда? Зачем? Об этом я тогда как-то совсем не думала.

3. Я шла через знаменитую Большую Гарь. Тайга здесь сгорела еще в прошлом веке. Вся эта Гарь заболотилась. Почти ничего там не растет. Обгорелые пни производили жуткое впечатление! Надо учесть, что я была больна — в жару. Мало ли что может померещиться?! Обгорелые коряги казались мне фигурами негров, которые шевелятся — борются или движутся мне навстречу. И еще мне казалось, что кто-то — неизвестный и невидимый — следует за мной и шепчет что-то непонятное... Я быстро оборачивалась и, разумеется, никого не обнаруживала.

Как долго это продолжалось? Сутки? Двое? Больше или меньше? Не знаю. Но и теперь, вспоминая эту Большую Гарь, мне не по себе...

4. Занималась заря, когда я вышла из лесу. Впереди пустое пространство. Что это? Озеро? Река? Нет, не озеро. Это река, и притом большая: прибрежные кусты и деревья — даже расположенные на несколько метров над льдом — повалены весенним ледоходом.

Так что это за река? Обь? Енисей?

Обе эти реки текут на север. Кусты повалены вправо. Значит, север справа. Я стою на правом берегу. Выйди я к Енисею, берег был бы левый. Значит, это Обь!

Сколько раз приходилось мне решать подобные географические задачи! Как часто жалела я, что плохо знаю географию Сибири!

5. Весь день брела я в густом морозном тумане. Уже смеркалось, когда туман рассеялся и я увидела крутой берег. На взгорке — несколько домов. Из труб валит дым... У берега несколько еще не замерзших прорубей. Пробив тонкий ледок, я жадно пила холодную воду... Затем пошла в гору. Откуда и силы взялись? Скорее! К людям,

к теплу! Еще немного, совсем немного — и я буду под крышей. Сибиряки гостеприимны! У околицы я остановилась: надо приодеться! И я извлекла из рюкзака приношение старушек из Суйги: полосатую юбку, клетчатый платок...

6. Деревенька Нарга, по-тунгусски это означает кладбище, — восемь домов. В восемь ворот стучалась я, из-за восьми частоколов из толстых бревен слышалось: «Проваливай! А не то собак натравлю!» И злобный лай множества цепных псов... Обессилив, падаю на колоду у последних ворот... Погибнуть в тайге — это понятно. Но умереть на пороге дома, в котором живут люди? Но люди ли это?! И вспоминаются рассказы ссыльных, что местные жители охотились на людей, как на зверя! Ежели бедный им попадался, сдавали его властям, им премию выплачивали. Но ежели бедолага был при вещах, то его убивали!

7. Но что это? Вроде свет в окне? Подхватив рюкзак, я опять собралась с силами и зашагала. Дом на отшибе. На грубой самодельной скамье сидела женщина; в ее руках были весы, римские, с одной чашкой.

Увидев меня, женщина сказала:

— Вот, тетка, посуды сама: я, с мужиком, получаем по 800 грамм, а они, иждивенцы, по 200. Я-то делю всем поровну. А им все мало: ты, дескать, нам мало даешь! Вот я и решила отвесить им по 200! Пусть знают, что такое пайка!

Выражение лиц и самые позы девчонок олицетворяли глубочайшее разочарование и даже отчаяние!

Она продала мне кусок мяса на рубль. Мне повезло. Сырое мясо, съеденное малыми порциями, было единственной едой, которая не оказалась губительной после такого продолжительного изнурения голодом.

8. 1945 год... В хирургическом отделении норильской центральной больницы лагеря шла вечерняя раздача лекарств и выполнение назначений вечернего обхода. Я носилась из конца в конец по коридору из одной переполненной до отказа палаты в другую. Куда бы я ни шла, взгляд мальчика следовал за мной. Вдруг:

— Сестра, ты в Нарге была?

И вспомнился мне тот вечер, мое отчаяние оттого, что, бежав из ссылки, я не могла найти пропитание, и тот домик, где женщина развешивала пайки трем девчонкам. И тот мальчик, который принес мне кусок мяса — конину от лошади, павшей от чесотки. Я съела это мясо сырым. И это было для меня спасением. И вот где довелось встретиться с этим мальчиком!

9.

Позади — Обь, впереди — село Парабель. Там в воскресенье ярмарка. Повсюду, у рундуков и просто на площади, стоят и сидят старички и старушки. На платочках разложено что-то вроде конфет ирисок. И ничего, кроме них! — Почему это? — спрашиваю я, в надежде из ответа узнать, что это за конфеты.

— Бери, бери, касатка! Бери, родимая! Не пожалеешь: сера самая лучшая, лиственничная...

Я отпрянула. Сера! Если есть что-нибудь, что вызывает у меня глубочайшее отвращение, так это сибирская привычка жевать эту жвачку, чвякая и щелкая.

10.

В тех краях дрова заготавливают зимой: летом трясины делают дороги абсолютно не проезжими. Так передо мной открылось обширное поле деятельности. Рабочих рук не было, и, когда я бралась заготовить несколько кубометров дров, никто не задавал вопросов, откуда я взялась. Так, с легкой руки одноглазого старика, я обрела профессию заготовителя топлива. Платили мне 8 рублей за кубометр и кормили картошкой, иногда овсянкой или пшенной кашей. Хлеба ни у кого не было. Я нигде не задерживалась: поработала день — и айда! Это чтобы не вызывать подозрения.

11.

Думала ли я, что встречу здесь, в развалюхе-сараяе, за поскотинной*, своих земляков? В большинстве людей работающих, образованных, в прошлом далеко не богатых и — ирония судьбы — просоветски настроенных.

* Поскотина — пастбище, выгон; изгородь вокруг выгона.

12.

Так встретила я Пасху 1942 года, в кругу семьи агронома Сырбуленко... Невеселое было это разговенье, похлебкой из двух мерзлых картофелин и горсти мелкой ржи.

Я не узнавала радужную, жизнерадостную хозяйку, вечно распевальную веселые песенки; в притихших и напуганных мальчиках, робко жмущихся к отцу, я никак не могла узнать обоих «докторов Фаустов», вечно говорящих хором и ставящих самые нелепые пиротехнические и химические опыты.

Но тяжелее всего было смотреть на самого Гришу Сырбуленко. Он ли это, тот веселый, остроумный собеседник, весь начиненный шутками и анекдотами?

— Я знаю, что скоро, очень скоро умру. Стоит мне уснуть, как мне снится одно и то же. Будто я проваливаюсь в яму или подвал... И на меня обрушиваются доски и сыпется земля.

13.

...Через год в нарымской КПЗ я узнала, что вскоре после моего ухода Сырбуленко заболел тифом и умер. Видно, и впрямь смерть приходила за ним, как она обязательно

приходит за теми, кто позволяет тяжелым мыслям одержать верх над волей к жизни.

Гроб с телом отца мальчики дотащили до кладбища — до той его части, где получили постоянную прописку многие из земляков-бессарабцев, но похоронить не смогли...

14.

Однажды к вечеру меня застал буран. Жилье было близко. Уже сон начал меня осиливать, когда я услышала шепот: женщина что-то растолковывала парню, лежавшему на печи.

— Выйди тихонько, дай знать... Захватят сонную, — долетело до меня. И вмиг сна как не бывало!

Скомкав одеяло, я подхватила рюкзак и неслышно метнулась в сени. Судорожно нащупала деревянный засов с веревочкой, распахнула дверь...

Ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега, рванул из рук одеяло, которое я так и не успела сложить, и завыл насмешливо: «сибирское гостеприимство!»

15. (из машинописного варианта)

Я повернулась и пошла вдоль улицы, не заглядываясь на освещенные окна: за ними не было человеческого тепла, а лишь страх и подозрительность. Одно порождает другое.

Наконец я увидела то, что искала: скирду соломы...

К счастью, солома была еще не слежавшаяся, рыхлая, и я без особого труда смогла сделать нишу, куда заползла задом, заложила вход соломой, подперла ее рюкзаком. Снаружи бесновался буран, было холодно и тесно. Но скирда была гостеприимней людей, и я спокойно уснула.

След саней еще не был занесен снегом. Значит, жилье недалеко: ведь никто на ночь глядя не повезет солому в такой буран. Авось, доберусь до ночлега лучшего, чем эта рига с остатками соломы! Крыша-то есть, но под нею гуляет ветер.

16.

Я высунула голову из стога соломы, в котором я заночевала, и обомлела... Ничто не напоминало о вчерашнем буране: яркое солнце, ослепительно белый снег. До чего мир прекрасен! И как радостна жизнь! Истерзанная голодом, изломанная усталостью, я на мгновение все забыла: табун убитых, ухоженных коней спешил на водопой.

Я решительно выкарабкиваюсь, привожу в порядок себя и свой багаж и плыву по пояс в снегу к воротам: люди, которые так хорошо ухаживают за своими лошадьми, не могут все до единого быть злыми!

17. (Из тетрадного варианта)

— Сегодня Пасха блаженных, то есть Красная Горка, как еще говорят. А у нас, у летгалцев, такой обычай: к столу должны садиться не меньше двенадцати человек. Тогда

и Христос будет с нами. Зовут меня Климентий Петрус Кимм. Родом я из Латвии. В девятьсот пятом году за революцию боролся; в девятьсот седьмом за это сюда и попал... Работал. Своими руками избу срубил, хозяйством обзавелся, детей вырастил, на ноги поставил. Все было.

А теперь сыновья... Бог знает, вернутся ли? Снохи, внуки... Нелегко без хозяйства жить! Но не жалуемся и свой обычай чтим: и в этот день за стол нас сядет двенадцать. (Для счета попала и я, два мальчика-дроворуба и... глухонемой татарин-портной.)

Щи из свиной головы были до того наваристы, что можно было умереть от восторга, только понюхав их!

Но на меня вдруг напала внезапная слабость. Мне хотелось крикнуть: «Я хочу жареной картошки!» Но я поняла, что хочу спать и сейчас усну...

18. (Из машинописного варианта)

...Проснулась я, когда уже смеркалось. Лежала я на кошке. Было тепло. Пахло луком. И вдруг я вспомнила, и меня точно каленым железом обожгло! Я могла бы покушать мяса, жареного с картошкой, а я все это проспала!

Очевидно, такая уж моя судьба: мне всегда не везет к моему же счастью. Больше того, что я съела, переварить я бы не смогла, и всякий излишек пошел бы во вред... Голодающие чаще умирают не от голода, а от того, что съедено голодающим.

19.

Буря, который намет столько рыхлого снега, заставил меня пренебречь осторожностью и придерживаясь торных дорог. Какой-то уполномоченный потребовал у меня документы и за неимением таковых доставил меня в сельсовет колхоза имени Некрасова, того самого, который всегда заступался за обездоленных. Но у людей, строго и чопорно восседавших вокруг стола, вид был мало обнадеживающий... Я ответила им, и кто я, и откуда; отчего попала в ссылку — сама не знаю, а отчего пыталась бежать — это легко понять. Люди переглядываются; портреты со стен смотрят грозно... Но вот тот, кто в центре, встает.

— Мы все в свое время пытались бежать из ссылки... безуспешно. Ступай, тетка! Желаем тебе большого успеха... Я обалдела от неожиданности. Неловко поклонившись, я, все еще не придя в себя от удивления, направилась к дверям. Со стен глядели на меня портреты вождей и, должно быть, удивлялись не меньше меня самой.

20.

Рассказывать о прошлом внимательному слушателю — истинное наслаждение! Итак, дед наслаждался, а я и развесила уши! Раньше дед извозом промышлял — в Алтай ходил, в Семиречье. Хлеб возил, рыбу соленую. А потом ям держал здесь, на Оби. Дед уверял меня в том, что в непроходимой тайге находятся раскольничьи скиты и пустыnnики мне помогут пройти тайгой на Омск, пройдя 800 верст, вместо 2400, избежав встреч с НКВД. Я абсолютно не знала советской действительности. А верить тому, чему хочется верить, так хочется! Вот и решила я последовать совету деда!

21.

С бугра было хорошо видно большое, по сибирским понятиям, поселение и обширные, опять же для таежной области, поля. Но ни дымка, ни следа: деревня была мертва. И покинута она была, очевидно, уже давно: на заброшенных пашнях всюду уже подрастал кустарник. Что тут произошло?

22.

Дед не во всем ошибался: скит (вернее, то, что от скита осталось) я нашла. И тут мне стало ясно: то, чего не могли (или не очень желали) царские урядники, то решила сделать советская власть. И от скита осталась лишь груда толстых бревен, поваленный частокол да поломанные восьмиконечные кресты на могилах. Все уже успело зарости ельником. Идти дальше — верная смерть. Идти назад? Не выйду: сегодня я догрызла последнюю сушеную картофелину. Осталась одна брюква и больше ста верст... Попытайся на юг, юго-восток?

Затрудняюсь сказать, сколько суток я упрямо брела на юг. Но настал вечер, когда отчаяние закралось в душу и силы пришли к концу...

23.

Тоненький серп народившегося месяца не давал света, но он помогал держать направление, я споткнулась, упала, встала. И так несколько раз.

На этот раз я уже не смогла встать. Я сбросила рюкзак, с головы свалилась шапка. Я поползла, ловя воздух открытым ртом, и единственная мысль была: хоть бы месяц еще немного не заходил... И вдруг где-то совсем близко заревела корова. Никакая небесная симфония не сдвинула бы меня с места! Но тут я так резко вскочила на ноги, что если надо мной уже склонилась Смерть, то я, наверное, огрела ее затылком по зубам. Тут мне все стало ясно: лес поредел, он был вырублен, и совсем близко проходила поскутина, а за нею — деревня.

24.

Голод, стужа, усталость... Нет, это еще не все! Есть еще один бич всех бродяг и вообще бездомных — это вши. Они не дают возможности отдохнуть, даже когда эта возможность бывает. И вот, когда солнце стало заявлять свои права и в полдень на сольские начинало подтаивать, я повела решительную борьбу с этим бичом: я выбираю сугроб у подножия большой сосны, вытаптывала нишу и раздевалась догола. И тут начинала охоту. В первый день было 312 жертв; во второй — 238; в третий — 112.

С того дня это стало правилом, когда погода это допускала, я эту процедуру не пропускала.

25.

Я была на пределе: дождь со снегом — я промокла, я голодна, я устала до невероятности! Голодная, я прошла, не отдыхая, 72 километра, и ожидаемой деревни все нет и нет! И тут еще это горькое разочарование: то, что я приняла за освежеванную павшую лошадь, оказалось ошкуранным лиственничным сутунком! Этого я не выдержала и расплакалась... Но это длилось мгновение. Я обругала саму себя. И правда: кто бы оставил дохлую лошадь — столько мяса — когда всюду столько голодных?! Эту пададь разделили б — в счет зарплаты — рабочим!

26.

В трех или четырех домах меня и на порог не пустили. Мне все же удалось разжиться кое-какой едой... Найдя уютный стожок, я устроила себе замечательный ночлег... Мороз крепчал, тайга гудела, но я уже видела во сне родное Цепилово, родных и друзей... Бледный свет пасмурного рассвета вернул меня к действительности. Но эта действительность преподнесла мне сюрприз... Все жилки и поджилки дрожали у меня, но звериный инстинкт диктовал мне единственную в данном случае линию поведения: я притворилась крепко спящей — еще плотнее замоталась в свое тряпье, дышала глубоко, всхрапывая, и из-под согнутой руки зорко следила

за поведением моего компаньона по ночлегу в этой лесной гостинице. А вид у него был... Э, да что там говорить! Ни один зверь не может выглядеть отвратительней человека, потерявшего человеческий облик.

Он выбрался из сена и, стоя на коленях и сжимая в руке дубину, смотрел на меня таким взглядом, какого мне не забыть никогда. Однако после короткого раздумья он встал, подхватил свою котомку и пустился наутек.

Я последовала его примеру.

Да, «товарищ по несчастью» — это не обязательно друг.

27.

В комнате — пустой и убогой — возле почти уже потухшей печурки-буржуйки, сидели двое — дед и баба. Не было у них курочки рябой, да, пожалуй, и разбитого корыта.

На мою просьбу продать чего-либо съестного они рассказали, что сына в 1937-м забрали, внук сидит в лагере, все ему посылают, остались только крошки сорные — со всяким мусором. Хуже, что первое место в ряду этих примесей занимали сушеные и мелко накрошенные тараканы. Голод — беспощадный диктатор, и его воля — закон. Я надеялась, что сумею отделить крошки от тараканов, но — увы... Ни отвезти на ветру, ни отмыть их водой не удалось. Пришлось, поборов брезгливость и отвращение, съесть все подряд. И все же дня два я была не слишком голодной.

28.

Через многочисленные речушки приходилось переправляться по-разному. Самый удачный случай — это надежное дерево, упавшее поперек речки: это можно назвать естественным мостом.

29.

Но бывало и хуже: это когда берега речки были заболочены и воздушных мостов не предвиделось. Тогда приходилось перебираться где вброд, а где и вплавь, раздевшись догола и перебросив всю свою «движимость» на ту сторону.

30.

Это не «Гермес, посланец богов», хотя даже без крылатых сандалий я развивала неплохую скорость: ведь после ледяной ванны не оденешься, не согреешься! А чем согреешься? Голодному холод — первый враг. Только на бегу и согреешься... Счастье, что образовались проталины, и там уже солнце прогревало.

31. (Из машинописного варианта)

«...Слушай внимательно, дочка! За твое доброе дело я тебе дам добрый совет: избегай большой дороги и деревень. Там энкаведистов полным-полно! На фронт им неохота; вот они всех подряд хватают, чтобы доказать, что они — во как необходимы в тылу! Иди по ночам. Так спокойней! А на рассвете, где увидишь поворот, притрушенный сеном или соломой, туда и сворачивай. Там и выспишься».

32.

...добравшись до первого тока, куда я свернула днем, чтобы выспаться, я увидела... молотилку — старинную, добротную, тяжелую, стоящую под открытым небом! Первый раз, увидав подобную бесхозяйственность, я глазам своим поверить не могла! В дальнейшем я так часто видела еще и не такие примеры безобразнейшего головотяпства. Боюсь, что и теперь — столько лет спустя — я все еще продолжаю делать подобные открытия, которые теперь уже ничем невозможно ни объяснить, ни оправдать... Тогда я многое объясняла войной, пока не убедилась, что причина еще более глубокая и беспощадная.

33.

Отдыхать лучше днем: и теплее и безопасней. Идти же по шоссе лучше ночью. [Завидев] фары автомашины, я подбирала юбку, перескакивала ювет и пряталась за стволом какой-нибудь ели. Зато по шоссе шагать совсем легко.

34.

Когда-то, еще дома в Бессарабии, я читала в «Известиях», как много сделала советская власть для престарелых. Построен даже городок счастливой старости — Вороново. И вот я в Воронове... Я понимаю: война, множество эвакуированных, которым отдали двухэтажные корпуса, но персонал живет в просторных домах, а старики...

Я содрогнулась, смотря, как в длинном, низком сарае с крошечными окошечками, за невысокой перегородкой, на черной прелой соломе сидели и лежали впалку те, кто когда-то были мужчинами и женщинами, а теперь больше всего напоминали больных обезьян.

Холод, вонь, сырость и темнота, лишающая их возможности даже искать вшей! Один старик, стоя у загородки, протягивая жестяную кружку, жалобно бубнил:

— Водички бы испить!

Я не нашла ни ведра, ни бочки...

35.

Холодные камни, свет луны, падающий сквозь отдушину — все было ужасно неуютно... Но самое жуткое — было воспоминание о стариках.

Данте в своем «Аду» не додумался...

36.

От ссыльных поляков я узнала, что в Томске находился польский консул. Он печется о поляках; он же вербует волонтеров, которые через Персию будут брошены против Германии и союзников. Что я русская, это бесспорно. Но дед мой по отцу был поляк. Я могу в армии пригодиться в качестве медсестры (по образованию я ветфельдшер). Но Томск находится на правом берегу Оби, а я — на левом, перейти на другой берег можно только по льду...

С грохотом и скрежетом неслись по реке льдины, и я с грустью смотрела на эту грозную картину и с грустью думала, что река [Обь] сломала не только лед, но и все мои сумбурные надежды на мифического польского консула. Что ж? Пойду куда-нибудь!

Альбом 4. Часть 2

апрель — август 1942

250 С 26 февраля 1942 года за 6 месяцев Евфросиния прошла 1500 километров по нарымским болотам, тайге, алтайским целинным степям, обходя города, работая у кого придется, чтобы не умереть с голода. Она впервые познакомилась с жизнью в глубинке России в самый первый военный голодный год. Увидела, что такое раскулачивание, когда исчезали целые деревни и некому было возделывать землю. Она не могла понять бесхозяйственности при кричащих вокруг лозунгах об экономии. Не могла смириться с тем, что по весне жгли остатки колосков, вместо того чтоб отдать их голодным. Евфросиния не знала, что работали в колхозе не за деньги, а за трудодни, за них не всегда получали продукты. По «закону о колосках» (Об охране имущества государственных предприятий и колхозов) до 10 лет тюрьмы получали сотни тысяч голодных колхозников, вручную собиравших остатки зерна с колхозного поля.

Чем закончился побег Евфросинии? Евфросинию задерживали трижды и каждый раз каким-то чудом отпускали. Но 24 августа 1942 года ее задержали и доставили в КПЗ (камеру предварительного заключения) районного центра Краснозерское Новосибирской области.

Старые, рваные, грязные штаны... У меня не хватило духу их выбросить. Я их повесила на ветку старой ветлы, а сама села и погрузилась в воспоминания... Штаны были сшиты из домотканого холста, холст выткала Чебанчукка, которая его получила при разделе моего имущества. Ткала она холст [вместе] с мамой зимними вечерами, когда мама собирала к себе в «клуб» деревенских женщин. Было весело! Женщины рассказывали небылицы, а мама их угощала домашними лакомствами.

Как были мы веселы, спокойны и счастливы! И вот штаны из этого холста я оставляю здесь. Их судьба свершилась. А какая судьба ждет меня?



Старые, рваные, грязные штаны... У меня не хватило духу их выбросить. Я их повесила на ветку старой ветлы, а сама села и погрузилась в воспоминания... Штаны были сшиты из домотканого холста; холст выткала Чебанчукка, которая его получила при разделе моего имущества. Ткала она холст с мамой зимними вечерами, когда мама собирала к себе в «клуб» деревенских женщин. Было весело! Женщины рассказывали небылицы, а мама их угощала домашними лакомствами.

Как были мы веселы, спокойны и счастливы! И вот штаны из этого холста я оставляю здесь. Их судьба свершилась. А какая судьба ждет меня?

Воспоминания уводили меня все дальше. И вспомнился мне тот вечер, когда мы с певуньей Таней и ее рассудительной сестрой Надей мыкали коноплю — ту коноплю, из которой был соткан холст — тот холст, из которого были сшиты штаны, с которыми я теперь прощаюсь. Как тогда пели девочки молдавскую песню! И я подпевала: «*cine vine dela via — Ioanel cu pălărie*» («Кто с виноградника идет? — Ионел в шляпе»).

Но что это? Не в мечтах, не в воспоминаниях я слышу молдавскую речь, а здесь, в сибирской тайге!



Воспоминания уводили меня все дальше. И вспомнился мне тот вечер, когда мы, с певуньей-Таней и ее рассудительной сестрой, Надей, мыкали коноплю — ту коноплю, из которой был соткан холст — тот холст, из которого были сшиты штаны, с которыми я теперь прощаюсь. Как тогда пели девочки молдавскую песню! И я подпевала: «*cine vine dela via — Ioanel cu pălărie*».

Но что это? Не в мечтах, не в воспоминаниях я слышу молдавскую речь, а здесь, в сибирской тайге!

Мальчик бросил свою вязанку и всплеснул руками:
— Мама! Да это наша барышня!



Мальчик бросил свою вязанку и всплеснул руками: „Мама! Да
это наша барышня!...“

Спасибо тебе, Анна Пержовская! Спасибо от измученной голодом, горем и усталостью. Спасибо за то, что ты оказала мне неоценимую услугу, избавившую меня от этой «казни египетской» — вшей! Сперва она запарила крутым щелоком все мои вещи, включая телогрейку и одеяло, которые затем выжарились в горящей печи. Затем она вымыла и вычесала мою голову, выкупала меня всю в лохани. Затем я сидела на печи — голая, закутанная в сукман*. А сама Анна стирала, сушила, латала весь мой гардероб. Ловкие руки ее так и мелькали без

254



Спасибо тебе, Анна Пержовская! Спасибо измученной голодом и холодом, горем и усталостью. Спасибо за то, что ты оказала мне неоценимую услугу — избавившую меня от этой «казни египетской» — вшей! Сперва она запарила крутым щелоком все мои вещи — включая телогрейку и одеяло, которые затем, выжарились в горячей печи. Затем она вымыла и вычесала мою голову, выкупала меня всю в лохани. Затем я сидела на печи — голая, закутанная в сукман! А сама Анна стирала, сушила, латала весь мой гардероб! Ловкие руки ее так и мелькали, без усталости... и не менее неутомимо работала ее язык: она мне успела рассказать о судьбе множества людей — из нашего и окрестных сел, очутившихся в деревне Гынгаса. Не зная я, как пригодятся мне все эти байки* еще завтра!

устали, и не менее неутомимо работал ее язык: она мне успела рассказать о судьбе множества людей из нашего и окрестных сел, очутившихся в деревне Гынгаса.

Не зная я, как пригодятся мне все эти байки уже завтра!

* Сукман — суконный кафтан.

АЛЬБОМ 4. ЧАСТЬ 2. РИС. 40

АЛЬБОМ 4. ЧАСТЬ 2. РИС. 40 (ФРАГМЕНТ)





У меня были самые благие намерения: отдать на станцию найденный мною на дороге разводной ключ. Ведь завтра, 1 мая, предстоит начало работ, а с инструментом в Сибири очень трудно!

Лучше было бы отправить это благое намерение в Ад, где, по утверждению, ими все мостовые вымощены! А в колхозе «Путь Ленина» меня сразу же объявили шпионом, арестовали, чуть не убили и отправили под конвоем в центр — в Боборыкино.



У меня были самые благие намерения: отдать на станцию найденный мною на дороге, разводной ключ. Ведь завтра, 1 мая, предстоит начало работ, а с инструментом, в Сибири — очень трудно! Лучше было бы отправить это благое намерение в Ад, где, по утверждению ими — все мостовые вымощены! А в «Пути Ленина» меня, сразу же объявили шпионом, арестовали, чуть не убили и отправили, под конвоем в центр — в Боборыкино.

...отчеканиваю, глядя ему в глаза:
 — Малава Кожушинского района!
 Комендант кивает головой, подтверждая.
 Я будто невзначай роняю шапку и, наклоняясь, подымаю вместе
 с шапкой треугольничек письма.



... отчеканиваю, глядя ему в глаза:
 — «Малава — Кожушинского района!»
 Комендант кивает головой, подтверждая.
 Я, будто невзначай, роняю шапку и, наклоняясь, подымаю, вме-
 сте с шапкой, треугольничек письма.

До угла я дошла спокойно, а затем как рванула, подхватив юбку, и так мчалась, голодная и усталая, из последних сил. Проскочила, не замедляя аллюра, Малаву и продолжала так почти до заката солнца... И мне все время казалось, что меня догоняет белый конь, запряженный в бричку, — тот белый конь, который привез начальника НКВД, того самого, который «на семь пядей сквозь землю видит» и остался в дураках!



До угла я дошла спокойно, а затем...
 Как рванула, подхватив юбку и так мчалась — голодная и усталая — из последних сил. Проскочила, не замедляя аллюра, Малаву и продолжала так почти до заката солнца... и мне всё время казалось, что меня догоняет белый конь, запряженный в бричку — тот белый конь, который привёз начальника НКВД — того самого, который «на семь пядей сквозь землю видит» и остался в дураках!

Как я любила ездить с папой на охоту. Охота... И здесь в Сибири кто-то охотится: то тут, то там слышны были выстрелы. Стой! Здесь где-то есть дичь... А я так голодна! Что если найду? Тут я еще раз, еще более пристально и внимательно оглядела кустарник, сухой тростник... Вдруг: «Чик-чик-чик!» — зацокотала сорока, вспорхнув на куст.



Как я любила ездить с папой на охоту. Охота... И здесь, в Сибири кто-то охотится: то тут, то там слышны были выстрелы. Стой! Здесь, где-то есть дичь... А я так голодна! Что, если я найду? Тут я ещё раз — ещё более пристально и внимательно оглядела кустарник, сухой тростник... Вдруг... «Чик-чик-чик» — зацокотала сорока, вспорхнув на куст.

«Чик-чик-чик!» — застрекотала сорока. Отчего она всполошилась, но не улетает? Ага! Вот перышко — оно прилетело по ветру. Так! Значит, оно прилетело оттуда... Вот еще два пера... Ура! Вот лежит селезень. Его уже начала клевать сорока. Но дудки! Селезень мой!

Инстинкт, тот самый зов предков, помог мне безошибочно. Не знаю, как поедали мои отдаленные предки свою добычу, но я съела его сырым, и к тому же с костями и перьями. Только маховые перья и клюв я не осилила, остальное — все!



«Чик-чик-чик!» застрекотала сорока. Отчего она всполошилась но... не улетает? Ага! вот перышко — оно прилетело по ветру. Так! значит она прилетело оттуда... Вот еще два пера... Ура! Вот лежит селезень. Его уже начала клевать сорока. Но-дудки! Селезень мой! Инстинкт — тот самый „Зов Предков“ — помог мне безошибочно... Не знаю, как поедали мои отдаленные предки свою добычу? Но я... съела его, сырым. И, к тому же — с костями и с перьями. Только маховые перья и клюв я не осилила; остальное — всё!

Чистка стайки — работа трудоемкая, но неплохо оплачиваемая. Всю зиму из-под коровы навоза не убирают. К весне корова чуть не на крыше. Тогда стайку разбирают, и навоз вывозят на огородные гряды.



Чистка «стайки» — работа трудоемкая, но неплохо оплачиваемая. Всю зиму из-под коровы навоз не убирают. К весне, корова чуть не на крыше. Тогда «стайку» разбирают и навоз вывозят на огородные гряды...

Это не гробы. Это огуречники. Свежий навоз, сложенный в форме гроба, нагревается. В нем делают лунки, наполняя их землей, и туда [сажают] огурцы и даже помидоры.

На одном месте я работала дня два-три. Затем шла дальше. Я понимала, что вид у меня аховый: юбка мне мешала, а повязывать платок я так и не научилась: женский платок на мне больше напоминал повязку средневекового флибустьера или головной убор араба.



«Это — не гробы. Это... «огуречники» — свежий навоз, сложенный в форме гроба нагревается. В нём делают лунки», — исполняя их землей и туда сажают огурцы и даже — помидоры.

На одном месте я работала дня два-три. Затем... шла дальше. Я понимала, что вид у меня — «аховый». Юбка мне мешала, а повязывать платок я так и не научилась: женский платок на мне больше напоминал повязку средневекового флибустьера или головной убор араба.

Похож был Пророк и на Распутина, и на Мельника из «Русалки», и на Сумасшедшего Архангела из «Принца и Нищего». Топая ногами и размахивая руками, он вещал:

— Погибала Русь от врагов: с востока — от татар, с севера — от немца, с запада — от ляхов, а Наполеоний, с двенадцат языков, родом с юга и перед походом на Русь к фараону Египетскому за благословением ездил. Всех их Русь с Божией помощью осилила! Теперь — хуже! Сам Сатана ополчился: он вынул душу, образ Божий, из человека и натравил брата на брата!



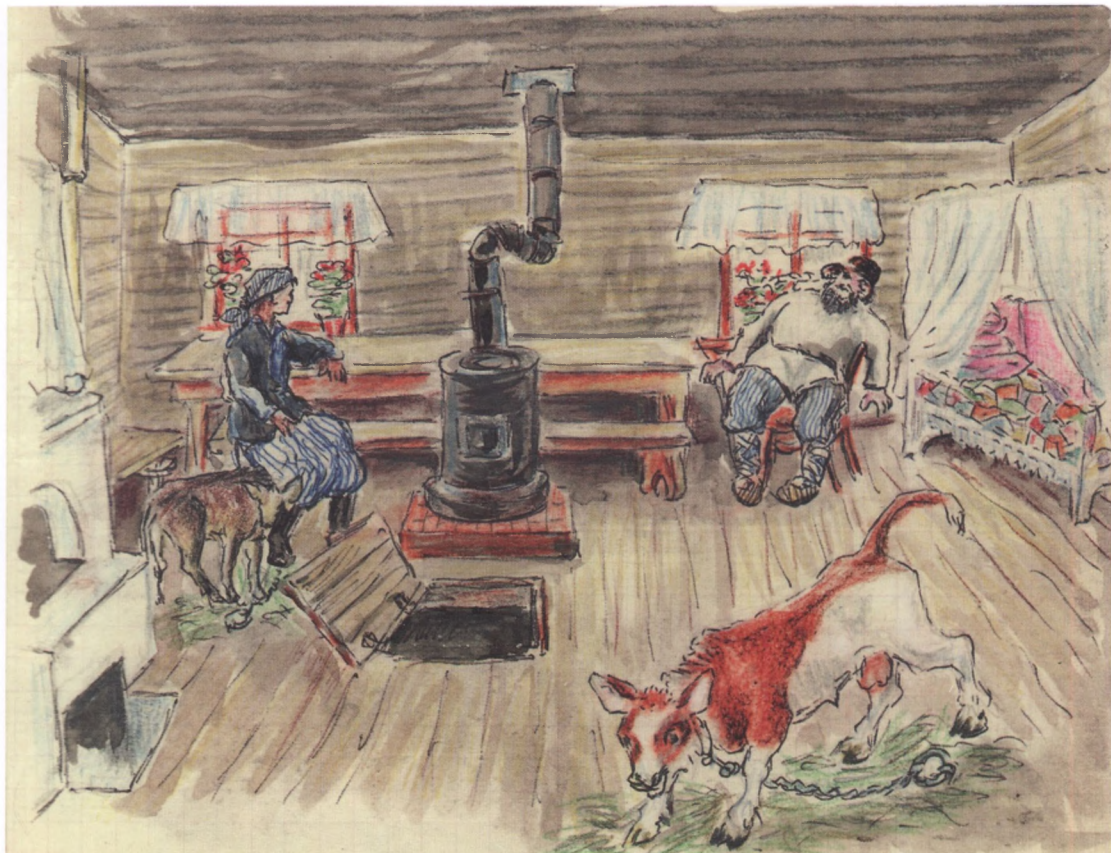
Похож был Пророк и на Распутина и на Мельника из "Русалки" и на Сумасшедшего Архангела из "Принца и Нищего". Топая ногами и размахивая руками, он вещал: "Погибала Русь от врагов: с востока — от татар, с севера — от немца, с запада — от ляхов, а Наполеоний, с двенадцат языков, родом с юга и, перед походом на Русь, к фараону Египетскому, за благословением ездил. Всех их Русь, с Божией помощью, осилила! Теперь — хуже! Сам Сатана ополчился: он вынул душу, образ Божий из человека и натравил брата на брата!"

Суха-Вершина — чувашская деревенька. Кругом дебри, в которых еще лежит снег. Чувашей насильственно переселили с Волги.

Дом, в который я вошла, поразил меня: комната большая, с претензией на достаток, но в этой же комнате, кроме хозяев, шестеро квартирантов и два теленка! Духота, вонь...

— Шочешь паня? Мой шена топил паня, — спросил старик, страдающий от невероятной эмфиземы легких.

Какую пани утопила его жена, испугалась я. Оказалось — баня. Право же бродяга от бани откажется?



"Суха-Вершина" — чувашская деревенька, Кругом — дебри, в которых еще лежит снег. Чувашей насильственно переселили с Волги. Дом, в который я вошла, поразил меня: комната большая с претензией на достаток, но в этой же комнате, кроме хозяев, шестеро квартирантов и 2-теленка! Духота, вонь и т.п. — Шочешь паня? Мой шена топил паня! спросил старик, страдающий от невероятной эмфиземы легких. Какую пани утопила его жена, испугалась. Оказалось — баня. Какой бродяга, от бани откажется?

Я раздевалась в загородке возле бани прямо на снег. Вдруг дверь распахнулась, в клубах пара выскочила старуха — абсолютно голая — и, размахивая деревянной бадьей, понеслась по снегу к колодцу.



Я раздевалась в загородке, возле бани — прямо на снег. Вдруг дверь распахнулась и, в клубах пара выскочила старуха — абсолютно голая — и, размахивая деревянной бадьей, понеслась по снегу, к колодцу...

Я робко вползла в эту баню по-черному. В густом тумане и в адской духоте смутно угадывались какие-то фигуры, чем-то напоминающие ведьм на Брокене. В этой Вальпургиевой Ночи я успела только разобрать лохань, а в ней — два или три обалдевших ребятенка и несколько мегер вокруг. Вдруг эти мегеры ринулись ко мне, схватили, поволокли на полок и начали мять, царапать и чем-то хлестать. Собрав все силы, я вырвалась, ринулась на поверхность и, подхватив свою одежду, выскочила прямо на улицу.

Право же, мне в этих банях не везет!



Я робко вползла в эту „баню по-черному“. В густом тумане и в адской духоте смутно угадывались какие-то фигуры, чем-то напоминающие ведьм на Брокене. В этой Вальпургиевой Ночи я успела только разобрать лохань, а в ней — два или три обалдевших ребятенка и несколько мегер вокруг. Вдруг эти мегеры ринулись ко мне, схватили, поволокли на полок и начали мять, царапать и чем-то хлестать. Собрав все силы, я вырвалась, ринулась на поверхность и, подхватив свою одежду, выскочила прямо на улицу.

Право же, мне в этих банях не везет!

По полю скакал... Не знаю, кто это? Больше всего этот всадник походил на опричника! Только к седлу была приторочена не собачья голова и не метла, а связка котомок. В чем дело? Чем провинились эти истощенные дети и старухи, собиравшие колоски?

В деревне мне объяснили:

— На трудовень — ничего не дают. А собирая колоски, могут и 10 килограмм насобирать!

— Так колоски все равно пропадут!

— Пропадут. Но если позволить собирать колоски, то кто на работу пойдет? А может быть, нарочно будут оставлять колоски.



... по-полю скакал Не знаю, кто это? Больше всего этот изсад-ник походил на опричника! Только к седлу была приторочена не собачья голова и не метла, а связка котомок. В чем дело? Чем провинились эти истощенные дети и старухи, собиравшие колоски?

В деревне мне объяснили: „На трудовень“ — ничего не дают. А собирая „колоски“, могут и 10 килограмм насобирать!... — „Так колоски, все равно пропадут!“ — „Пропадут. Но если позволить собирать колоски, то кто на работу пойдет? А может быть, нарочно будут оставлять колоски.“

Тощий, косматый, вываленный в навозе скот и скошенный и оставшийся в поле хлеб... Несчастные коровы съели всю гнилую солому с крыш и полегший неубранный хлеб. Люди, поедающие дранки из картофельной гнили, и тут же рядом «опричник» — верховой, здоровый мужчина — хлещет нагайкой детей и старух, собирающих колоски, и отбирает у них то, что они подобрали в грязи. Удивляться ли бесхозяйственности? Возмущаться при виде подобной жестокости? Не знаю, не знаю... По нынешний день не знаю.



Тощий, косматый, вываленный, в навозе, скот... и скошенный и оставшийся, в поле, хлеб... Несчастные коровы съели всю гнилую солому, с крыш... и полегший, неубранный хлеб. Люди поедающие «дранки» из картофельной гнили... и, тут же, рядом, «опричник» — верховой, здоровый мужчина — хлещет, нагайкой, детей и старух, собирающих «колоски» и отбирающий, у них то, что они подобрали, в грязи... Удивляться ли бесхозяйственности? Возмущаться, при виде подобной жестокости? Не знаю, не знаю... По нынешний день, не знаю...

Вот цепочкой дети рассыпались вдоль неубранного пшеничного поля. Учитель что-то объясняет. Вот они садятся на корточки... То тут, то там кружится дымок. Вот вспыхнуло неяркое в солнечном свете пламя... Наконец я понимаю: эти истощенные, измученные голодом дети сжигают хлеб.



Вот, цепочкой, дети рассыпались
вдоль неубранного пшеничного поля,
учитель что-то объясняет... Вот они
салятся на корточки... То тут, то там кружит-
ся дымок. Вот вспыхнуло неяркое, в солнеч-
ном свете пламя... Наконец я понимаю:
эти истощенные, измученные голодом, дети,
сжигают хлеб....

Я стояла, как жена Лотова, обращенная в соляной столп... Много объяснений выслушала я; оправдания — не нашла. Говорили: перезимовавшая в поле пшеница вредна. Да, если ее не отмыть от плесени и не просушить. Говорили: надо освободить место для ярового посева. Надо! Но начать вспашку можно со сжатых полей, а эту пшеницу — отдать людям и использовать на корм. Чаще всего говорили: только голод заставляет людей работать. Это не только глупо, но и преступно. К сожалению, это было объявлено аксиомой!



Я стояла, как жена Лотова, обращенная в соляной столп... Много объяснений выслушала я; оправдания — не нашла... Говорили: перезимовавшая, в поле, пшеница — вредна. Да... если ее не отмыть от плесени и не просушить. Говорили: надо освободить место, для ярового посева. Надо! Но начать вспашку можно со сжатых полей, а эту пшеницу — отдать людям и использовать на корм. Чаще всего говорили: только голод заставляет людей работать. Это — не только глупо, но и преступно. К сожалению, это было объявлено аксиомой!

Под дождем стоял и плакал работяга лет восьми: у него не хватало силенок, чтобы поднять и очистить борону.

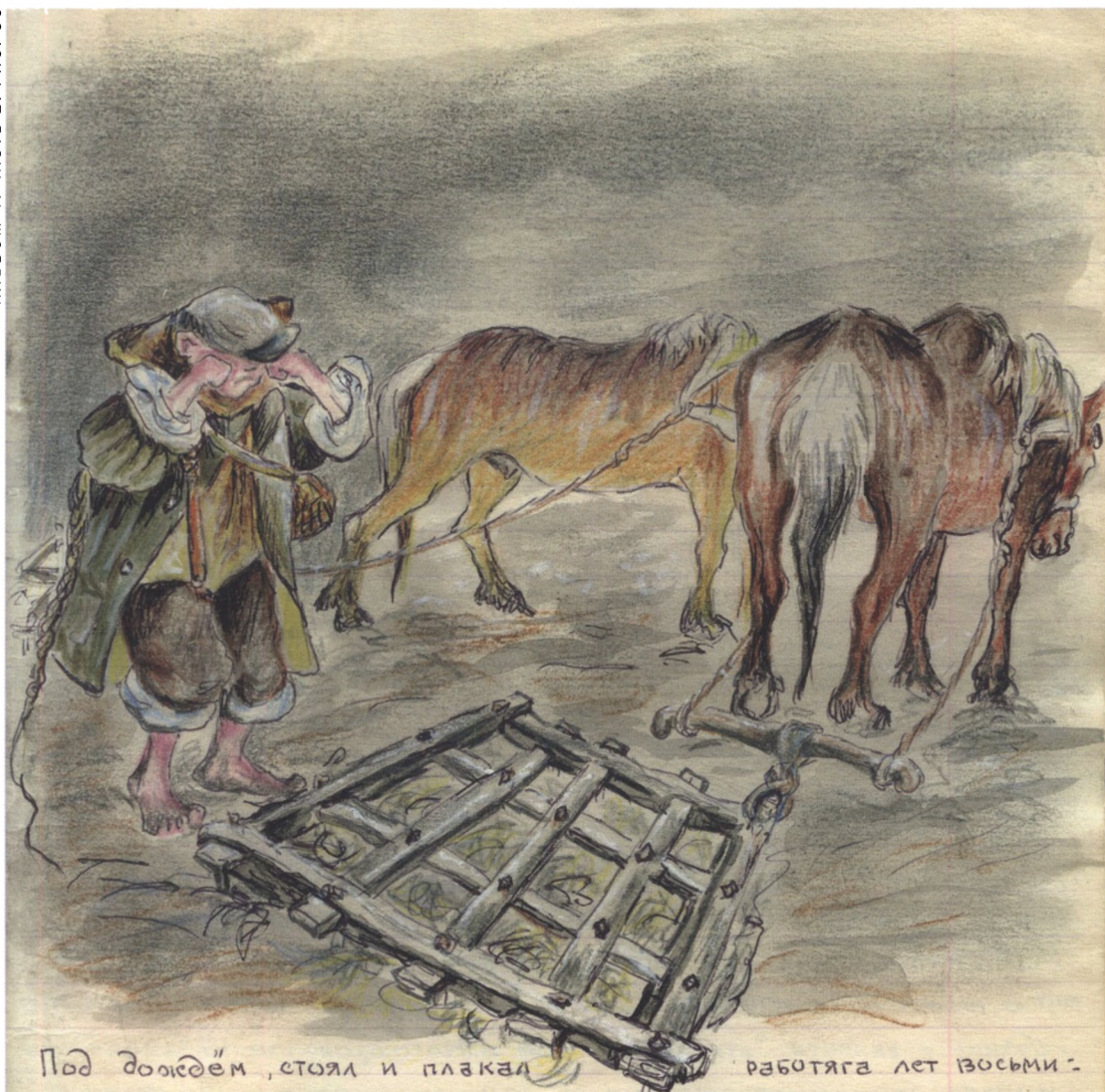
Я помогла ему и сказала:

— Ступай домой: промокшая шлея натрет коням холку!

Он хлюпнул носом и жалобно сказал:

— Нельзя! Ись не дадут... бригадир так велел...

Опять все тот же Царь Голод!



Под дождем, стоял и плакал работяга лет восьми: у него не хватало силенок, чтобы поднять и очистить борону. Я помогла ему и сказала: "Ступай домой: промокшая шлея натрет коням холку!" Он хлюпнул носом и жалобно сказал: "Нельзя! Ись не дадут... бригадир так велел..." Опять все тот же Царь Голод!

Корова — дойная. Она явно не приспособлена к тому, чтобы заменить трактора, оставшиеся без горючего; женщина, ломающая руки, в отчаянии при мысли о том, что пропадет молоко, которым можно забелить крапиву и лебеду — единственное питание тех, кто должен был прокормить армию; девчонка лет 10–11, подоткнувши юбчонку, храбро пытается удержать в борозде плуг... Да! Досталось русским женщинам в те годы. И это — в глубоком тылу! В тысячах верст от фронта!

О Русь! «Ты и убогая, ты и обильная...»*

Но больше всего — ...нелепая!

* «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всеильная, матушка Русь...» Из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».



Корова-дойная. Она — явно не приспособлена к тому, что бы заменить трактора, оставшиеся без горючего; женщина, ломающая руки, в отчаянии, при мысли о том, что пропадет молоко, которым можно «забелить» крапиву и лебеду — единственное питание тех, кто должен был прокормить армию; девчонка, лет 10–11, подоткнувши юбчонку, храбро пытается удержать в борозде, плуг... Да! Досталось «Русским Женщинам» в те годы. И это — в глубоком тылу! В тысячах верст от фронта! О! Русь! «Ты — и убогая, ты — и обильная...» Но, больше всего — ...нелепая!

Счастье, что у Акима Бедрача где-то на чердаке оказалась соха. Вся семья Акима впряглась в нее, и таким «фараоновским способом» огород был вспахан.



Счастье, что, у Акима Бедрача. где-то, на чердаке, оказалась соха... Вся семья Акима впряглась в нее и, таким «фараоновским» способом, огород был вспахан.

Было смешно и стыдно наблюдать, как старик Аким, бросая работу и, спрятавшись за плетень, выглядывал оттуда, как заяц. Откуда могла я догадаться, что он «совершает преступление», помогая женщинам тянуть соху?!



Было смешно... и стыдно наблюдать, как старик Аким, бросая работу и, спрятавшись за плетень, выглядывал, оттуда, как заяц. Откуда могла я догадаться, что он «совершает преступление», помогая женщинам тянуть соху?! ...

И в дождь я без дела не была: крошила самосад. Работа очень неприятная, но я была рада отблагодарить стариков за их человеческое ко мне отношение.

Мастерская была в бане.

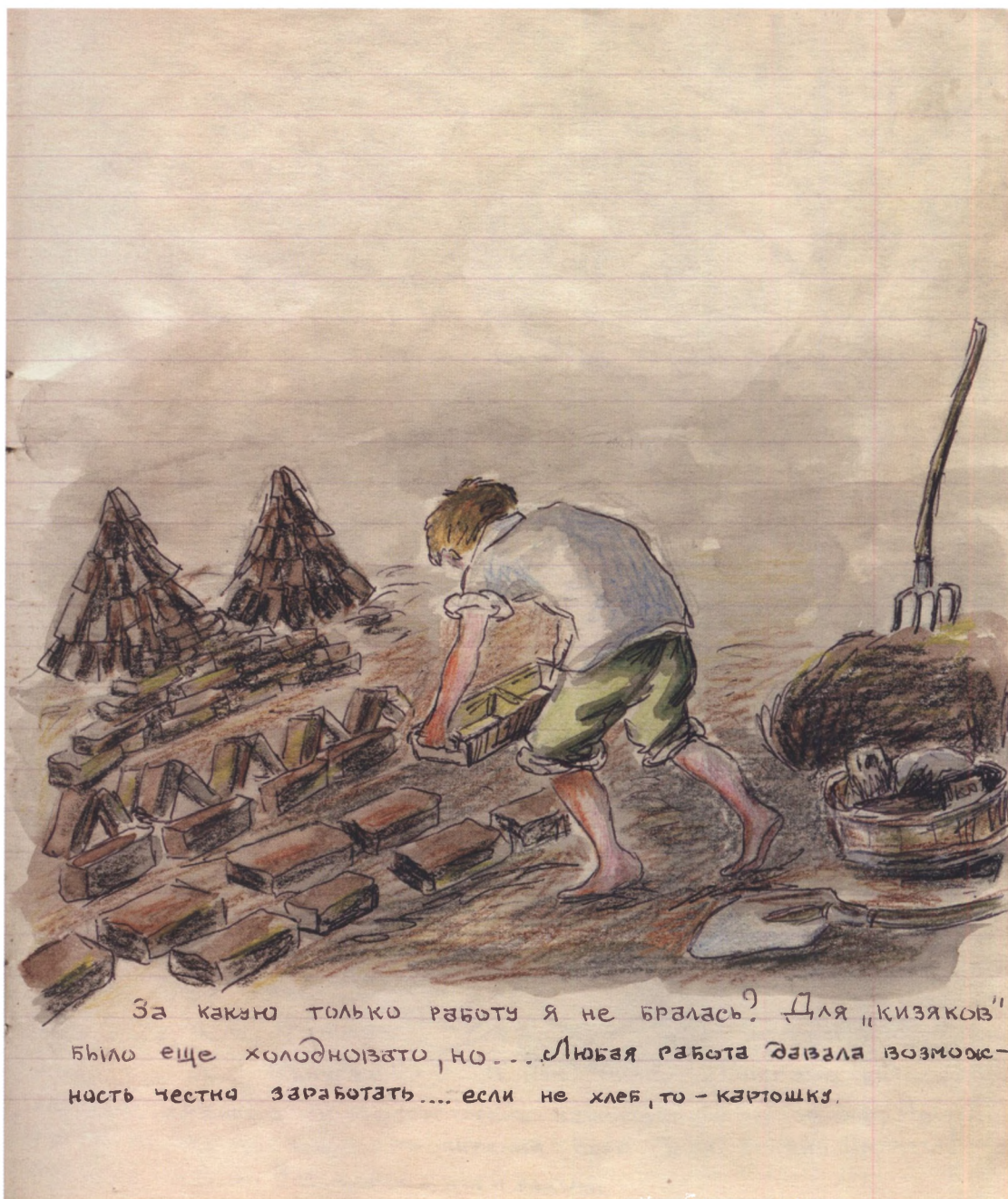


И в дождь я, без дела, не была: я крошила "самосад". Работа очень неприятная, но я была рада отблагодарить стариков, за их, человеческое, ко мне, отношение.

"Мастерская" была в бане

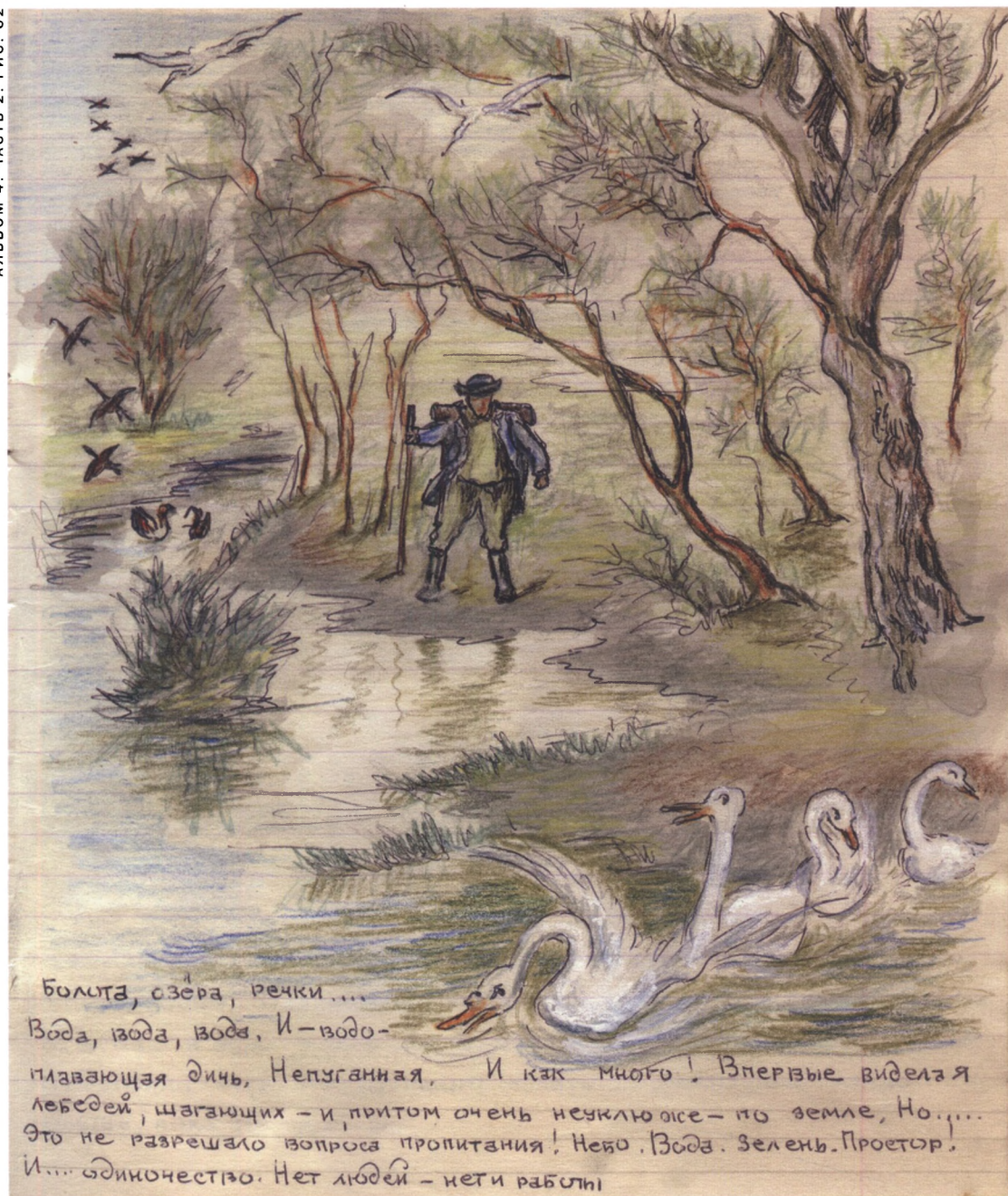
За какую только работу я не бралась!

Для кизяков было еще холодновато, но... любая работа давала возможность честно заработать если не хлеб, то картошку.



За какую только работу я не бралась? Для „кизяков“ было еще холодновато, но... Любая работа давала возможность честно заработать.... если не хлеб, то - картошку.

Болота, озера, реки... Вода, вода, вода. И водоплавающая дичь. Непуганая. И как много! Впервые видела я лебедей, шагающих, и притом очень неуклюже, по земле. Но это не разрешало вопроса пропитания! Небо. Вода. Зелень. Простор! И... одиночество. Нет людей — нет работы.



Болота, озера, реки....
Вода, вода, вода. И — водо-
плавающая дичь, Непуганая. И как много! Впервые видела я
лебедей, шагающих — и притом очень неуклюже — по земле. Но....
это не разрешало вопроса пропитания! Небо. Вода. Зелень. Простор!
И... одиночество. Нет людей — нет работы

Ямы, ямы, ямы... Подполы, кучи кирпича... И одна осиротелая избышка. Видно, что тут было большое село. Что с ним приключилось? Как могло образоваться такое кладбище домов?

Тогда я еще очень мало знала о раскулачивании. Мне предстояло еще много-много узнать, чему все равно не поверишь, пока не увидишь.



Ямы, ямы, ямы... Подполы, кучи кирпича... И одна, осиротелая избышка. Видно, что тут было большое село. Что с ним приключилось? Как могло образоваться такое... кладбище домов?

Тогда я еще очень мало знала о "раскулачивании". Мне предстояло еще много-много узнать... чему, все равно не поверишь, пока не увидишь

Меня заперли в клетушку, где сквозь щели в стене, слушая разговор об «Агитбригадах», я могла восполнить кое-какие пробелы в моем образовании.



Меня заперли в клетушку где, сквозь щели в стене, я, слушая разговор об «Агитбригадах», я могла восполнить кое-какие пробелы в моем образовании.

Евреям в пустыне Бог послал манну небесную; мне — рыбу...

Впрочем, обязанности Бога взяли на себя чайки. Чаек в тех краях много, рыбы — еще больше. Случалось, что птица роняла рыбу в сухие прошлогодние тростники, где я ее находила, иногда свежую, иногда с душком, чаще всего — провяленную. Довольно противно, но съедобно: голод не тетка!



Евреям, в пустыне Бог послал "манну небесную"; мне — рыбу... Впрочем обязанности Бога взяли на себя чайки, Чаек в тех краях много; рыбы — еще больше. Случалось, что птица роняла рыбу в сухие, прошлогодние тростники, где я ее находила. Иногда — свежую; иногда — "с душком"; чаще всего — провяленную. Довольно противно, но... съедобно; голод — не тетка!

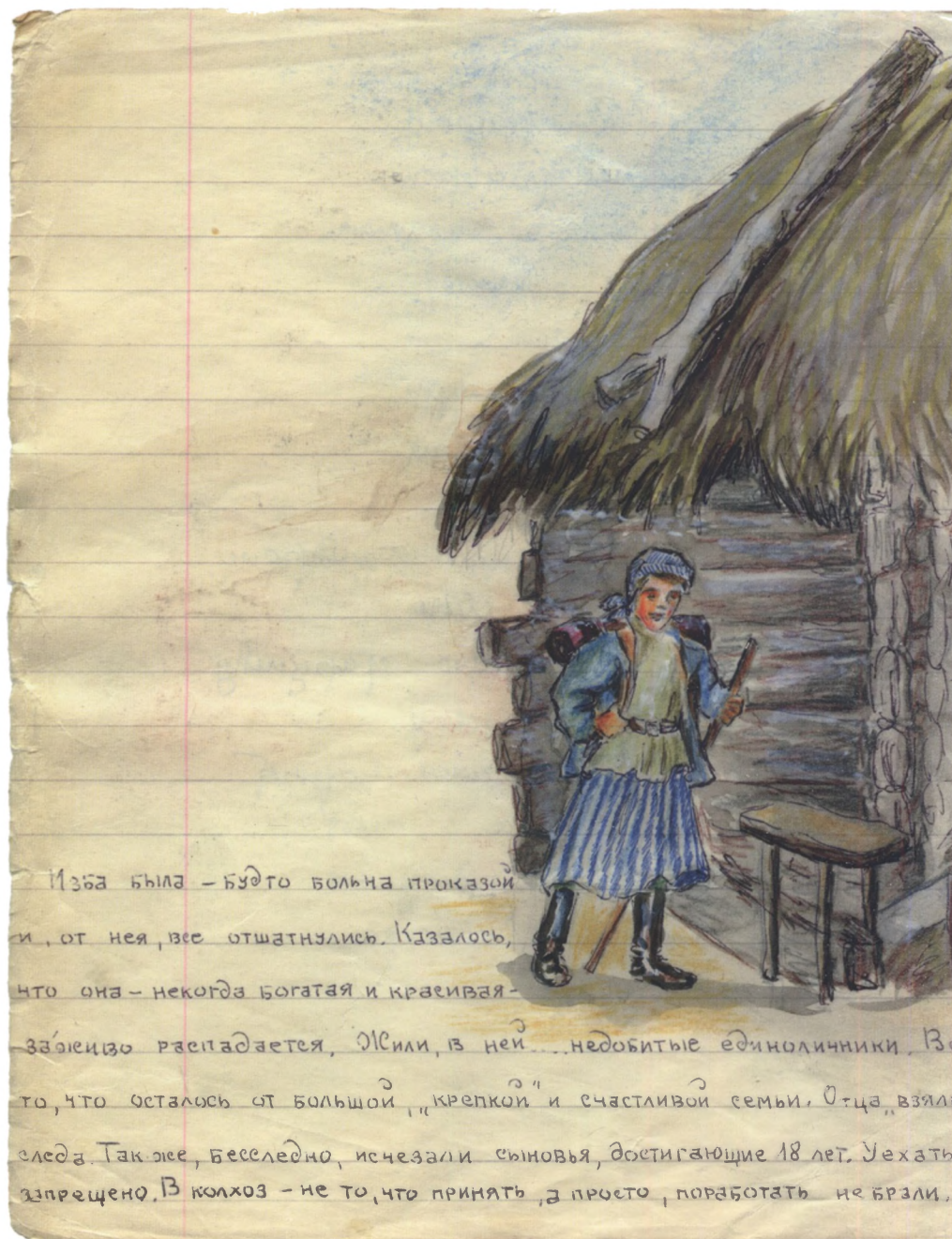
И опять, в который уже раз, удивила меня нелепость того, что я видела!
То, что я приняла за церковь, оказалось... маслозаводом*.

* Это было церковное здание, которое переделали в маслозавод во времена гонений на Церковь в СССР.



И опять - в который уже раз - удивила меня нелепость того, что я видела! То, что я приняла за церковь, оказалось... маслозаводом.

Изба была будто больна проказой. И от нее все отшатнулись. Казалось, что она, некогда богатая и красивая, заживо распадается. Жили в ней недобитые одиночники. Вернее, то, что осталось от большой, крепкой и счастливой семьи. Отца взяли, [и он пропал] без следа. Так же бесследно исчезали сыновья, достигавшие 18 лет. Уехать им запрещено. В колхоз не то что принять, а просто поработать не брали. Даже только за похлебку



Изба была - будто больна проказой
и, от нея, все отшатнулись. Казалось,
что она - некогда богатая и красивая -
заживо распадается. Жили, в ней... недобитые одиночники. Ве-
то, что осталось от большой, "крепкой" и счастливой семьи. Отца, взяли
следа. Так же, бесследно, исчезали сыновья, достигавшие 18 лет. Уехать
запрещено. В колхоз - не то, что принять, а просто, поработать не брали.

и 200 грамм хлеба за 12–14 часов работы. Зато они были обязаны обработать одну десятину за 20 верст, окруженную выпасом. Копали лопатой. Затем скот все вытаптывал. А сдать они обязаны 60 пудов!

Это медленное удушение. Сегодня они пытались пойти на работу. Отказали! И это несмотря на нехватку рабочих рук.



Альбом 4. Часть 2. Рис. 67

только "за похлебку и 200 грам хлеба, за 12-14 часов работы". Зато они
обязаны обработать одну десятину. За 20 верст, окруженную выпасом,
и лопатой. Затем скот все вытаптывал. А "сдать" они обязаны... 60 пудов!
медленное удушение. Сегодня они пытались пойти на работу, отказали!
- несмотря на нехватку рабочих рук.

— Чуть не весь сельсовет, да еще с понятыми, ловили мою Пеструшку!

284



Чуть не весь сельсовет —
да еще с понятыми — ловили
мою Пеструшку!

Альбом 4. Часть 2. Рис. 68

Я сидела на корнях дупливой ветлы и любовалась пейзажем, будто сошедшим с картин Поленова, Серова, Васильева. Мой добрый гений не подсказал мне, что здесь ждет меня горькое разочарование.



Я сидела на корнях дупливой ветлы и любовалась пейзажем, будто сошедшим с картины Поленова, Серова, Васильева. Мой добрый гений не подсказал мне, что здесь ждет меня горькое разочарование.

Меня задержала какая-то плюгавая рыжая комсомолка — из тех, о которых говорят «соплей перешибешь». И по сей день не пойму, что заставило меня ей подчиниться? Может быть, я надеялась, что меня отпустят? Я не знала за собой вины! Ведь садизм Хохрина было невозможно терпеть? Может быть, я надеялась, что мое желание работать в колхозе встретит [понимание]. Может быть, и так! Одно я могу сказать с уверенностью: того, что меня ожидает, я себе не представляла!



Меня задержала какая-то плюгавая, рыжая комсомолка — из тех, о которых говорят «соплей перешибешь». И по сей день не пойму, что заставило меня ей подчиниться? Может быть я надеялась, что меня отпустят? Я не знала за собой вины! Ведь садизм Хохрина было невозможно терпеть? Может быть я надеялась, что мое желание работать в колхозе, встретит [понимание]. Может быть и так! Одно я могу сказать с уверенностью: того, что меня ожидает, я себе не представляла!

Хлопнула дверь. Скрипнул засов. Бесконечно долго звенят ключи. Какой отвратительный, лязгающий звук! Отчего у моих ключей — тогда, когда я отпирала конюшню или амбар, — звон был мелодичный?



Хлопнула дверь. Скрипнул засов. Бесконечно-долго звенят ключи. Какой отвратительный, лязгающий звук! Отчего у моих ключей — тогда, когда я отпирала конюшню или амбар — звон был мелодичный?

288

37. Старые, рваные, грязные штаны... У меня не хватило духу их выбросить. Я их повесила на ветку старой ветлы, а сама села и погрузилась в воспоминания... Штаны были сшиты из домотканого холста, холст выткала Чебанчучка, которая его получила при разделе моего имущества. Ткала она холст [вместе]с мамой зимними вечерами, когда мама собирала к себе в «клуб» деревенских женщин. Было весело! Женщины рассказывали небылицы, а мама их угощала домашними лакомствами. Как были мы веселы, спокойны и счастливы! И вот штаны из того холста я оставляю здесь. Их судьба свершилась. А какая судьба ждет меня?

38. Воспоминания уводили меня все дальше. И вспомнился мне тот вечер, когда мы с певуньей Таней и ее рассудительной сестрой Надей мыкали коноплю — ту коноплю, из которой был соткан холст — тот холст, из которого были сшиты штаны, с которыми я теперь прощаюсь. Как тогда пели девочки молдавскую песню! И я подпевала: «cine vine dela via — Joanel cu rălăile» («Кто с виноградника идет? — Ионел в шляпе»). Но что это? Не в мечтах, не в воспоминаниях я слышу молдавскую речь, а здесь, в сибирской тайге!

39. Мальчик бросил свою вязанку и всплеснул руками: — Мама! Да это наша барышня!
Я даже растерялась и не сразу узнала ее, Пержовскую из Околины, и сына ее, Толика. Пошли расспросы, рассказы... Однако тут мы спохватились, что надо засветло добраться домой. Выяснилось, что ее мужа как отделили тогда от них, так и вестей о нем нет, как и обо всех тех, кого тогда во Флорештах обманом забрали под предлогом отправить вперед, построить дом.

40. Спасибо тебе, Анна Пержовская! Спасибо от измученной голодом, горем и усталостью. Спасибо за то, что ты оказала мне неоценимую услугу, избавившую меня от этой «казни египетской» — вшей!
Сперва она запарила крутым щелоком все мои вещи, включая телогрейку и одеяло, которые затем выжарились в горячей печи. Она вымыла и вычесала мою голову, выкупала меня всю в лохани. Затем я сидела на печи — голая, закутанная в сукман*. А сама Анна стирала, сушила, латала весь мой гардероб. Ловкие руки ее так и мелькали без устали, и не менее неутомимо работал ее язык: она мне успела рассказать о судьбе множества людей из нашего и окрестных сел, очутившихся в деревне Гынгаса. Не знала я, как пригодятся мне все эти байки уже завтра!

* Сукман — суконный кафтан.

41. У меня были самые благие намерения: отдать на станцию найденный мною на дороге разводной ключ. Ведь завтра, 1 мая, предстоит начало работ, а с инструментом в Сибири очень трудно!
Лучше было бы отправить это благое намерение в Ад, где, по утверждению, ими все мостовые вымощены! А в колхозе «Путь Ленина» меня сразу же объявили шпионом, арестовали, чуть не убили и отправили под конвоем в центр — в Боборыкино.

42. Комендант сказал, что «он здесь недавно», и меня будто озарило. Я повторила начальнику НКВД то, что мне сказала Анна Пержовская, что меня с семьей сестры сослали в деревню Малава, направили на лесоповал, зятя там деревом убило, сестра умерла при родах. А я в вещах зятя хожу.

— Малава... Это в каком районе?
Я растерялась. И невольно опустила глаза. Но что это? Под ногами у меня бумажка — конверт, сложенный треугольничком. Бессознательно читаю адрес: «Иоган Штраус, деревня Ювала Кожушенского района».
...отчеканиваю, глядя ему в глаза:
— Малава Кожушинского района!

Комендант кивает головой, подтверждая.
Я будто невзначай роняю шапку и, наклоняясь, подымаю вместе с шапкой треугольничек письма.

43. До угла я дошла спокойно, а затем как рванула, подхватив юбку, и так мчалась, голодная и усталая, из последних сил. Проскочила, не замедляя аллюра, Малаву и продолжала так почти до заката солнца... И мне все время казалось, что меня догоняет белый конь, запряженный в бричку, — тот белый конь, который привез начальника НКВД, того самого, который «на семь пядей сквозь землю видит» и остался в дураках!

44. Как я любила ездить с папой на охоту. Охота... И здесь в Сибири кто-то охотится: то тут, то там слышны были выстрелы. Стой! Здесь где-то есть дичь... А я так голодна! Что если найду? Тут я еще раз, еще более пристально и внимательно оглядела кустарник, сухой тростник... Вдруг: «Чик-чик-чик!» — зацокотала сорока, вспорхнув на куст.

45. «Чик-чик-чик!» — застрекотала сорока. Отчего она всполошилась, но не улетает? Ага! Вот перышко — оно прилетело по ветру. Так! Значит, оно прилетело оттуда... Вот еще два пера... Ура! Вот лежит селезень. Его уже начала клевать сорока. Но дудки! Селезень мой!
Инстинкт, тот самый зов предков, помог мне безошибочно

бочно. Не знаю, как поехали мои отдаленные предки свою добычу, но я съела его сырым, и к тому же с костями и перьями. Только маховые перья и клюв я не осилила, остальное — все!

46.

Я не видела, как ухаживают за общественным стадом, зато своих коров любят и лелеют, но коровников все равно не строят, а содержат их в стойках. Стайки — что-то вроде шалаша из обполов*, прислоненных к избе.

Чистка стойки — работа трудоемкая, но неплохо оплачиваемая. Всю зиму из-под коровы навоза не убирают. К весне корова чуть не на крыше. Тогда стойку разбирают, и навоз вывозят на огородные гряды.

То, что Геракл сумел вычистить авгиевы конюшни, было ему засчитано как один из двенадцати бессмертных подвигов. Сходства с Гераклом у меня не было (по крайней мере тогда), но в ту весну 1942 года я вычистила немало подобных «авгиевых конюшен».

* Обполо — пиломатериал, полученный из боковой части бревна. Идет на изготовление строительных лесов, опалубки, крепежного материала.

47.

Это не гробы. Это огуречники. Свежий навоз, сложенный в форме гроба, нагревается. В нем делают лунки, наполняя их землей, и туда [сажают] огурцы и даже помидоры.

На одном месте я работала дня два-три. Затем шла дальше. Я понимала, что вид у меня аховый: юбка мне мешала, а повязывать платок я так и не научилась: женский платок на мне больше напоминал повязку средневекового флибустьера или головной убор араба.

По мере приближения к Новосибирску города были переполнены беженцами. Жажда наживы охватила всех. Люди предпочитали не делать вообще огуречников и не чистить стойки. Ведь картошку можно продать по баснословной цене! А рабочему можно сунуть несколько рублей. Моя ближайшая цель была отойти как можно дальше от Новосибирска! Туда, где меньше беженцев, спекулянтов и энкаведистов!

48.

Неподалеку от Новосибирска я помогла женщине распилить на дрова большую колоду, и она дала мне вместо еды задохнувшейся рыбы, которой она кормила кур. Чтобы сварить похлебку, я зашла в какую-то избу — почти без крыши, с окнами, заткнутыми соломой на месте выбитых стекол. В комнате было трое: старик, козел и петух.

Похож был Пророк и на Распутина, и на Мельника из «Русалки», и на Сумасшедшего Архангела из «Принца

и Нищего». Топая ногами и размахивая руками, он вещал: — Погибала Русь от врагов: с востока — от татар, с севера — от немца, с запада — от ляхов, а Наполеоний, с двенадцать языков, родом с юга и перед походом на Русь к фараону Египетскому за благословением ездил. Всех их Русь с Божией помощью осилила! Теперь — хуже! Сам Сатана ополчился: он вынул душу, образ Божий, из человека и натравил брата на брата!

...Я почувствовала, что в словах этого «пророка» кроется опасность, причем не только для того, кто говорит, но и для того, кто слушает. Поблагодарив глухого «пророка» за гостеприимство, я выскочила с дымящимся кофейником в руках наружу, так и не доварив рыбное месиво.

49.

Суша-Вершина — чувашская деревенька. Кругом дебри, в которых еще лежит снег. Чувашей насильственно переселили с Волги.

Дом, в который я вошла, поразил меня: комната большая, с претензией на достаток, но в этой же комнате, кроме хозяев, шестеро квартирантов и два теленка! Духота, вонь... — Шочешь паня? Мой шена топил паня, — спросил старик, страдающий от невероятной эмфиземы легких. Какую пани утопила его жена, испугалась я. Оказалось — баня. Какой бродяга от бани откажется?

50.

Баня врыта наполовину в землю и окружена предбанником в виде полукруглого плетня под открытым небом. Я раздевалась в загородке возле бани прямо на снегу. Вдруг дверь распахнулась, в клубах пара выскочила старуха — абсолютно голая — и, размахивая деревянной бадьей, понеслась по снегу к колодцу. На ней — ничего, кроме волос... Но на этом сходство с леди Годивой* оканчивается.

* В Англии в 1040 году лорд Леофрик из Ковентри наложил большие налоги на жителей. Его жена, леди Годива, была против этого. Он обещал снять налоги, если она проедет верхом на лошади через весь город без одежды. Но ее распущенные волосы были настолько длинные, что закрыли ее всю.

51.

Я робко вползла в эту баню по-черному. В густом тумане и в адской духоте смутно угадывались какие-то фигуры, чем-то напоминающие ведьм на Брокене. В этой Вальпургиевой Ночи я успела только разобрать лохань, а в ней — два или три обалдевших ребятенка и несколько мегер вокруг. Вдруг эти мегеры ринулись ко мне, схватили, поволокли на пол и начали мять, царапать и чем-то хлестать. Собрав все силы, я вырвалась, ринулась на поверхность и, подхватив свою одежду, выскочила прямо на улицу. Право же, мне в этих банях не везет!

52

По полю скакал... Не знаю, кто это? Больше всего этот всадник походил на опричника! Только к седлу была приторочена не собачья голова и не метла, а связка котомок. В чем дело? Чем провинились эти истощенные дети и старики, собиравшие колоски?

В деревне мне объяснили:

— На трудодень — ничего не дают. А собирая колоски, могут и 10 килограмм насобирать!

— Так колоски все равно пропадут!

— Пропадут. Но если позволить собирать колоски, то кто на работу пойдет? А может быть, нарочно будут оставлять колоски.

53

Тощий, косматый, вываленный в навозе скот и скошенный и оставшийся в поле хлеб... Несчастные коровы съели всю гнилую солому с крыш и полегший неубранный хлеб. Люди, поедающие дранки из картофельной гнили, и тут же рядом «опричник» — верховой, здоровый мужчина — хлещет нагайкой детей и старух, собирающих колоски, и отбирает у них то, что они подобрали в грязи. Удивляться ли бесхозяйственности? Возмущаться при виде подобной жестокости? Не знаю, не знаю... По нынешний день не знаю.

54

Вот цепочкой дети рассыпались вдоль неубранного пшеничного поля. Учитель что-то объясняет. Вот они садятся на корточки... То тут, то там кружится дымок. Вот вспыхнуло неяркое в солнечном свете пламя... Наконец я понимаю: эти истощенные, измученные голодом дети сжигают хлеб.

55

Я стояла, как жена Лотова, обращенная в соляной столп... Много объяснений я слушала я; оправдания — не нашла. Говорили: перезимовавшая в поле пшеница вредна. Да, если ее не отмыть от плесени и не просушить. Говорили: надо освободить место для ярового посева. Надо! Но начать вспашку можно со сжатых полей, а эту пшеницу — отдать людям и использовать на корм. Чаще всего говорили: только голод заставляет людей работать. Это не только глупо, но и преступно. К сожалению, это было объявлено аксиомой!

56

Под дождем стоял и плакал работника лет восьми: у него не хватало силенок, чтобы поднять и очистить борону. Я помогла ему и сказала:

— Ступай домой: промокшая шлея натрет коням холку!

Он хлопнул носом и жалобно сказал:

— Нельзя! Ись не дадут... бригадир так велел...

Опять все тот же Царь Голод!

57

Корова — дойная. Она явно не приспособлена к тому, чтобы заменить трактора, оставшиеся без горючего; женщина, ломающая руки, в отчаянии при мысли о том, что пропадет молоко, которым можно забелить крапиву и лебеду — единственное питание тех, кто должен был прокормить армию; девочка лет 10–11, подоткнувши юбочку, храбро пытается удержать в борозде плуг... Да! Досталось русским женщинам в те годы. И это — в глубоком тылу! В тысячах верст от фронта!

О Русь! «Ты и убогая, ты и обильная...»*

Но больше всего — ...нелепая!

* «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всеильная, ма-тушка Русь...» Из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

58.

Я — в деревне Кочки. Это кусочек Украины. Село основано выходцами с Украины еще во второй половине XIX века. Аким Бедрач, у которого я работаю, видно, был когда-то зажиточным хозяином, сумевшим устоять на ногах, когда становление колхозов сметало и уничтожало все, что свидетельствовало о труде настоящих хозяев... Старшие сыновья на фронте. Жена больна. Аким работает в колхозной кузнице: делает и затачивает ножницы для стрижки овец. Я для них просто находка! И я рада хоть немного пожить оседлой жизнью. Копаю от темна до темна и работаю, как говорится, на совесть. Поэтому мне предоставили самый тяжелый участок — около озера, а другой, на изволок, решено вспахать сохой, которая, к счастью, оставалась у Акима с дедовских времен на чердаке. Вся семья впряглась в нее: старуха, сноха, обе замужних дочери и старшая внучка, внук — мальчишка лет десяти — вел соху, сам же Бедрач впрягся выносным. И таким «фараоновским способом» огород был вспахан.

59. (из машинописного варианта)

Было смешно и стыдно наблюдать, как старик Аким, бросая работу и, спрятавшись за плетень, выглядывал оттуда, как заяц. Откуда могла я догадаться, что он «совершает преступление», помогая женщинам тянуть соху?!

60.

И в дождь я без дела не была: крошила самосад. Работа очень неприятная, но я была рада отблагодарить стариков за их человеческое ко мне отношение. Мастерская была в бане.

61.

За какую только работу я не бралась!

Южнее Новосибирска начинаются степи, и в местностях, удаленных от железной дороги, с топливом вопрос стоит остро: ни дров, ни угля и в помине нет. Солома? Нет, солома сгниет или ее сожгут, но своим колхозникам соломы колхоз не даст. Единственное топливо — это кизяки. На изготовление этого ароматного топлива идет любой навоз, но преимущественно коровий. Сначала навоз надо вымесить ногами до однородной массы, а затем, напрессовав его в мокрую форму — ящик без дна, — вытряхнуть сразу пару кирпичей-кизяков. Сушить их надо, переворачивая, а затем сложить в пирамиды. Для кизяков было еще холодновато, но... любая работа давала возможность честно заработать если не хлеб, то картошку.

62.

Болота, озера, речки... Вода, вода, вода. И водоплавающая дичь. Непуганая. И как много! Впервые видела я лебедей, шагающих, и притом очень неуклюже, по земле. Но это не разрешало вопроса пропитания! Небо. Вода. Зелень. Простор! И... одиночество. Нет людей — нет работы.

63.

И вот я снова шагаю по Сибири. Отнюдь не по моему желанию, но по моей вине... Я не сумела отмолчаться, не сумела и соврать, сочинив что-либо более или менее правдоподобное о себе. И тех нескольких признаний, что сорвалось с моего языка, было достаточно, чтобы Бедрачи попросили меня «идти дальше».

Ямы, ямы, ямы... Подполы, кучи кирпича... И одна осиротелая избушка. Видно, что тут было большое село. Что с ним приключилось? Как могло образоваться такое кладбище домов?

Тогда я еще очень мало знала о раскулачивании. Мне предстояло еще много-много узнать, чему все равно не поверишь, пока не увидишь.

64. (Из машинописного варианта)

Меня заперли в клетушку, где сквозь щели в стене, слушая разговор об «Агитбригадах», я могла восполнить кое-какие пробелы в моем образовании.

Куда-то в полевые станы выезжала агитбригада — для читки газет. Им выписывали продукты, выдавали подъемные...

Двое суток продержали меня в этом чулане. Два раза в день водили в лужники, но ни разу не накормили и даже не дали напиток. Я стучала в дверь, но мне говорили: — Как только нас соединят со Славгородом, все решится!

Когда Славгород наконец отозвался, все решилось.

Разговор был недолог:

— Задержали человека без документов. Да, старая...

Да, баба... Если баба, то гнать в шею? Хорошо!

65.

Евреям в пустыне Бог послал манну небесную; мне — рыбу...

Впрочем, обязанности Бога взяли на себя чайки. Чаек в тех краях много, рыбы — еще больше. Случалось, что птица роняла рыбу в сухие прошлогодние тростники, где я ее находила, иногда свежую, иногда с душком, чаще всего — провяленную. Довольно противно, но съедобно: голод не тетка!

66.

И опять, в который уже раз, удивила меня нелепость того, что я видела! То, что я приняла за церковь, оказалось... маслозаводом*.

Местная женщина, из Соленого Озера, рассказала, что прежде тут проходил ямской тракт на Камень-на-Оби, есть чугунка на Барнаул, а в ту сторону — Кулунда: «Было время — сколько скота здесь люди держали! А как стали колхозы, то понастроили маслозаводы эти самые — молоко перерабатывать. Поначалу хорошо было: масло, сыры... Из обраты казеин делали. Да только затем все прахом пошло: то сено не убрали — оно и погнило, а как зима — скот и отошал. А по весне, почитай, половина осталась».

Многое я мотала себе на ус и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики! А это значит — никакой надежды на улучшение. Какая грустная жизнь на фоне ликующей природы, когда под ногами величайшее богатство — плодороднейшая земля!

* Это было церковное здание, которое переделали в маслозавод во времена гонений на Церковь в СССР.

67.

Изба была будто больна проказой. И от нее все отшатнулись. Казалось, что она, некогда богатая и красивая, живо распадается. Жили в ней недобитые одиночники. Вернее, то, что осталось от большой, крепкой и счастливой семьи. Отца взяли, и он пропал без следа. Так же бесследно исчезли сыновья, достигавшие 18 лет. Уехать им запрещено. В колхоз не то что принять, а просто поработать не брали. Даже только за похлебку и 200 грамм хлеба за 12–14 часов работы. Зато они были обязаны обработать одну десятину за 20 верст, окруженную выпасом. Копали лопатой. Затем скот все вытапывал. А сдать они обязаны 60 пудов! Это медленное удушение. Сегодня они пытались пойти на работу. Отказали! И это несмотря на нехватку рабочих рук.

68.

— Чуть не весь сельсовет, да еще с понятыми, ловили мою Пеструшку! — рассказывала мне потом в нарымском КПЗ старуха Логинова о раскулачивании в их деревне.

— Давай курицу! — говорят.

— Берите — говорю, что тут скажешь?

И пошла тут потеха! Семеро ражих мужиков гоняются по бурьянам за одной курицей! Испугалась Надя, за мою юбку уцепилась.

— Мама! — кричит.

Она меня после смерти матери «маманей» звать стала, видно, легче дитяте на свете жить, если это слово хоть кому сказать может.

— Мама, спасай Пеструшку!

— Не плачь, дитяtko, не плачь! Пеструшку все равно кормить нечем: ей там, в сельсовете, лучше будет.

Успокоилась девочка, смотрит, да как засмеется! Гляжу — и впрямь от смеха не удержаться: бурьян вырос густой да высокий. Канав, рытвин не видать. Пеструшка — поджарая, проворная — никак им в руки не дается! Мужики спотыкаются, падают, а курица, как змей, среди них вьется! Однако поймали. Не стало и яичка, чтобы крапиву толченую сдобрить.

69.

Я сидела на корнях дуплистой ветлы и любовалась пейзажем, будто сошедшим с картин Поленова, Серова, Васильева. Мой добрый гений не подсказал мне, что здесь ждет меня горькое разочарование.

70. (Из машинописного варианта)

Меня задержала какая-то плюгавая рыжая комсомолка — из тех, о которых говорят «соплей перешибешь». И по сей день не пойму, что заставило меня ей подчиниться? Может быть, я надеялась, что меня отпустят? Я не знала за собой вины! Ведь садизм Хохрина было невозможно терпеть? Может быть, я надеялась, что мое желанье работать в колхозе встретит понимание. Может быть, и так! Одно я могу сказать с уверенностью: того, что меня ожидает, я себе не представляла!

71.

Хлопнула дверь. Скрипнул засов. Бесконечно долго звенят ключи. Какой отвратительный, лязгающий звук! Отчего у моих ключей — тогда, когда я отпирала конюшню или амбар, — звон был мелодичный?

Когда меня доставили в Красноозерск (большое село, кажется районный центр), допросили, я ничего не скрыла. Кто я, каким образом очутилась в нарымской ссылке и почему ее покинула; каким путем шла и где побывала... Мне было предъявлено обвинение, будто бы меня ввезли из Румынии через Турцию самолетом, я была заброшена сюда и прыгнула с парашютом в Кулундинской степи. И вот за «опасным шпионом» захлопнулась дверь.

Ночью привезли меня в Карасук. Втолкнули в какое-то помещение, которое могло быть как тюрьмой, так и багажным отделением... На третьи сутки мне дали ломот хлеба и кружку воды. В тот же день со спецконвоем посадили в поезд и повезли.

Альбом 5. Часть 1

август 1942 — февраль 1943

292 Побег Евфросинии из ссылки закончился арестом, который круто изменил ее судьбу. С 25 августа 1942 года ее «университетами» стали тюрьмы. Потом она узнала, что такое этап, лагерь, ее дважды судили, пока она не попала в Норильск...

В КПЗ районного центра Краснозерское ее допросили и обвинили в шпионаже в пользу Германии. Поездом ее этапировали в Барнаул Алтайского края. Черный воронок привез ее в тюрьму, несколько часов она стояла во дворе этой тюрьмы. Затем ее неделю держали в одиночной камере Военного трибунала, откуда перевели в общую камеру Внутренней тюрьмы НКВД.

Ночные допросы, при которых днем спать не давали, — эта пытка называлась «конвейер». Дело вели три следователя, которые применяли к ней разную тактику допросов и психологической обработки. После отказа в признании своей «вины» в шпионаже эта версия следствия лопнула, и Евфросинию пришлось отправить туда, откуда она бежала из ссылки.

Она прошла пересылочную тюрьму г. Новосибирска. Осенью 1942 года ее доставили под конвоем на теплоход «Ворошилов». Во время этапа по реке Оби на ее глазах от голода и дизентерии гибли дети ссыльных азербайджанок.

Всю зиму 1942 года Евфросиния провела в неотопливаемой камере предварительного заключения в селе Молчаново Нарымского округа. На допросах ее обвиняли в «антисоветской пропаганде», в «критике распоряжений начальства»... У прокурора она ознакомилась с материалом следствия, построенном на доносах Хохрина, и отказалась подписаться под измышлениями следователей. Начальник местного НКВД пытался угрозами принудить ее подписать материалы дела, но запугать Евфросинию ему не удалось, а попытка избить ее у него сорвалась, она смогла защитить себя.

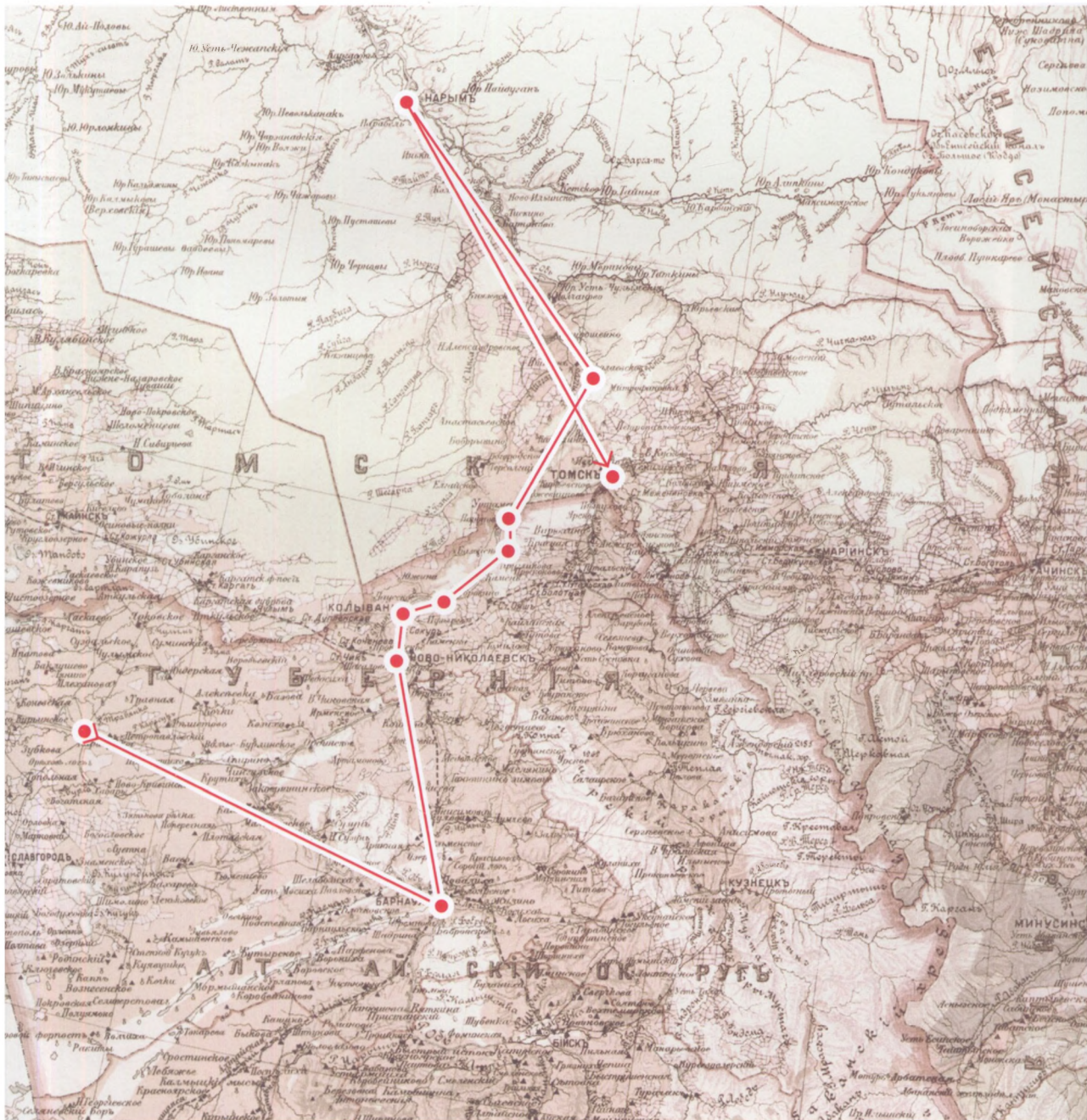
Евфросинии были предъявлены обвинения по статье 58-10, части 2-й («клеветала на жизнь трудящихся в СССР») и по статье 82, части 2-й («совершила побег из места обязательного поселения»). Выездная сессия судебной коллегии

► Арест Евфросинии, этап по следственным тюрьмам и суд: Краснозерск (Краснозерское), Карасук, Барнаул, Новосибирск, вверх по реке Оби, Молчаново Нарымского округа, Томск.

Нанесено на карту Томской губернии из «Атласа азиатской России», 1914 г., Переселенческого управления землеустройства и земледелия.

Нарымского окружного суда Новосибирской области вынесла ей приговор — расстрел. Ей было предложено написать прошение о помиловании — это было средством выбить у нее признание своей «вины». Она отказалась просить помилования. 24 февраля 1943 года расстрельный приговор заменили 10 годами исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и поражением в гражданских правах на 5 лет.

Длительным пешим этапом осужденных довели в Томск.



Удивительное дело! Тюрьма № 1* находится в такой красивой местности, где, казалось бы, больше пристало находиться дому отдыха или санаторию. Но там меня не приняли, вернули в Барнаул. Куда? В военный трибунал...

* Тюрьма № 1 (Барнаул) — с 1925 года основная тюрьма края — разместились в зданиях Богородице-Казанского женского монастыря в районе Булыгинской заимки. Последняя игумения Мариамна (Фролова) в 1938 году была расстреляна.



Альбом 5. Часть 1. Рис. 1

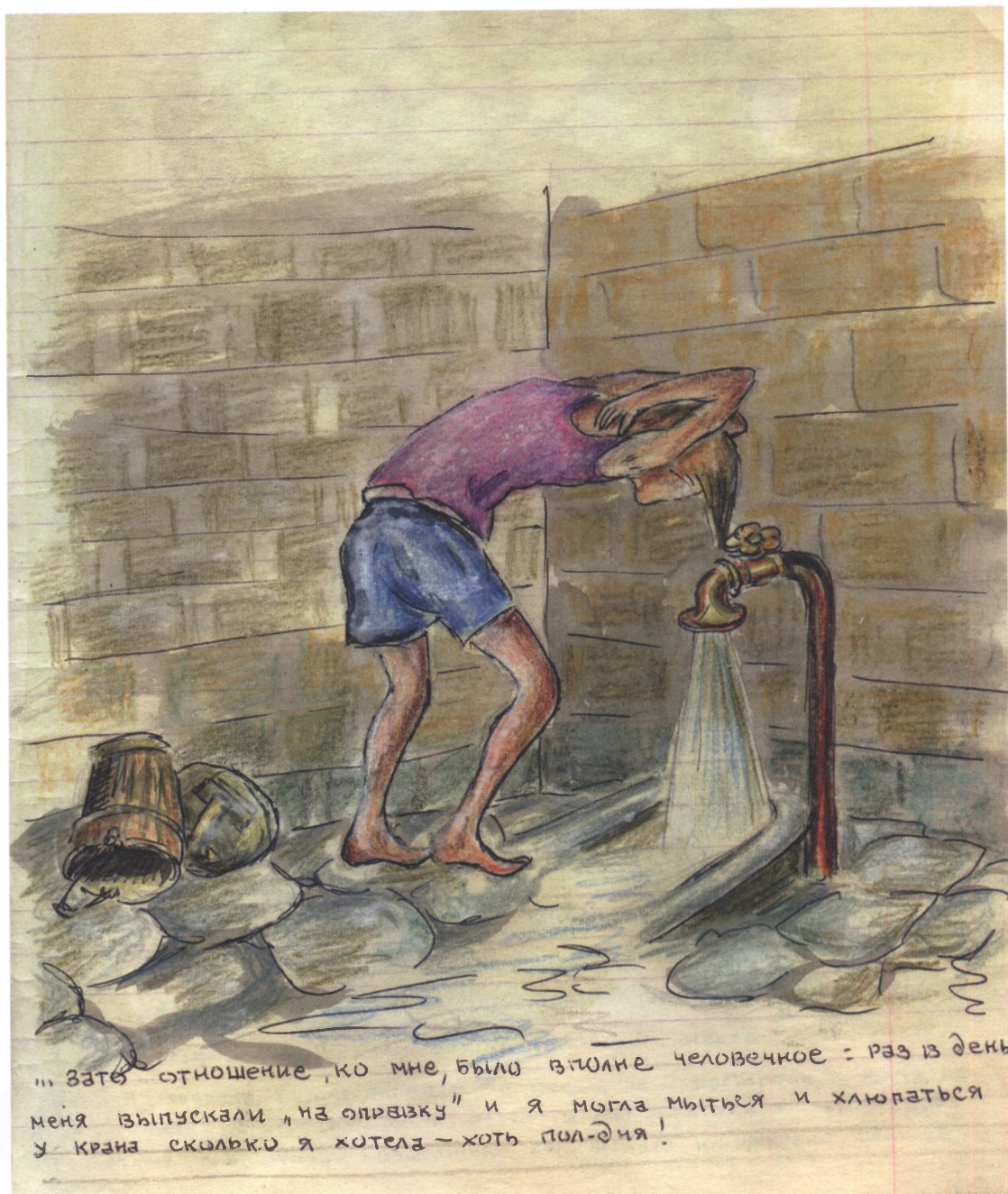
Удивительное дело! Тюрьма № 1 — находится в такой красивой местности, где, казалось бы, больше пристало находиться дому отдыха или санаторию. Но... Там меня не приняли, вернули в Барнаул. Куда? В военный трибунал...

Зачем меня поместили в одиночку, в полной темноте (свет вспыхивал секунды на 2-3 и вновь [гас]), где мебели была только железная кровать (без тюфяка и вообще без ничего) и параша? Не знаю. Нервы у меня здоровые. Ни темнота, ни одиночество меня не угнетали. Наоборот: я бы предпочла полное одиночество обществу крыс. Их было довольно много, но агрессивными они не были. Спать на железных полосах неудобно, но было еще тепло, даже жарко.



Зачем меня поместили в одиночку, в полной темноте (свет вспыхивал секунды на 2-3 и вновь тухнул), где "мебели" было только железная кровать (без тюфяка и, вообще, без ничего) и параша? Не знаю... Нервы у меня здоровые, ни темнота, ни одиночество меня не угнетали. Наоборот: я бы предпочла полное одиночество — обществу крыс. Их было довольно много, но агрессивными они не были. Спать на железных полосах — неудобно, но было еще тепло, даже жарко.

Зато отношение ко мне было вполне человеческое: раз в день меня выпускали на opravку, и я могла мыться и хлюпаться у крана, сколько я хотела — хоть полдня!



Что ни день, то смерть одного за другим всех ее детей: «...сегодня умерла Берта... сегодня умер Кейтук... сегодня Эрн...» Страшно было видеть ее отчаяние. Невольно вспоминался миф о Ниобее — безжалостные боги убили одного за другим всех ее детей.

Ниобея бросила вызов богам, а эта женщина насыпала в чулок немного ячменя, чтобы накормить детей, и вот: мать в тюрьме, а дети, больные скарлатиной, выброшены, как щенята, и умирают один за другим.



Что ни день — то смерть одного за другим всех ее детей: „...сегодня умерла Берта...“ „сегодня умер Кейтук... сегодня — Эрн...“ Страшно было видеть ее отчаяние.... Невольно вспоминался миф о Ниобее — Безжалостные боги убили, одного за другим всех ее детей.

Ниобея бросила вызов богам, а эта женщина.... насыпала, в чулок немного ячменя, чтобы накормить детей и вот: мать — в тюрьме, а дети, больные скарлатиной — выброшены, как щенята и умирают один за другим...

Монашки

Я думала, что в этой Внутренней тюрьме содержат действительно опасных, политических преступников... И вот они, эти опасные преступники. Прежде всего трое старух. Две — бывшие монашки. Одна сидит за то, что делала стеганные одеяла. Вторая — за то, что завела белую козу. Третья — колхозница. Как-то в дождь она пожаловалась на радикулит и сказала, что в первую войну, когда у нее взяли мужа, то она, как солдатка, имела льготы, а теперь, когда на фронте все четверо ее сыновей, ее, больную, гонят на работу. На другой день ее забрали и вот 8 месяцев допытываются, кто ее научил агитировать против Сталина и за Николая Второго.

298



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 5

Я думала, что в этой „Внутренней“ тюрьме содержат действительно опасных, политических преступников... И вот они, эти „опасные“ преступники. Прежде всего трое старух. Две бывшие монашки. Одна сидит за то, что делала стеганные одеяла. Вторая — за то, что завела... белую козу. Третья — колхозница. Как-то, в дождь, она пожаловалась на... радикулит и сказала, что в „первую“ войну, когда у нее взяли мужа, то она, как солдатка, имела льготы, а теперь, когда на фронте все четверо ее сыновей, ее, больную, гонят на работу. На другой день ее забрали и вот 8 месяцев допытываются, кто ее научил агитировать „против Сталина“ и „за Николая II“.

Гейнша

— Девочки, мои бедные девочки! — вздыхала эта немка из Казахстана.

Эта убитая горем женщина чем-то напоминала чахоточную обезьянку шарманщика. Оба ее сына — Петер, тракторист, и Якоб, учитель, — были ранены. Петер — в грудь. Из госпиталя его отправили домой, где он и умер. Якоб, раненный в колено, вернулся домой, где и был арестован за пораженчество. Мать, из последних остатков собрала передачу и понесла в Славгород. Узнав, что его уже угнали в этап, она отдала передачу солдату, сказав: «Мой сын тоже солдат. И у тебя есть мать. Съешь это с товарищами за его здоровье!» — и ее арестовали за то, что она инсинуировала, будто солдаты голодны... И она умирает.



— Девочки, мои бедные девочки! — вздыхала эта немка из Казахстана. Эта, убитая горем женщина, чем-то напоминала чахоточную обезьянку шарманщика. Оба ее сына — Петер, тракторист и Якоб, учитель — были ранены. Петер — в грудь. Из госпиталя его отправили домой, где он и умер. Якоб, раненный, в колено, вернулся домой... где и был арестован за «пораженчество». Мать, из последних остатков, собрала «передачу» и понесла в Славгород. Узнав, что его уже угнали в этап, она отдала «передачу» солдату, сказав: «Мой сын — тоже солдат... И у тебя есть мать... съешь это, с товарищами — за его здоровье!»... и ее арестовали за то, что она инсинуировала, будто солдаты голодны... И она умирает.

Прогулка. Это 10 минут воздуха. Солнца. Голубого неба. Это так мало! И так дорого... Гейнц ходить не могла, но смотреть на ее тоскующие глаза и не понять ее мольбы — я не могла. Поэтому я, подхватив ее, как ребенка, на руки, вынесла ее из подземелья. Так и повелось: каждый день я ее выносила и клала под стеночку — на единственное местечко, куда добирался через десятиаршинную кирпичную стену прогулочного дворика [луч солнца]. Возле будки часового висели часы, тщательно прикрытые дверью будки.



"Прогулка". Это — 10 минут воздуха. Солнца. Голубого неба. Это — так мало! И... так дорого... Гейнц ходить не могла, но смотреть на ее тоскующие глаза и не понять ее мольбы — я не могла. Поэтому я, подхватив ее, как ребенка, на руки и вынесла ее из подземелья. Так и повелось: каждый день я ее выносила и клала под стеночку — на единственное местечко, куда добирался, через десятиаршинную кирпичную стену прогулочного дворика. Возле будки часового висели часы... тщательно прикрытые дверью будки.

Странное впечатление производят эти фантастические фигурки, кружащиеся по дну каменного колодца. И это называется прогулкой! И эту прогулку ждут с нетерпением целые сутки. Десять минут! Можно увидеть небо, хотя вверх смотреть было запрещено под страхом лишения права на прогулку. Вниз смотреть!



Странное впечатление производят эти фантастические фигуры, кружащиеся по дну каменного колодца. И это называется прогулкой! И эту "прогулку" ждут, с нетерпением целые сутки. Десять минут! Можно увидеть небо, хотя вверх смотреть было запрещено, под страхом лишения права на прогулку. Вниз смотри!

Вера и Тома

Я видала людей голодных, истощенных. Я сама была истощена. Страшно было смотреть на умирающих от истощения старух монашенок или на Гейншу. Но монашки были стары, а у Гейнши, очевидно, активизировался туберкулез... Но эти девочки, Тома и Вера? Разве это преступление — покинуть блокированный Ленинград и с опасностью для жизни воспользоваться Дорогой жизни, чтобы попасть в объятия Смерти здесь, в тюрьме? Их вины я тогда не могла понять. Значительно позже до меня дошло, как опасны были их рассказы. И какую промывку мозгов должны были пройти все покинувшие в организованном порядке город ленинградцы!

Вера и Тома.



Я видала людей голодных, истощенных. Я сама была истощена. Страшно было смотреть на умирающих от истощения, старух-монашенок или на Гейншу. Но... монашки были стары, а у Гейнши, очевидно активизировался туберкулез... Но эти девочки - Тома и Вера? Разве это преступление покинуть блокированный Ленинград и, с опасностью для жизни, воспользоваться „Дорогой жизни“... что бы попасть в объятия Смерти здесь, в тюрьме? Их вины я тогда не могла понять... Значительно позже до меня „дошло“, как опасны были их рассказы. И какую „промывку мозгов“ должны были пройти все, покинувшие, в организованном порядке, ленинградцы.

«Он знаком остановил своих спутников и направился к нам. Боже мой! Что тут с нами стало! Мы взвыли от ужаса, вцепились друг в дружку и повалились на землю: они нас изнасилуют и будут пытаться, отрезая палец за пальцем.

— Зачем плачете, девочки? Вам будет хорошо. Не плачайте!

Но мы еще пуще заревели:

— Хотим к маме!

— В Ленинграде плохо будет.

Однако [он] объяснил нам дорогу и дал шоколаду и лимонное печенье...»



Он, знаком, остановил своих спутников и направился к нам. Боже мой! Что тут с нами стало! Мы взвыли от ужаса, вцепились друг в дружку и повалились на землю: «они нас изнасилуют и будут пытаться, отрезая палец за пальцем» — «Зачем плачете, девочки? Вам будет хорошо. Не плачайте!» Но мы еще пуще заревели: «Хотим к маме!» — «В Ленинграде плохо будет...» Однако объяснил нам дорогу и дал шоколаду и лимонное печенье...»

— «Подпиши! И сможешь съесть все это и пойти спать!» — говорил он. Я отказывалась. Тогда он не спеша на моих глазах съедал котлеты, хлеб, пил сладкий чай... Сегодня я не выдержала... Я все подписала! О! Зачем я это сделала! — И Тамара Васильева горько плакала. — Ведь я не виновата!

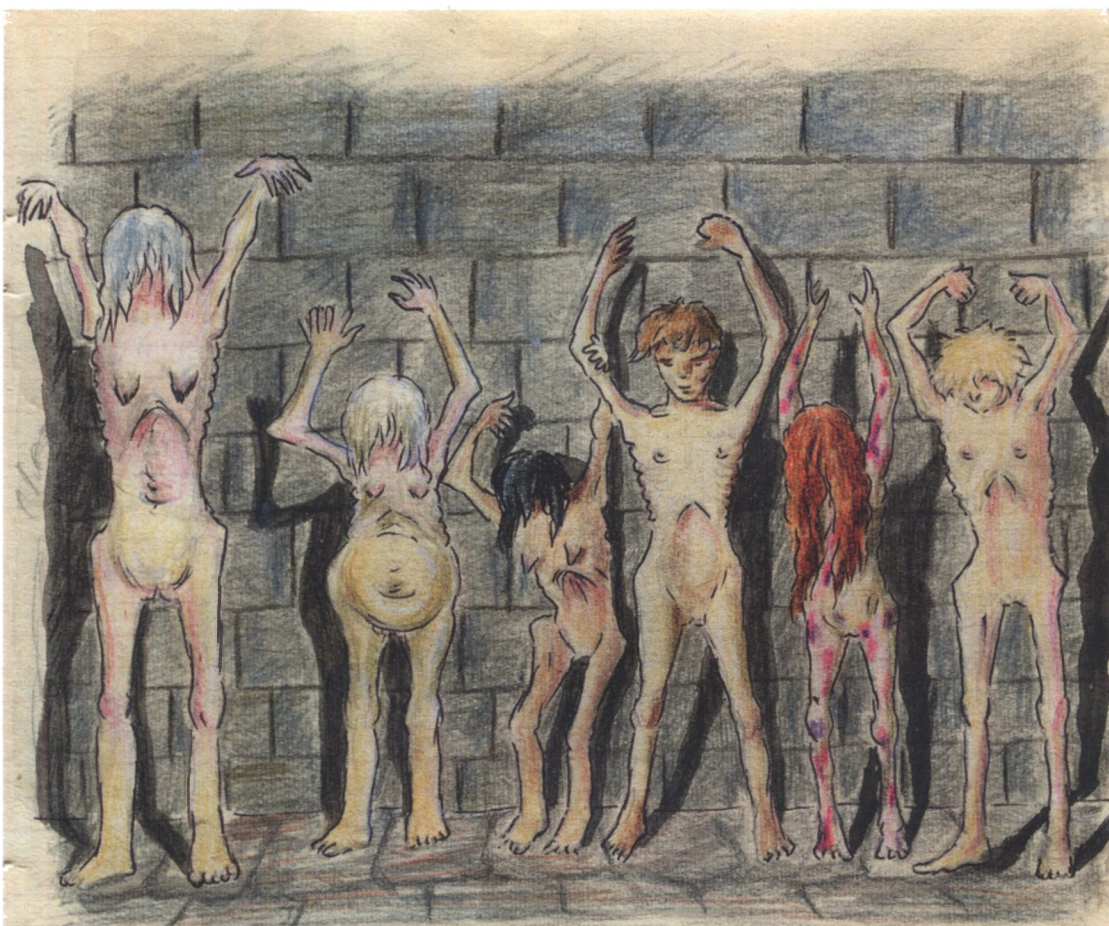
Я тогда не знала, что тот, кто обвинен, виновен он или нет, все равно будет осужден. Но за сознавшегося преступника следователь получает поощрение и премию.

Следователь Лыхин мог торжествовать.



«Подпиши! И сможешь съесть все это и пойти спать!» говорил он. Я отказывалась. Тогда он, не спеша, на моих глазах съедал котлеты, хлеб, пил сладкий чай... Сегодня я не выдержала... Я всё подписала! О! Зачем я это сделала!» и Тамара Васильева горько плакала... «Ведь я не виновата!» Я тогда не знала, что тот, кто обвинен — виновен он или нет — всё равно будет осужден. Но за сознавшегося «преступника» следователь получает поощрение и премию. Следователь Лыхин мог торжествовать.

Ночной шмон — самая унижительная и часто повторяющаяся процедура. «Вставай! Раздеться догола! Руки вверх! Выходи в коридор! Стройся у стены!» Голые, мы особенно страшны. «Среди слепых одноглазый — царь», и я рядом с ними — еще герой. Пока... Волосы расплетены. Чего они ищут? Что еще можно у нас отобрать? Однако можно: выдергивают все завязки из юбок монашек и из наших трусов.



Ночной шмон — самая унижительная и часто повторяющаяся процедура. «Вставай! Раздеться до-гола! Руки вверх! Выходи в коридор! Стройся у стены!» Голые — мы особенно страшны. «Среди слепых, одноглазый — царь» и я, рядом с ними — ещё герой. Пока... Волосы расплетены. Чего они ищут? Что ещё можно, у нас, отобрать? Однако — можно: выдергивают все завязки из юбок монашек и из наших трусов.

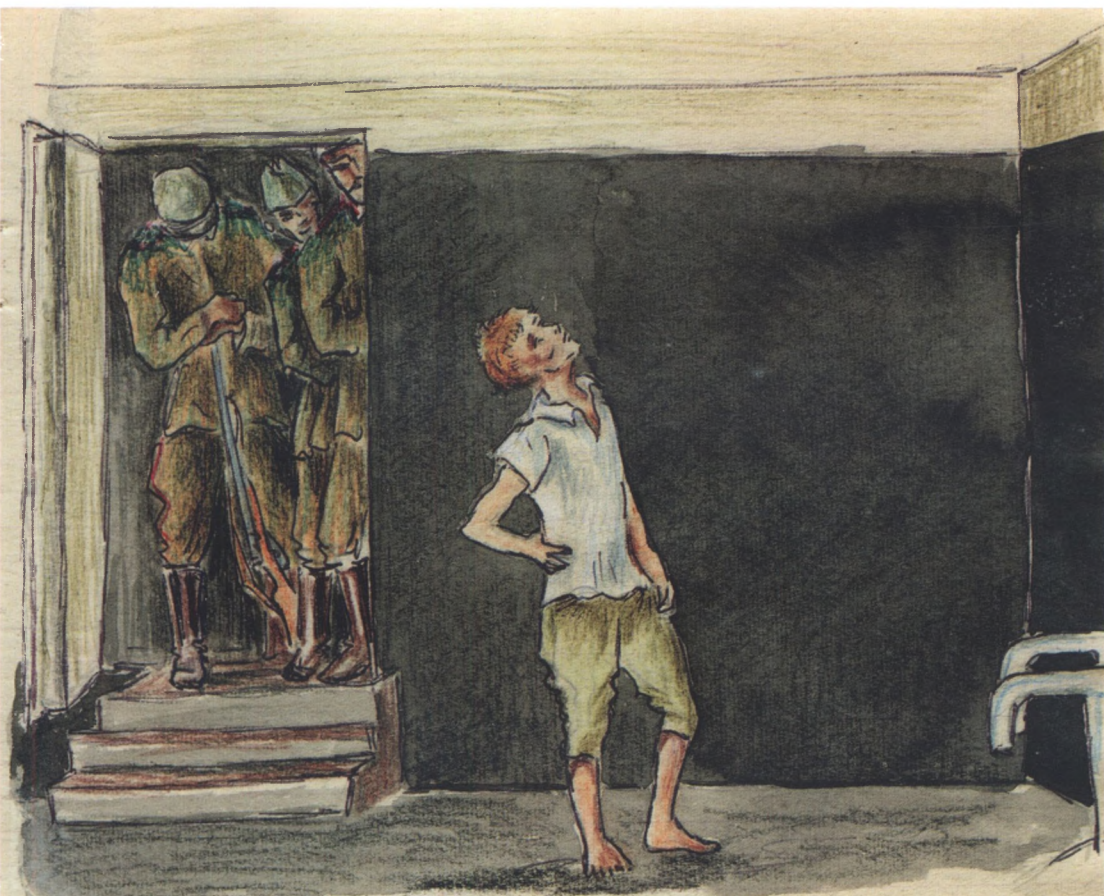
Меня это развлекало: автоматически загорается красный свет, и решетка отворяется сама собой; затем вспыхивает синий, и решетка захлопывается. Ничего не скажешь: техника на высоком уровне, и это тогда, когда кругом такая разруха!.. Перед мысленным взором вставали и беспомощные трактора, лишённые топлива, корова в плуге, плачущий мальчик с бородами, соха, влекомая людьми... Даже старики на соломе. И все это я обрушивала на голову следователя. Полагаю, что к подобным подследственным он не привык.



Меня это развлекало: автоматически, загорается красный свет и решётка отворяется сам собой; затем - вспыхивает синий - и решётка захлопывается. Ничего не скажешь: „техника“ - на высоком уровне... и это - тогда, когда, кругом такая разруха!... Перед мысленным взором вставали и беспомощные трактора, лишённые топлива, корова в плуге, плачущий мальчик, с бородами, соха, влекомая людьми... Даже старики на соломе. И всё это я обрушивала на голову следователя. Полагаю, что, к подобным „подследственным“, он не привык...

Как-то вели меня на допрос другим путем — коридором, расположенным еще глубже нашего (тоже подземного). Затем еще несколько ступенек вниз в маленькую комнату, пол которой посыпан штыбом или жужелицей и стены выкрашены черной краской. Передо мной — станок. Что там было еще — не знаю: гордость (или упрямство?) не позволяли мне озираться. Это было какое-то потустороннее спокойствие, свойственное, если верить Фенимору Куперу, индейцам.

Один из конвоиров (на этот раз их было трое) сказал вполголоса: «Ее ведь не сюда?» — «Нет». И мы пошли дальше.

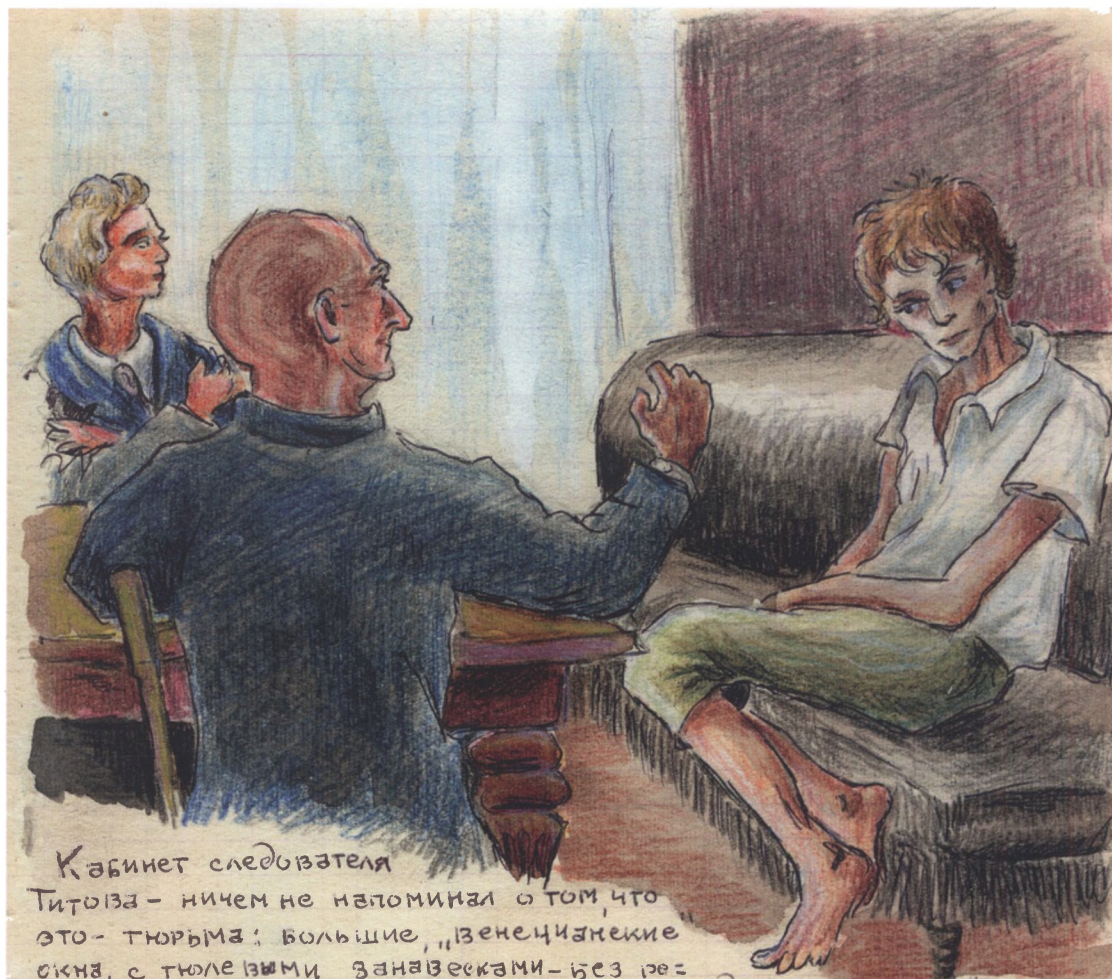


Как-то вели меня, на допрос другим путём — коридором, расположенным ещё глубже нашего (тоже подземного). Затем — ещё несколько ступенек вниз, в маленькую комнату, пол которой посыпан штыбom или жужелицей и стены выкрашены чёрной краской. Передо мной — станок. Что там было ещё — не знаю: гордость (или упрямство?) не позволяли мне озираться. Это было какое-то „потустороннее“ спокойствие, свойственное, если верить Фенимору Куперу, индейцам.

Один из конвоиров, (на этот раз их было трое) сказал, вполголоса: „Её ведь — не сюда?“ — „Нет“ и мы пошли дальше.

Кабинет следователя Титова ничем не напоминал о том, что это тюрьма: большие венецианские окна с тюлевыми занавесками, без решеток, мягкая мебель. И главное, какой-то дружеский тон беседы, а не допроса — все это было направлено на то, чтобы усыпить осторожность, вызвать доверие и поселить надежду на спасение. А мне... Мне и притворяться не приходилось: я ничего не скрывала и ни о чем не умалчивала.

А затем... мне предложили подписать все ту же галиматью о том, что я... заброшенный врагами диверсант!



Кабинет следователя

Титова — ничем не напоминал о том, что это — тюрьма: большие, «венецианские» окна, с тюлевыми занавесками — без решёток, мягкая мебель... и, главное — какой-то «дружеский» тон беседы, а не допроса — всё это было направлено на то, чтобы усыпить осторожность, вызвать доверие и поселить надежду на спасение. А мне... Мне и притворяться не приходилось: я — ничего не скрывала и ни о чём не умалчивала.

А затем... мне предложили подписать всё ту-же галиматью о том, что я Заброшенный, врагами, диверсант!

Лыхин применил иную тактику: всю ночь — от отбоя до подъема — стой навтыжку, не шевелясь. Рядом стул. Но садиться нельзя. А днем в камере нельзя спать, даже сидя.

Так каждую ночь я стояла, преодолевая боль в спине и плечах, стараясь не замечать, как ноги наливаются расплавленным свинцом. Голод острыми когтями разрывал внутренности, в глазах плыло от слабости. И когда казалось, что я проваливаюсь в колодезь, где нет воздуха, то единственное, что помогало мне выдержать пытку, — это стихи А.К. Толстого. Смешно? Может быть... Но это так.



Лыхин применил иную тактику: всю ночь — от «отбоя» до подъема — стой навтыжку, не шевелясь. Рядом — стул. Но садиться нельзя. А днем, в камере, нельзя спать — даже сидя.

Так, каждую ночь я стояла, преодолевая боль в спине и плечах, стараясь не замечать, как ноги наливаются расплавленным свинцом. Голод, острыми когтями разрывал внутренности, в глазах «плыло» от слабости. И, когда казалось, что я проваливаюсь в колодезь, где нет воздуха, то единственным, что помогало мне выдержать пытку, это... стихи А.К. Толстого, Смешно? Может быть... Но это так...

— Я все о вас знаю. У вас ясный ум, и всю жизнь вы умели смотреть фактам в лицо! Перед вами альтернатива: или вас потащат, как щенка, или вы сами сумеете шагнуть навстречу неизбежному!

Была ли это сила гипноза или попросту я была уже слишком измучена, чтобы бороться? Мне не за что было ухватиться, не на что опереться. Я стою на краю пропасти. Шагни вперед! Один шаг — и всего этого не будет: ни тюрьмы, ни страданий, из которых выхода нет!

И я, как загипнотизированный кролик, тянулась к удаву...

Но в комнате было что-то, что удерживало меня: из репродуктора лились приглушенные, но до чего знакомые, родные звуки. Те же фрагменты любимых мною произведений. Я их уже слышала, но, Боже мой, когда? Где?! «Песнь Сольвейг», отрывки из «Лебединого озера» и «Щелкунчика». Нужно вспомнить, обязательно вспомнить, когда и где я это уже слышала?..



Альбом 5. Часть 1. Рис. 17

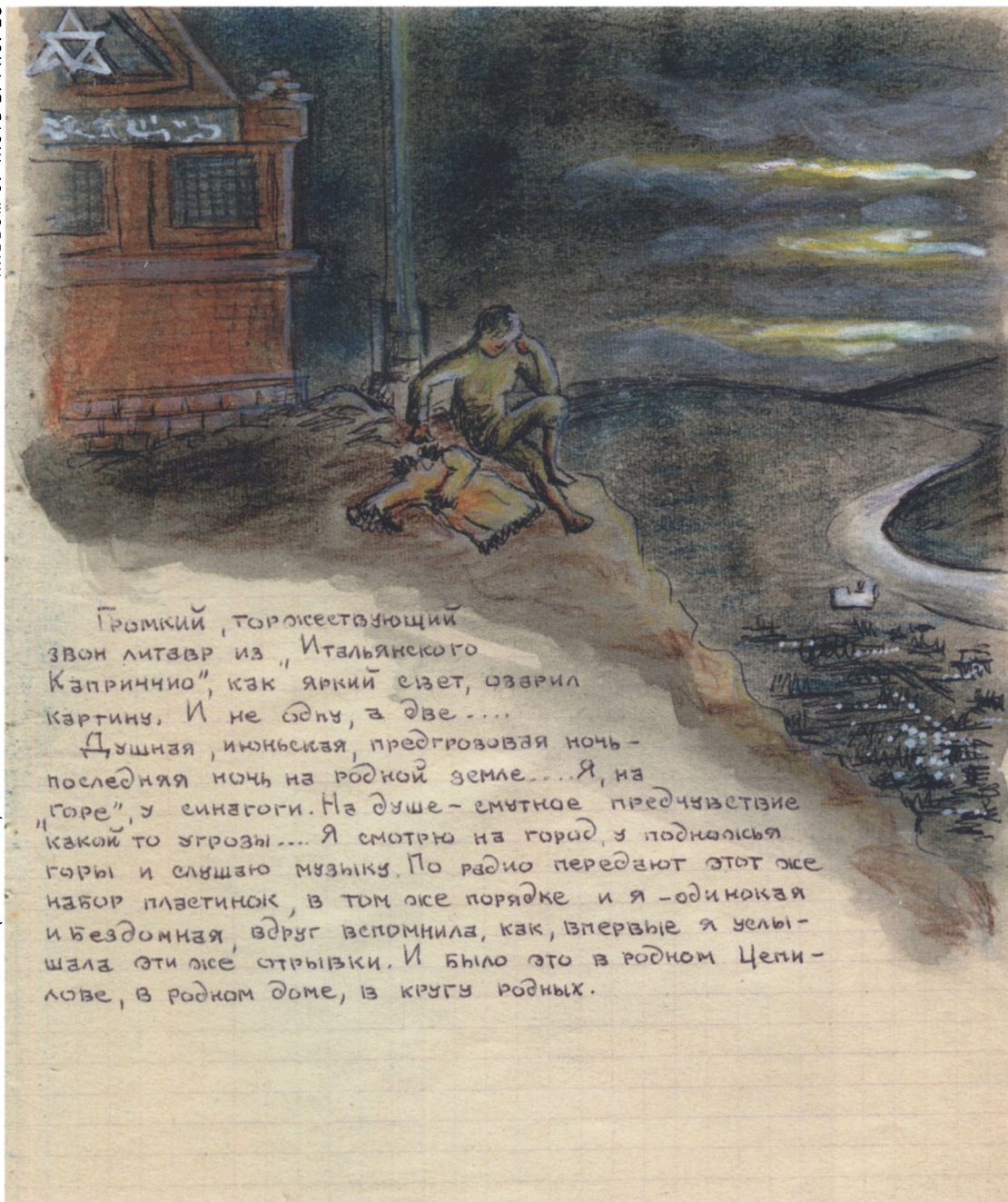
Альбом 5. Часть 1. Рис. 17 (фрагмент) ▼





Громкий, торжествующий звон литавр из «Итальянского каприччио», как яркий свет, озарил картину. И не одну, а две...

Душная июньская предгрозовая ночь — последняя ночь на родной земле... Я на горе, у синагоги. На душе смутное предчувствие какой-то угрозы. Я смотрю на город у подножья горы и слушаю музыку. По радио передают этот же набор пластинок в том же порядке, и я, одинокая и бездомная, вдруг вспомнила, как впервые я услышала эти же отрывки. И было это в родном Цепилове, в родном доме, в кругу родных.



Как это получилось, что в самый критический момент эта чуть слышная музыка вдруг развеяла силу гипноза и вернула мне ту волю к жизни, которая одна может привести к победе всем чертям назло! Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я твердо сказала: — Вы правы: такая жизнь не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, это лучший выход из положения. Но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять вашей системы; могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными. Но я — рус-



Как это получилось, что в самый критический момент эта, чуть слышная музыка, вдруг развеяла силу гипноза и вернула мне ту «Волю к жизни», которая одна может привести к победе — всем чертям назло! Спокойствие и уверенность вернулись ко мне и я твердо сказала: — «Вы правы: такая жизнь — не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, это — лучший выход из положения. Но, перед лицом смерти, лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять вашей системы; могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными... Но я — русская и причинить вред моей родине, для меня также невозможно, как поднять руку на родную мать». Все, что я говорю — правда. И ничего иного вы, от меня, не услы-

ская, и причинить вред моей родине для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать! Все, что я говорю, — правда. И ничего иного вы от меня не услышите.

И все это потому, что музыка из репродуктора в кабинете следователя во Внутренней тюрьме в Барнауле воскресила в памяти тот вечер, когда я слушала эту же музыку в кругу родной семьи, там, в далеком Цепилове.



Альбом 5. Часть 1. Рис. 19

Из Барнаула в Новосибирск везли меня в столыпинском вагоне*, с десятком малолеток — колхозных девчушек, — робких, перепуганных. Все они были повинны в мелких кражах. Самая маленькая — Маня Петрова, одиннадцати лет, — украла на колхозном огороде горсть зеленого лука. Среди этого «сырья» была одна уже рецидивистка четырнадцати лет. Эту уже сырьем не назовешь; это уже полуфабрикат, а может быть, и окончательно развращенная девчонка.

— Ах! Мне бы в Польшу попасть! Я бы в поездах воровала драгоценности — золото, бриллианты... Вот это жизнь!

Малолетки с испугом и завистью слушали разглагольствования их более опытной подружки.

* Столыпинские вагоны впервые появились в 1908 году. Это были товарные вагоны, приспособленные для перевозки переселенцев из Европейской России в Сибирь, которые по имени инициатора массового переселения Петра Столыпина, известного министра царской России, стали называться столыпинскими. С торцов такого вагона имелись подсобные отсеки, где размещался сельхозинвентарь и перевозился скот.



Из Барнаула в Новосибирск везли меня в «Столыпинском» вагоне, с десятком «малолеток» — колхозных девчушек — робких, перепуганных. Все они были повинны в мелких кражах. Самая маленькая — Маня Петрова, 11 лет, «украла» на колхозном огороде горсть зеленого лука. Среди этого «сырья», была одна — уже «рецидивистка» 14 лет. Эту уже «сырьем» не назовешь; это уже — «полуфабрикат», а может быть и окончательно развращенная девчонка. «Ах! Мне бы в Польшу попасть! Я бы, в поездах, воровала драгоценности — золото, бриллианты... Вот это — жизнь!»

Малолетки — с испугом... и завистью слушали разглагольствования их, более опытной, подружки.

Параша — символ солидарности уголовной мафии: тот, кто нарушает законы преступного мира, рискует взглянуть на дно параша. Виновников самосуда никто не выдаст. Когда в «общей» человек 200–300, то и де-журняки не осмеливаются вмешиваться. Свидетели никогда ничего «не видят». Иначе им не будет спасенья, в какую бы тюрьму их ни перевели.



"Параша" — символ солидарности уголовной "Мафии": тот, кто нарушает "законы" преступного мира, рискует "взглянуть на дно параша". Виновников самосуда никто не выдаст. Когда, в "общей" человек 200–300, то и "дежурняки" не осмеливаются вмешиваться. Свидетели никогда ничего "не видят". Иначе — им не будет спасенья — в какую бы тюрьму его ни перевели.

Я с недоумением наблюдала за поведением этих малолеток. Если я не совсем понимала пантомиму этих парочек, то я слышала их разговоры. Их сквернословие вызывало отвращение, а цинизм приводил в ужас! До этого я встречалась с двумя типами «преступниц»: те, что украли ничтожную долю того хлеба, который они давали стране. Они подобрали крошку, упавшую со стола государства, отбиравшего у них все: хлеб, труд, здоровье, мужей. Их заклеями позорным словом «вор». Вторая категория «преступников» — политические: это те, кто словом, делом или помышлением осмелились высказать свое недовольство или несогласие.

Но откуда, Боже мой, откуда берутся эти развращенные, испорченные до мозга костей дети?

Пока я ломала голову над этим вопросом, ответ пришел сам собой: сперва одна из новичков-малолеток, испуганно жавшихся к стене, на

Я, с недоумением наблюдала поведение этих малолеток. Если я не совсем понимала „пантомиму“ этих „парочек“, то я слышала их разговоры. Их сквернословие вызывало отвращение, а цинизм — приводил в ужас! До этого, я встречалась с двумя типами „преступниц“: те, что „украли“ ничтожную долю того хлеба, который они давали стране. Они „подобрали крошку, упавшую со стола“ государства, отбиравшего у них все — хлеб, труд, здоровье... мужей. Их заклеили позорным словом — „вор“. Вторая категория „преступников“ — политические: это те, кто словом, делом или помышлением

осмелились высказать свое недовольство или несогласие.

Но... Откуда, Боже мой, откуда берутся эти, развращенные, испорченные, до мозга костей, дети?

Пока я ломала голову над этим вопросом, ответ пришел сам-собою: сперва одна из новичков-малолеток, испуганно жавшихся к стене, на третьем ярусе нар, отделилась от етенки и робко подползла к краю нар. За ней — вторая, третья.... Их широко раскрытые глаза и рты указывали на любопытство, а то, как они закрывали, ладошкой, рты, сжимали, руками, щеки и охали.... все это указывало на испуг... но и на восторг и зависть,

Дети — все дети — по природе, хороши — добры и доверчивы. Беда в том, что они, сами, неспособны отличить добро и зло.

Их необходимо воспитывать. И вот: „воспитание“ малолеток, „правонарушительниц“, уже началось....

Христос говорил: „Истинно говорю вам: „лучше, е жерновом, на шее, упасть вам в омут, чем соизратить единого из этих сих!“ Но Он не рассчитал, что слишком много потребовалось бы жерновов....



третьем ярусе нар, отделилась от стенки и робко подползла к краю нар. За ней вторая, третья... Их широко раскрытые глаза и рты указывали на любопытство, а то, как они закрывали ладошкой рты, сжимали руками щеки и охали, все это указывало на испуг, но и на восторг и зависть. Дети — все дети — по природе хороши, добры и доверчивы. Беда в том, что они сами не в состоянии отличить добро и зло. Их необходимо воспитывать. И вот воспитание малолетних правонарушительниц уже началось...

Христос говорил: «Истинно говорю вам: лучше с жерновом на шее упасть вам в омут, чем совратить единого из малых сил!» Но Он не рассчитал, что слишком много потребовалось бы жерновов...

Малолетки, жучки, коблы... Это уродство — порождение клоаки или исправительно-трудовых лагерей.



Альбом 5. Часть 1. Рис. 22

Малолетки.... жучки... коблы.... Это уродство - порождение
клоаки или "Исправительно-Трудовыми Лагерями"....





Альбом 5. Часть 1. Рис. 22 (фрагмент) ▲



Альбом 5. Часть 1. Рис. 23

Они обступили меня, пытаюсь узнать, впадает ли эта река в Каспий. Обь — в Каспийское море! Три старухи, восемь женщин и 32 ребенка, старшему из которых лет 12... Лишь одна из них немного говорила по-русски. Вот их история: сыновья старух — они же отцы ребятишек, мужья их матерей — попали в плен в Крыму. В наказание их семьи выслали, они не знают куда и не понимают за что. Уже два месяца они ездят по Средней Азии и еще где-то... Восемь детей уже умерло. У всех — понос. Им дали на дорогу хлеб и селедку. Хлеб заплесневел, селедка очень соленая.



...они обступили меня, пытаюсь узнать, впадает ли эта река — в Каспийское море! Три старухи, восемь женщин и 32 ребенка, старшему из которых лет 12... Лишь одна из них немного говорила по-русски. Вот их история: сыновья старух — они же отцы ребятишек, мужья их матерей — попали в плен, в Крыму. В наказание их семьи выслали... они не знают — куда и не понимают — за что. Уже два месяца, они ездят по Средней Азии и еще где-то... 8 детей уже умерло... У всех — понос. Им дали, на дорогу хлеб и селедку. Хлеб заплесневел, селедка очень соленая...

Странные это были похороны! Не на кладбище и даже не на берегу, а у самой кромки воды. Выше конвоир не разрешил. Я нарвала охапку осоки. Матери, ставши на колени, опустили в ямку сперва девочку, а затем мальчика, прикрыли лица платком, затем травой. Затем комья глины заполнили могилу, и все!

Ни вдоха, ни слезы! Я знаю, насколько у восточных народов принято выражать свое горе на похоронах! И жутко было это молчание, насыщенное отчаянием. Эти еще молодые женщины производили впечатление обезумевших старух. Может, они смирились перед неизбежностью? А может, они поняли, что мертвым надо завидовать?



Странные это были похороны! Не на кладбище...

И даже не на берегу, а у самой кромки воды. Выше - конвоир не разрешил. Я нарвала охапку осоки. Матери, ставши на колени, опустили в ямку, сперва девочку, а затем - мальчика, прикрыли лица платком, затем - травой. Затем комья глины заполнили могилу и - все!

Ни вдоха, ни слезы! Я знаю, насколько у восточных народов принято выражать свое горе на похоронах! И жутко было это молчание, насыщенное отчаянием. Эти еще молодые женщины производили впечатление обезумевших старух. Может - они смирились перед неизбежностью? А может они поняли, что мертвым надо завидовать?...

Я шагнула через порог. Замок брякнул. В нос ударило невообразимо смрадным запахом человеческого горя. Окно без стекол заложено чем попало. Каморка в несколько кв[адратных] метров, в которую набито около двух десятков женщин. Аромат немытых тел, какого-то кислого дыхания, раздавленных клопов, чадающей коптилки и деревянной парашы — это и есть тот запах человеческого горя, который долгие годы меня преследовал.

Вдруг один из узлов тряпья выполз из-под нар и ринулся меня обнимать:

— Фрося!.. Ты жива... Отчего ты его тогда не зарубила? Тебя бы расстреляли, но скольких бы ты спасла! Как бы мы все за тебя молились!

В этой растрепанной старухе я никогда не узнала бы аккуратную, круглолицую девушку Олю Попову, произведенную Хохриным в медсестры.



Я шагнула через порог. Замок брякнул. В нос ударило невообразимо — смрадным запахом человеческого горя. Окно без стекол заложено чем попало. Каморка в несколько кв. метров, в которую набито около двух десятков женщин. Аромат немытых тел, какого-то кислого дыхания, раздавленных клопов, чадающей коптилки и деревянной парашы — это и есть тот запах человеческого горя, который долгие годы меня преследовал...

Вдруг один из узлов тряпья выполз из под нар и ринулся меня обнимать: — «Фрося!... ты жива... Отчего ты его тогда не зарубила? Тебя бы расстреляли, но скольких бы ты спасла! Как бы мы все, за тебя молились!» В этой растрепанной старухе, я никогда не узнала бы аккуратную, круглолицую девушку — Олю Попову, произведенную Хохриным в «медсестры»

Единственный раз за всю зиму нас сгоняли в баню. В пути мы повстречали мужчин, уже возвращавшихся из бани. Ольга* толкнула меня в бок: — Гляди! Тимошенко! — и указала на жалкую фигуру оборванца.

Едва плетшийся доходяга и был тот стахановец — любимчик Хохрина, служивший для подхлестывания изголодавшихся, выбившихся из сил лесорубов. И он — в тюрьме! И он не сумел потрафить Хохрину. Нет! Мне было не очень жаль Тимошенко! Слишком хорошо я помнила, как он, сытый, издевался над голодными! Впрочем... этот дрожащий, сопливый оборванец ничем не напоминал того торжествующего хама...



Единственный раз, за всю зиму, нас сгоняли в баню. В пути, мы повстречали мужчин, уже возвращавшихся из бани. Ольга толкнула меня в бок: — Гляди! Тимошенко! — и указала на жалкую фигуру оборванца, едва плетшийся доходяга и был тот «стахановец» — любимчик Хохрина, служивший для «подхлестывания» изголодавшихся, выбившихся из сил, лесорубов. И он — в тюрьме! И он не сумел потрафить Хохрину. Нет! Мне было не очень жаль Тимошенко! Слишком хорошо я помнила, как он, сытый, издевался над голодными! Впрочем... этот дрожащий, сопливый оборванец — ничем не напоминал того «торжествующего хама»...

Люба-сказочница

Стоило ей сказать: «Ой, девки! Что мне сегодня приснилось!» — как все встанут и окружают ее кольцом. Можно не сомневаться: она как начнет фантазировать на тему своего сна, так до вечера никому не даст тосковать! И обычных сказок — с Бабой Ягой, драконами и заколдованными царевнами — знала она великое множество, но рассказывала она одну и ту же сказку каждый раз по-разному. Однако лучше всего удавались ей импровизации на любую заданную тему. Такой характер — просто витамин радости для несчастных людей.



Альбом 5. Часть 1. Рис. 28

Альбом 5. Часть 1. Рис. 28 (фрагмент) ▼





Вдруг лицо Салтымакова, до того спокойное, изменилось и приняло свирепое выражение. Он вскочил и со словами «довольно слушал я твое змеиное шипение!» двинулся на меня с вытянутыми ко мне ручищами. Инстинктивно я встала и шагнула вперед. Мгновение — и он, схватив меня за ворот, а другой — за шею, поднял меня в воздух и так встряхнул, что я ногами сорвала со стены вешалку. В то мгновение, когда я вновь коснулась ногами пола, я отреагировала автоматически [боксерским] ударом в скулу. Не столько от удара, как от неожиданности, он завертелся и отскочил. Затем, рванув из кобуры наган, ринулся ко мне. Отступить некуда, и я шагнула вперед и наткнулась на дуло револьвера. В одно мгновение, нет — даже в долю мгновения, — я поняла, что рукопашной у нас не получится, а сдаваться я не собираюсь. Прыжок — и в моих руках стул. Хрясь! Нет! Силенок у меня не хватило, чтобы ударить Салтымакова



по ногам. Тяжелый стул от удара по полу разлетелся. Я замахнулась тем обломком, что был в моей руке. И тут, как сквозь туман, вижу начальника милиции Раткина и его секретаршу.



Альбом 5. Часть 1. Рис. 29

тсся, а сдаваться я не собираюсь. Присок - и в моих руках
л. Хрясь! Нет! Силёнок, у меня не хватило, что бы ударить Сал
макова по ногам. Тяжелый стул от удара по полу разлетелся.
замахнулась тем обломком, что был в моей руке. И тут, как
озь туман, вижу начальника милиции, Раткина и его секретаршу.

За эту вспышку дежурный скрутил мне руки за спиной сырым ремнем, а другой его конец захлестнул на шее петлей.

— Чтоб никто не смел ей помочь. Кто вздумает ослабить ремень, того я тоже скручу!

Ой и тяжело ж мне пришлось! Нестерпимо ныли перетянутые ремнем руки, но еще мучительней давила на горло петля. Казалось, голова пухнет и дышать нечем. Женщины испуганно всхлипывали и закрывали руками лицо. Я пыталась сохранить равновесие, опираясь затылком о стену. Не помню, когда я упала. Очнулась я от холода. Я была развязана, но голову и плечи облили водой.



За эту вспышку дежурный скрутил мне руки за спиной сырым ремнем, а другой его конец захлестнул на шее петлей. „Чтоб никто не смел ей помочь. Кто вздумает ослабит ремень — того я тоже скручу!“ Ой и тяжело же мне пришлось! Нестерпимо ныли, перетянутые ремнем, руки, но еще мучительней давила, на горло, петля. Казалось — голова пухнет и дышать нечем. Женщины испуганно всхлипывали и закрывали, руками, лицо. Я пыталась сохранить равновесие, опираясь затылком, о стену. Не помню, когда я упала. Очнулась я от холода. Я была развязана, но голову и плечи облили водой.

Подписать 206-ю — пустая формальность. Мне было неясно, зачем прокурору понадобилось провести со мной чуть ли не полдня? Но я получила удовольствие: в комнате чисто, тепло, светло... Сажусь на диване. На столе гора бумаг. Одних доносов Хохрина... 111! В этих бумагах жизнь и смерть. Чтобы так исказить истину — надо быть Хохриным, но, чтобы принять всерьез бред сумасшедшего садиста, — кем же надо быть?!

Вот на этой странице собрана вся квинтэссенция. Тут я должна поставить свою подпись. Обмакиваю перо и, не колеблясь, пишу: «Ложь!» — Что вы наделали?!



„Подписать 206-ю“ — пустая формальность. Мне было неясно, зачем прокурору понадобилось провести со мной, чуть не пол-дня? Но я получила удовольствие: в комнате чисто, тепло, светло... Сажусь на диване. На столе — гора бумаг. Одних доносов Хохрина... 111! В этих бумагах — жизнь и смерть. Чтобы так исказить истину, надо быть Хохриным, но, что бы принять всерьез бред сумасшедшего садиста... кем же надо быть?!

Вот на этой странице собрана вся квинтэссенция. Тут я должна поставить свою подпись.

Обмакиваю перо и, не колеблясь, пишу: „Ложь!“
— „Что вы наделали?!“

В зале суда я видела только Белобородова. И с Белобородовым я приняла бой с открытым забралом — бой более нелепый, чем любой из подвигов Дон-Кихота. Я знала, что все заранее predetermined, что судьи — заводные куклы, у которых вместо разума и души — лента с дырочками, как у шарманки. Но я не хотела быть паяцем, которого после представления выбрасывают.

В Барнаульской тюрьме я читала и перечитывала переписку Маркса с Энгельсом. И я выкладывала то, что я видела и сама пережила, сопоставляла всю нашу действительность с взглядами и комментариями основоположников коммунизма.

Не о себе я говорила и не пыталась защищаться. О нет! Я перечисляла все безобразия, что я видела в ссылке, в побеге, в тюрьмах... И не просто



В зале суда я видела только Белобородова. И с Белобородовым я приняла бой с открытым забралом — бой более нелепый, чем любой из подвигов Дон-Кихота. Я знала, что всё, заранее predetermined, что судьи — заводные куклы, у которых вместо разума и души — лента с дырочками, как у шарманки. Но я не хотела быть паяцем, которого после представления выбрасывают. В Барнаульской тюрьме я читала и перечитывала переписку Маркса с Энгельсом. И я выкладывала то, что я видела и сама пережила, сопоставляла всю нашу действительность со взглядами и комментариями основоположниками коммунизма.

Не о себе я говорила и не пыталась защищаться. О, нет! Я перечисляла все безобразия, что я видела в ссылке, в побеге, в тюрьмах... И не просто цитировала взгляды Маркса и Энгельса, но памяти, указывала на письма и страницы книги,

цитировала взгляды Маркса, но иногда, по памяти, указывала номер письма и страницу книги.

И я закончила словами: «Правда как свет! Никогда «луч тьмы» не проникнет в светлое помещение! Вот почему ваша черная ложь боится луча светлой правды!»

Я была так слаба, что едва держалась на ногах. Откуда же брались силы, чтобы в течение нескольких часов выдержать бой?



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 32

И я закончила словами: „Правда — как свет! Никогда
«луч тьмы» не проникнет в светлое помещение! Вот почему
ваша чёрная ложь боится луча светлой правды!“
Я была так слаба, что едва держалась на ногах. Откуда же
брались силы, чтобы в течение нескольких часов выдержать бой?

Я не рассчитала свои силы... Голова закружилась, и я бы упала,
не подхвати меня Швец.

— Ты не тушуйся — они заменят!

Когда смысл дошел до меня и я поняла, что физическую слабость он
принял за страх... Боже мой, как я рассмеялась! Ручаюсь, что эта крутая
лестница не слыхала более звонкого смеха!



Я не рассчитала свои силы... Голова закружилась и я бы упала,
не подхвати меня Швец. — „Ты не тушуйся: они заменят!“
Когда смысл дошел до меня и я поняла, что физическую сла-
бость он принял за страх... Боже мой! Как я рассмеялась!
Ручаюсь, что эта крутая лестница не слыхала более звонкого
смеха!

Лист бумаги, карандаш и предупреждение: «Через [семьдесят два] часа срок истекает».

Я пожала плечами: «Для меня он уже истек».

Однако бумагу взяла и написала: «Требовать справедливости не могу; просить милости не хочу!» Тут уж не Дон-Кихот подсказал мне эту фразу, а заносчивый вельможа Роган: «Roi ne puis; Prince ne deigne: Rohan je suis». Однако иметь бумагу, карандаш и не нарисовать с натуры интерьер КПЗ? Смрадный клоповник и женщин, ведущих борьбу со вшами... Не совсем подходящая обстановка для гордого Рогана, который, поскольку он не мог быть королем, считал ниже своего достоинства быть принцем!



Лист бумаги, карандаш и предупреждение: «через 72 часа срок истекает».
Я пожала плечами: «для меня — он уже истек». Однако, бумагу взяла и написала: «Требовать справедливости — не могу; просить милости — не хочу!» Тут уже не Дон-Кихот подсказал мне эту фразу, а заносчивый вельможа Роган: «Roi — ne puis; Prince — ne deigne: Rohan je suis». Однако иметь бумагу, карандаш — и не нарисовать с натуры «интерьер» КПЗ? Смрадный клоповник и женщины, ведущих борьбу со вшами... Не совсем подходящая обстановка для гордого Рогана, который, поскольку он не мог быть королем, считал ниже своего достоинства — быть принцем!

Сколько горя было в этом задыхающемся старческом голосе:

— Вася! Соколик родимый! Кормилец мой ненаглядный!

Далеко — прямо целиком, по глубокому снегу бежала старуха.

— Шире шаг! — рявкнул конвойр, видя, что невольно все оглядываются.

Сколько беспомощного отчаяния было в попытке старухи догнать сына! Она размахивала клюкой и не выпускала из рук котомку с передачей. Вот она уже выбралась на дорогу. Но дорога идет в гору. Она уже не кричит. Видно, воздуха не хватает. Расстояние увеличивается. Но она все пытается бежать.

Вот она упала. Встала, закружилась на месте и снова упала. Вот она встала и, не подымая торбы с передачей, побрела еще немного, упала и больше не вставала... Пока мы не завернули за стоявшие на отшибе домики, откуда дорога пошла вниз, на лед Оби, мы могли видеть лежащую



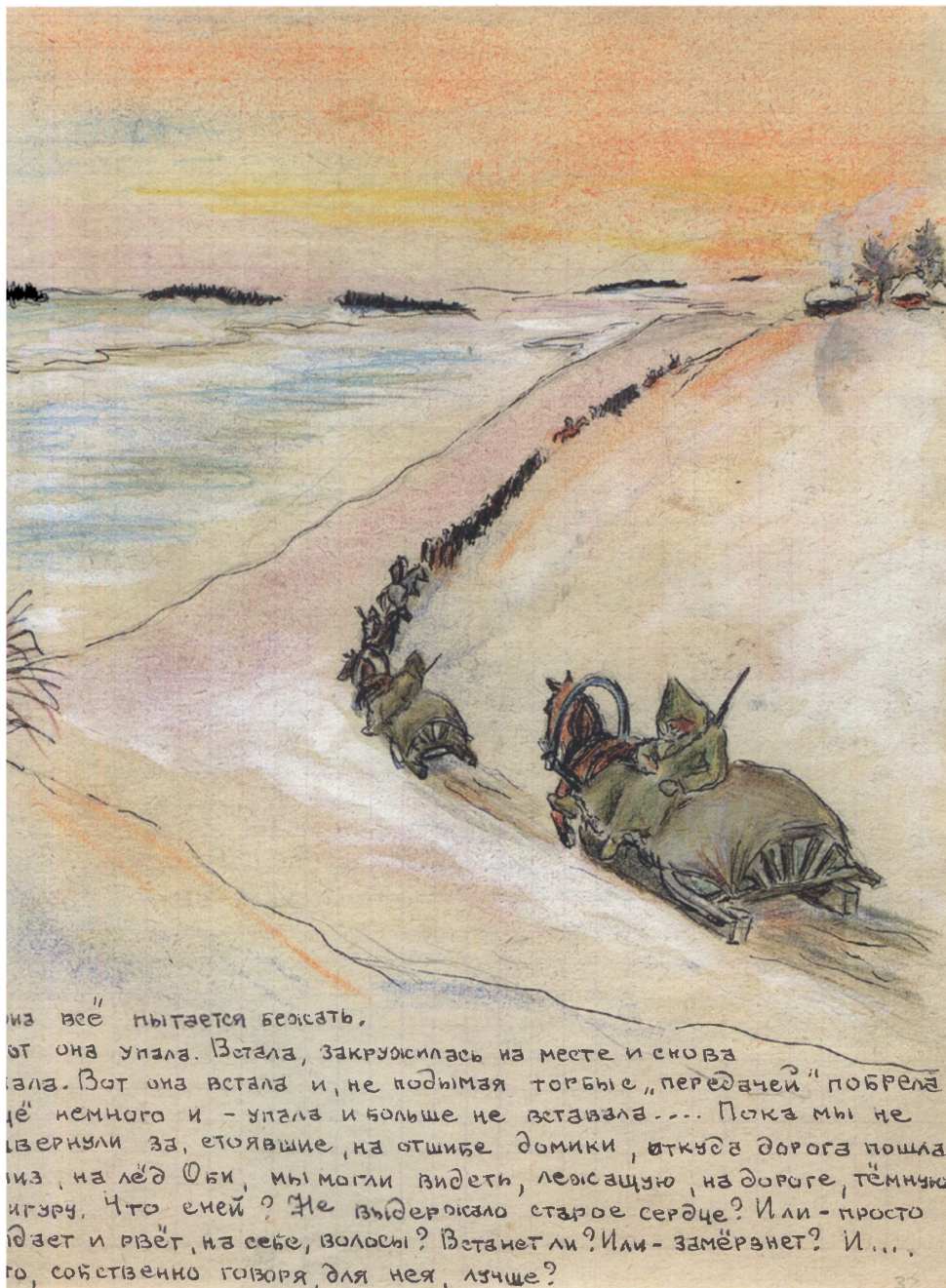
Сколько горя было в этом задыхающемся, старческом голосе — „Вася! Соколик родимый! Кормилец мой, ненаглядный!“

Далеко — прямо, целиком, по глубокому снегу бежала старуха.

— „Шире шаг!“ — рявкнул конвойр, видя, что невольно все оглядываются.

Сколько беспомощного отчаяния было в попытке старухи догнать сына! Она размахивала клюкой и не выпускала из рук котомку с „передачей“. Вот она уже выбралась на дорогу. Но дорога идет в гору. Она уже не кричит. Видно — воздуха не хватает. Расстояние увеличивается.

на дороге темную фигуру. Что с ней? Не выдержало старое сердце?
Или просто рыдает и рвет на себе волосы? Встанет ли? Или замерзнет?
И что, собственно говоря, для нее лучше?



Альбом 5. Часть 1. Рис. 35

из все" пытается бежать,
от она упала. Встала, закружилась на месте и снова
пала. Вот она встала и, не поднимая торбыс "передачей" побрела
не" немного и - упала и больше не вставала.... Пока мы не
вернули за, стоявшие, на отшибе домики, откуда дорога пошла
из, на лёд Оби, мы могли видеть, лежащую, на дороге, темную
фигуру. Что сней? Не выдержало старое сердце? Или - просто
бьет и рвет на себе, волосы? Встанет ли? Или - замерзнет? И...
то, собственно говоря, для нея, лучше?

Станок — бывшая почтовая станция на некогда оживленном купеческом тракте. Обычно это полуразрушенное здание: теплая и холодная половины. В теплой — конвоиры. Там же — меновой торг: на сэкономленный из нашего пайка хлеб конвоиры выменивают у крестьян мясо, рыбу, молоко, самосад. Нам дают 600 грамм (вернее половину) нашего этапного пайка и кружку теплой воды. Это на сутки. Подымают нас в 2 часа ночи и гонят до заката. Станок от станка — верст 40–50. Удивляться ли, что мы, проглотив свою пайку, валимся и засыпаем, не замечая, что под нами: каменный или бревенчатый пол? Есть ли хоть немного сена или хвоя? Мы не замерзаем, так как нас как-никак 44 человека, а конюшня невелика. Параши — нет.



„Станок“ — бывшая почтовая станция, на некогда оживленном „купецком“ тракте. Обычно, это — полуразрушенное здание: „теплая“ и „холодная“ половины. В теплой — конвоиры. Там же — меновой торг: на сэкономленный, из нашего пайка, хлеб, конвоиры выменивают, у крестьян, мясо, рыбу, молоко, самосад. Нам дают 600 грамм (вернее — половину) нашего этапного пайка и кружку теплой воды. Это — на сутки. Подымают нас... в 2 часа ночи и гонят до заката. Станок от станка — верст 40–50. Удивляться ли, что мы, проглотив свою пайку, валимся и засыпаем, не замечая, что под нами: каменный или бревенчатый пол? Есть ли, хоть немного сена или хвоя? Мы не замерзаем, т.к. нас, как-никак 44 человека, а конюшня — невелика. „Параши“ — нет.

Оставалось еще одно испытание: отправление естественной надобности. Что касается меня, то именно это было причиной самого невыносимого страдания — хуже голода, хуже жажды, хуже холода и хуже самой нечеловеческой усталости. Самое мучительное, самое унижительное чувство — стыд...



Оставалось ещё одно испытание : отправление естественной надобности . Что касается меня , то именно это было причиной самого невыносимого страдания — хуже голода, хуже жажды, хуже холода и хуже самой нечеловеческой усталости . Самое мучительное, самое унижительное чувство — стыд...

Удар в грудь, подножка — и я полетела вверх ногами в снег. Первое, что я почувствовала, — это то, что хлеб у меня из рук вырвали... В следующее мгновение я поняла все. Рядом со мной копошилась серая куча: это, рыча по-звериному, дрались из-за хлеба мужики. Хлеб был мерзлый; раскрошить его было не так-то просто!

Татьяна усердно нахлестывала лошаденку, стараясь как можно скорее отъехать от места свалки. Леня Пощаленко гарцевал на коне, положив руку на кобур. Я встала и пошла туда, где стояли, сбившись в кучу, женщины. На месте потасовки лишь взрытый и потоптанный снег да следы крови напоминали о том, что там произошло...

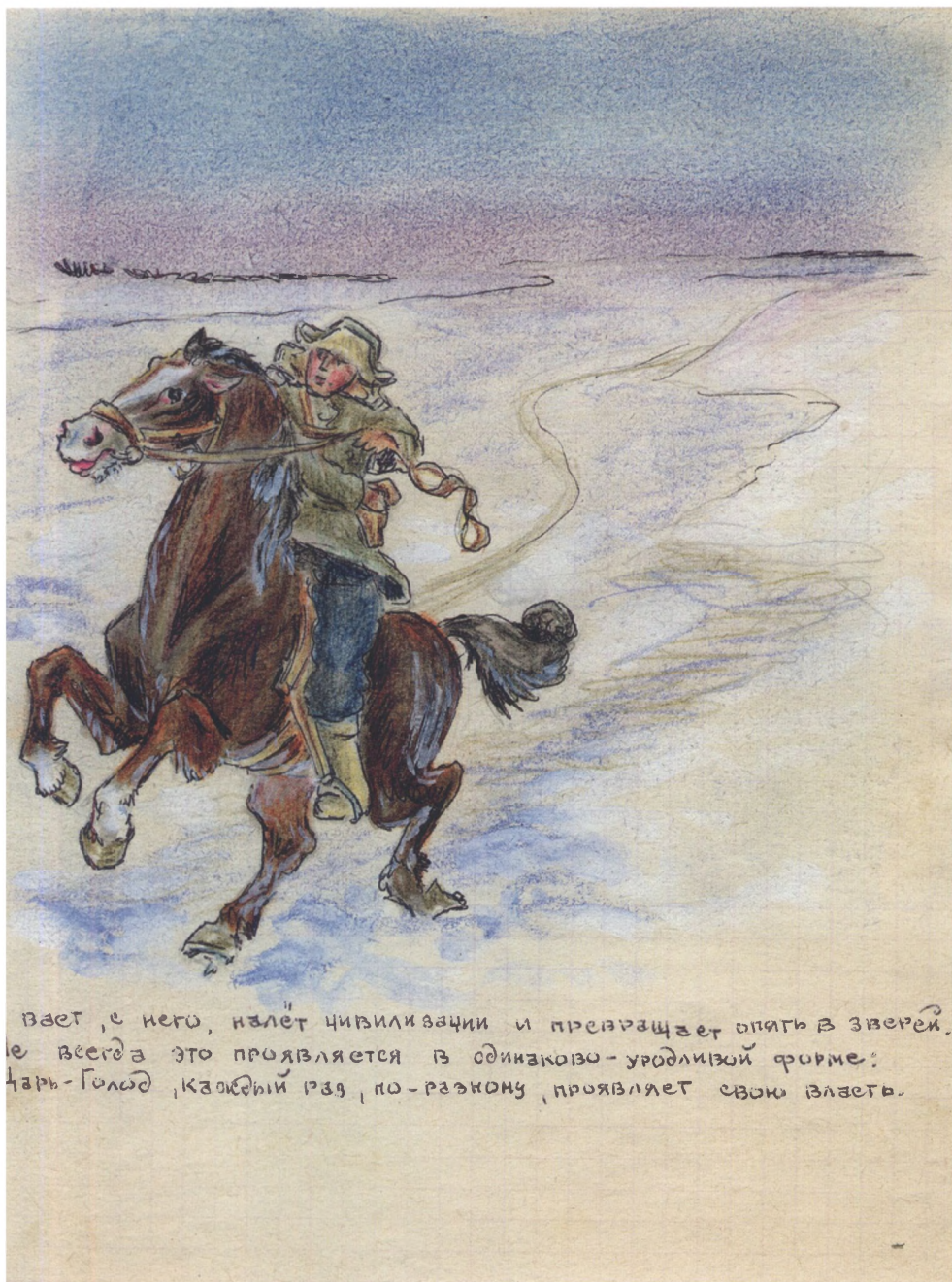


...удар в грудь... подножка... и я полетела вверх ногами в снег. Первое, что я почувствовала — это то, что хлеб у меня из рук вырвали. В следующее мгновение я поняла все. Рядом со мной копошилась серая куча: это, рыча по-звериному, дрались из-за хлеба мужики. Хлеб был мерзлый; раскрошить его было не так-то просто!

Татьяна усердно нахлестывала лошаденку, стараясь, как можно скорее отъехать от места свалки. Леня Пощаленко гарцевал на коне, положив руку на кобур. Я встала и пошла туда, где стояли, сбившись в кучу, женщины. На месте потасовки — лишь взрытый и потоптанный снег да следы крови, напоминали о том, что там произошло...

Что и говорить! Велико влияние голода на человека! Он е...

Что и говорить! Велико влияние голода на человека! Он срывает с него налет цивилизации и превращает опять в зверя. Не всегда это проявляется в одинаково уродливой форме: Царь-Голод каждый раз по-разному проявляет свою власть.



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 38

взает, с него, налёт цивилизации и превращает опять в зверей.
 Не всегда это проявляется в одинаково-уродливой форме:
 Царь-Голод, каждый раз, по-разному, проявляет свою власть.

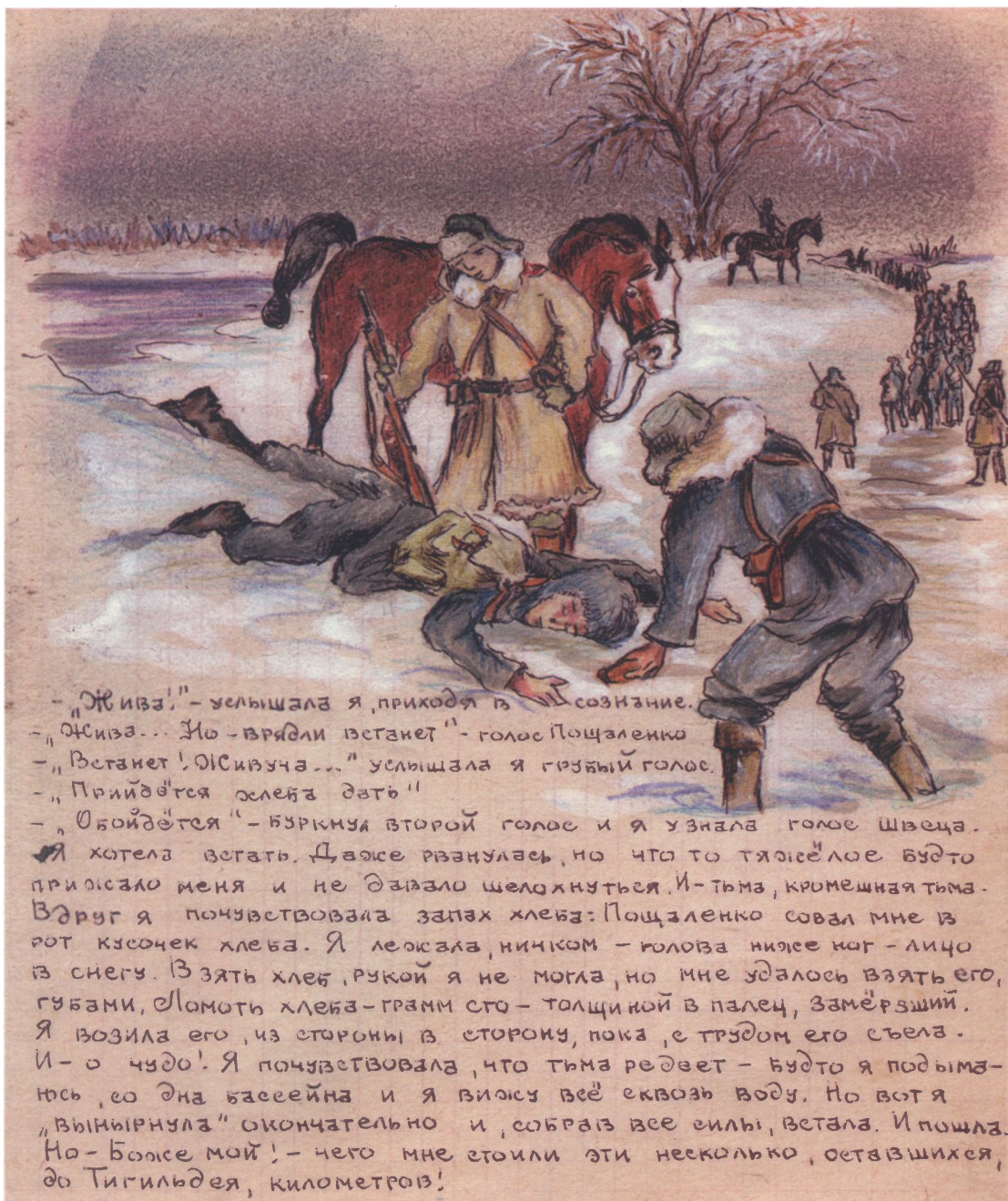
Вот навстречу нам идет раздумывавшаяся от мороза молодка. На коромысле две бадейки воды. Тут я почувствовала, вернее, осознала мучительную жажду и резко нарастающую слабость. Напряжением воли я почувствовала, что идти вперед я могу, но отвести взор от бадеек с водой я не в силах... Вдруг все вокруг померкло. Лишь женщина с ведрами осталась в поле зрения. Тут это поле зрения стало сужаться, как шторы фотоаппарата. И тьма поглотила все. Тьма, непроглядная тьма поглотила все.



Вот, навстречу нам идет, раздумывавшаяся, от мороза, молодка. На коромысле — две бадейки воды. Тут я почувствовала — вернее, осознала мучительную жажду и резко нарастающую слабость. Напряжением воли, я почувствовала, что идти вперед я могу, но отвести взор от бадеек с водой — я не в силах... Вдруг... всё, вокруг, померкло. Лишь женщина, с ведрами осталась в поле зрения. Тут это „поле зрения“ стало сужаться, как „шторы“ фотоаппарата. И тьма поглотило всё. Тьма, непроглядная тьма поглотила всё.

— Жива! — услышала я, приходя в сознание.
 — Жива... Но вряд ли встанет, — голос Пощаленко.
 — Встанет! Живуча... — услышала я грубый голос.
 — Придется хлеба дать.
 — Обойдется, — буркнул второй голос, и я узнала голос Швеца.

Я хотела встать. Даже рванулась, но что-то тяжелое будто прижало меня и не давало шелохнуться. И тьма, кромешная тьма. Вдруг я почувствовала запах хлеба: Пощаленко совал мне в рот кусочек хлеба. Я лежала ничком, голова ниже ног, лицо в снегу. Взять хлеб рукой я не могла, но мне удалось взять его губами. Ломоть хлеба грамм сто, толщиной в палец, замерзший. Я возила его из стороны в сторону, пока с трудом его съела. И — о чудо! Я почувствовала, что тьма редет, будто я поднимаюсь со дна бассейна и я вижу все сквозь воду. Но вот я вынырнула окончательно и,



собрав все силы, встала и пошла. Но, Боже мой, чего мне стоили
эти несколько оставшихся до Тигильдея километров!



В Томске свирепствовал тиф: и сыпной и брюшной. Тюрьма не принимала этапов, не прошедших бани и прожарки, а бани не принимали заключенных — горячей воды не было. До позднего вечера бродили мы по городу. Мела поземка. Мы — голодные, продрогшие, измученные — еле держались на ногах. Вот баня. «Садитесь!» Мы покорно опускаемся на мостовую. Безуспешные переговоры и: «Па-а-ашел!» И опять мы идем.



В Томске свирепствовал тиф — и сыпной и брюшной. Тюрьма не принимала этапов не прошедших бани и прожарки, а бани не принимали заключённых: горячей воды не было. До позднего вечера бродили мы по городу. Мела позёмка. Мы — голодные, продрогшие, измученные — еле держались на ногах. Вот баня. «Садитесь!» Мы, покорно опускаемся на мостовую. Безуспешные переговоры и — «Па-а-ашел!» И опять мы идем.

Ночь. Ни один постоялый двор не пускает нас даже в сарай без справки из бани. Пощаленко с наганом в руке загоняет нас в сарай, несмотря на отчаянный визг и брань какой-то бабы. Темно. Пахнет плесенью и нечистотами. Стучим в двери, кричим:

— Выпустите на opravку!

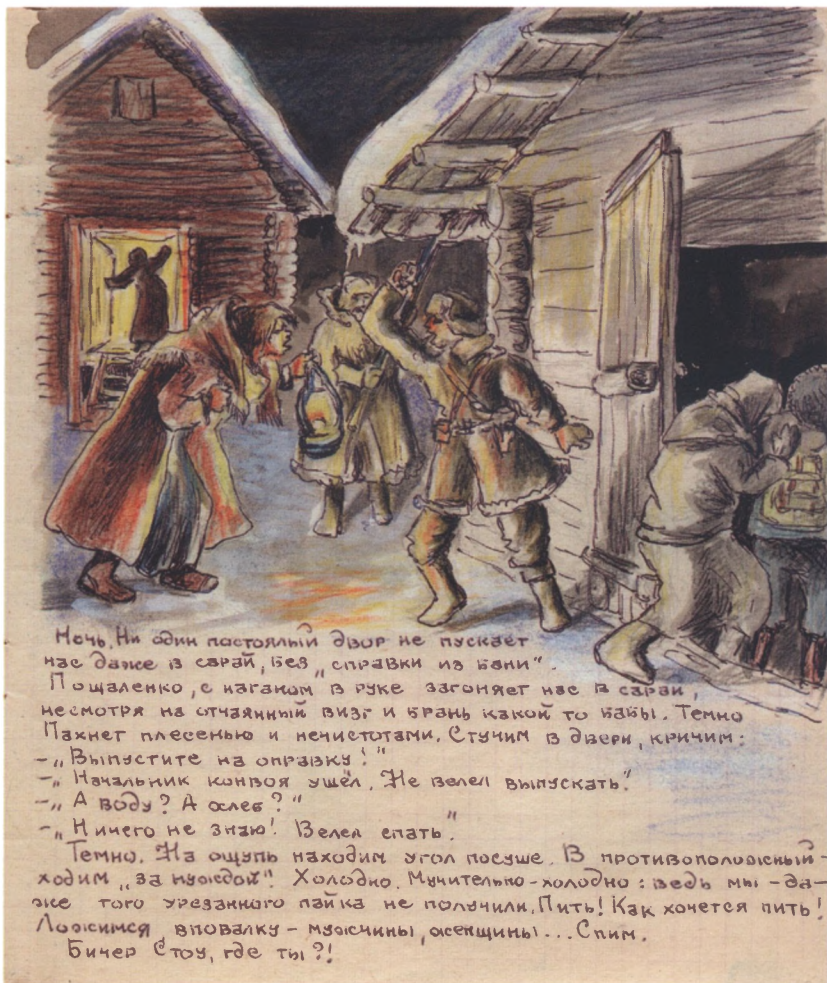
— Начальник конвоя ушел. Не велел выпускать.

— А воду? А хлеб?

— Ничего не знаю! Велел спать.

Темно. На ощупь находим угол посуше. В противоположный ходим за нуждой. Холодно. Мучительно холодно: ведь мы даже того урезанного пайка не получили. Пить! Как хочется пить! Ложимся вповалку — мужчины, женщины... Спим.

Бичер Стоу, где ты?!



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 42

АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 42 (ФРАГМЕНТ) ▼

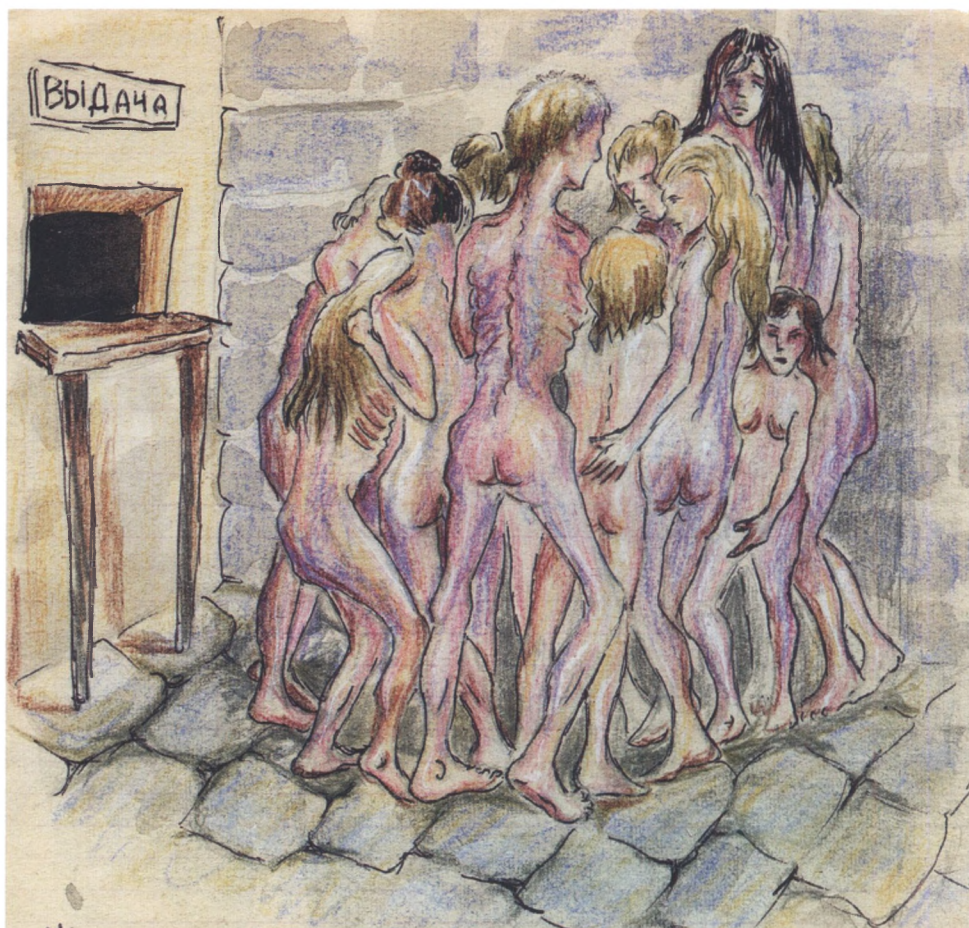


Наверное, предела издевательствам нет, как нет предела выносливости человеческой.

Наконец баня нас приняла и угостила почти холодной водой. Наши вещи были направлены в прожарку. Вместо сухого пара их просто смочили холодной водой, и, стоя голышом на каменном полу предбанника, босые и мокрые, мы ожидали выдачи нашей одежды почти пять часов! С нами в предбаннике находился конвоир в овчинном тулупе, и ему не было жарко...

Наконец нам выдали... мокрую одежду.

Дикая это была картина: клубок мокрых женских тел сине-фиолетового цвета все время шевелился: крайние изо всех сил стремились пробиться внутрь клубка, откуда их, в свою очередь, вытесняли те, кто был на периферии. Это вечное движение, должно быть, нас спасло. Такими



Наверное предела издевательствам - нет... как нет предела выносливости человеческой

Наконец, баня нас "приняла"... и угостила почти холодной водой. Наши вещи были направлены в "прожарку". Вместо сухого пара их просто... смочили холодной водой и, стоя голышом на каменном полу предбанника, босые и мокрые - мы ожидали выдачи нашей одежды почти пять часов!

С нами, в предбаннике находился конвоир, в овчинном тулупе... и ему не было жарко....

Наконец нам выдали... мокрую одежду

Дикая это была картина: клубок мокрых женских тел, сине-фиолетового цвета, всё время шевелился: крайние, из

мокрыми и продрогшими нас пригнали в тюрьму. Нет, еще не в тюрьму, а в бывшую тюремную церковь, где и заперли. Но у церкви крыши не было. Над головой — ночное небо; под ногами — снег, нечистоты. И шныряют уголовники. Ой, как мы кричали!



Альбом 5. Часть 1. Рис. 43

Всех сил стремились пробиться внутрь клубка "... откуда их, из
какой очередь вытесняли те, кто был на периферии. Это "веч-
ное движение" должно быть нас спасло. Такими — мокрыми
продрогшими — нас пригнали в тюрьму. Нет! Еще не в тюрьму,
... в бывшую тюремную церковь, где и заперли. Но у церк-
и крыши не было. Над головой — ночное небо; под ногами —
его, нечистоты... и шныряют уголовники. Ой, как мы кричали!

Из церкви нас отвели в деревянный одноэтажный барак и оставили в длинном холодном коридоре. Откуда-то потянуло теплом, и мы двинулись в ту сторону. В конце коридора мы нашли небольшую баню. Наконец-то в тепле! Мы повалились на пол и моментально уснули... и угорели. Однако проснулись вовремя. Тогда-то я поняла смысл выражения «мечется как угорелый». Темнота, чувство какого-то ужаса... Женщины метались, кричали и не могли найти дверей. Тут появился подагрический старикашка с фонарем. Оказалось, что это баня для начальства.



Из «церкви» нас отвели в деревянный, одноэтажный барак и оставили в длинном, холодном коридоре. Откуда-то потянуло теплом и мы двинулись в ту сторону. В конце коридора мы нашли небольшую баню. Наконец - в тепле! Мы повалились на пол и моментально уснули... и угорели. Однако проснулись вовремя. Тогда-то я поняла смысл выражения: «мечется, как угорелый». Темнота, чувство какого-то ужаса... Женщины металась, кричали и не могли найти дверей. Тут появился подагрический старикашка с фонарем. Оказалось, что это - баня для начальства.

Казалось, что физические страдания должны были сделать нас бесчувственными ко всему прочему. И все же нет! Когда нас после бани заставили голышом дефилировать мимо солдат-охранников, то молодые девушки, даже после испытаний этапа не утратившие еще остатки своей женственности, так и корчились от стыда под их наглыми насмешками и непристойными жестами.



Казалось, что физические страдания должны были сделать нас бесчувственными ко всему прочему. И все же - нет! Когда нас, после бани, заставили, голышом, дефилировать мимо солдат-охранников, то молодые девушки - даже после испытаний этапа, не утратившие еще остатки своей женственности - так и корчились от стыда, под их наглыми насмешками и непристойными жестами.

Разумеется, я пыталась объяснить начальнику тюрьмы, что мы — новый этап, только что прибывший из Нарыма, что нас двое суток не могла принять тюрьма, что мы до предела измучены.

— Рассуждать смеешь! Рррраздеть — и в карцер!

Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку. Поташил и рубашку с короткими рукавами, но, убедившись, что под ней голое тело, оставил.



Разумеется, я попыталась объяснить начальнику тюрьмы, что мы — новый этап, только что прибывший из Нарыма, что нас двое суток не могла принять тюрьма, что мы до предела измучены... — "Рассуждать смеешь! Рррраздеть — и в карцер!" Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку. Поташили рубашку с короткими рукавами, но, убедившись, что под ней — голое тело, оставил...

С корабля на бал — это неплохо. Иное дело, с такого этапа — и в карцер. Карцер? Нет, это не карцер. Все карцеры заняты под тифозные изоляторы. Роль карцера выполняет нужник.

Нужник царской тюрьмы на два очка: ведь и камеры (по крайней мере, в этом корпусе) на двух заключенных. В нашей камере нас, женщин, 25. В мужских камерах по 40 и больше. Гоняют на оправку сразу всех из одной камеры. Два очка. Загоняют по 40 человек. Минуты три и — марш в камеру! И темно. В тюрьме нет света: электростанция не работала. Не было топлива. Были в коридорах коптелки на пихтовом масле.

Когда меня втолкнули в карцер, было уже светло. Было часов девять. Пирамиды уже почти замерзли. Но ступить обеими ногами было некуда: приходилось стоять на одной ноге.

От усталости я могла уснуть и упасть на незамерзшие пирамиды. Этого — нельзя. Сил нет! Можно присесть: на стульчаке можно выбрать местечко. Но, присев, я замерзну. Не замерзнуть в тайге, а замерзнуть в нужнике? Позор! К счастью, меня скоро выпустили: надо было очистить помещение, пока не замерзло...



„С корабля — на бал...“ Это — неплохо. Иное дело, если это — с такого этапа — и в карцер... Карцер? Нет — это не карцер... Все карцеры — заняты под тифозные изоляторы. Роль „карцера“ выполняет... нужник. Нужник царской тюрьмы — на два очка: ведь и камеры (по крайней мере в этом корпусе) — на двух заключенных. В нашей камере нас, женщин, 25. В мужских камерах — по 40 и больше. Гоняют „на оправку“, сразу всех из одной камеры. Два очка. Загоняют по 40 человек. Минуты три и — марш из камеры! И — темно. В тюрьме нет света: электростанция не работала. Не было топлива. Были, в коридорах „коптелки“, на пихтовом масле.

Когда меня втолкнули в „карцер“, было уже светло. Было часов 9. „Пирамиды“ уже почти замерзли. Но ступить обеими ногами было некуда: приходилось стоять на одной ноге.

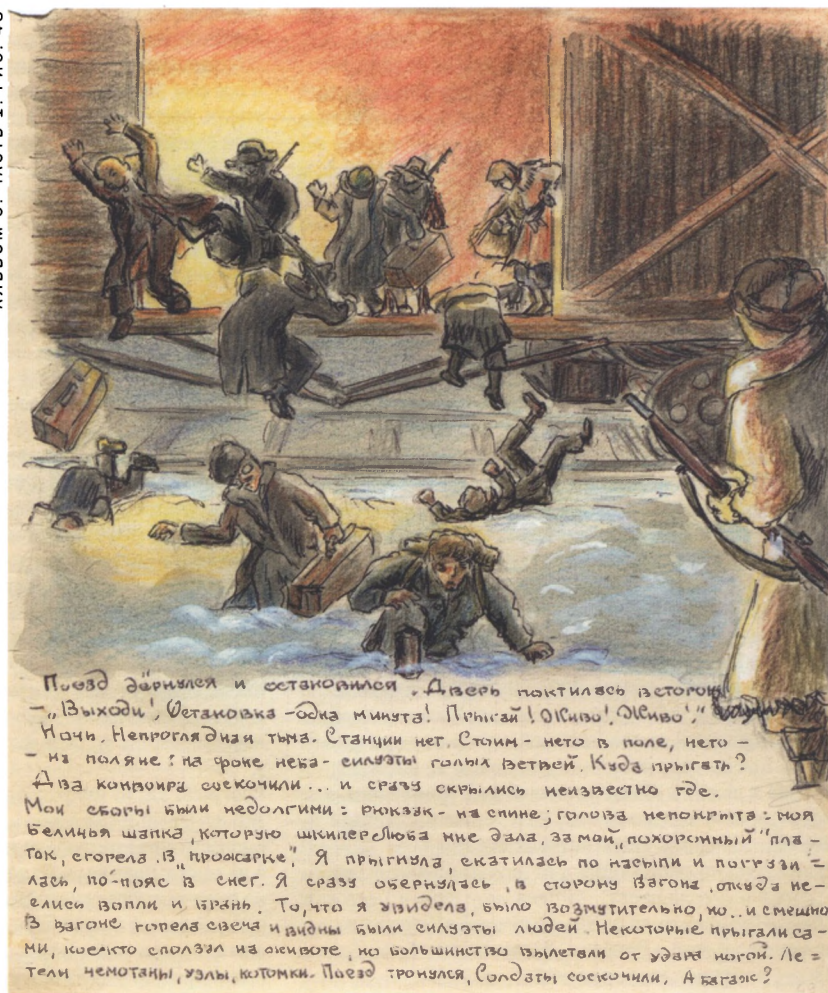
От усталости я могла уснуть и упасть на незамерзшие „пирамиды“. Этого — нельзя. Сил нет! Можно присесть: на „стульчаке“ можно выбрать местечко. Но, присев — я замерзну. Не замерзнуть в тайге, а замерзнуть в нужнике? Позор! К счастью, меня скоро выпустили: надо было очистить помещение, пока не замерзло...



Поезд дернулся и остановился. Дверь покати́лась в сторону.
— Выходи! Остановка — одна минута! Прыгай! Живо! Живо!

Ночь. Непроглядная тьма. Станции нет. Стоим не то в поле, не то на поляне: на фоне неба — силуэты голых ветвей. Куда прыгать? Два конвоира соскочили и сразу скрылись неизвестно где. Мои сборы были недолгими — рюкзак на спине, голова не покрыта: моя беличья шапка, которую шкипер Люба мне дала за мой похоронный платок, сгорела в прожарке. Я прыгнула, скатилась по насыпи и погрузилась по пояс в снег. Я сразу обернулась в сторону вагона, откуда неслись вопли и брань. То, что я увидела, было возмутительно, но и смешно. В вагоне горела свеча и видны были силуэты людей. Некоторые прыгали сами, кое-кто сползал на животе, но большинство вылетали от удара ног. Летели чемоданы, узлы, котомки. Поезд тронулся. Солдаты соскочили. А багаж?

АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 1. РИС. 48



1. Удивительное дело! Тюрьма №1* находится в такой красивой местности, где, казалось бы, больше пристало находиться дому отдыха или санаторию. Но там меня не приняли, вернули в Барнаул. Куда? В военный трибунал...

* Тюрьма №1 (Барнаул) — с 1925 года основная тюрьма края — размещалась в зданиях Богородице-Казанского женского монастыря в районе Булыгинской заимки. Последняя игуменья Мариамна (Фролова) в 1938 году была расстреляна.

2. Зачем меня поместили в одиночку, в полной темноте (свет вспыхивал секунды на 2–3 и вновь [гас]), где мебели была только железная кровать (без тюфяка и вообще без ничего) и параша? Не знаю. Нервы у меня здоровые. Ни темнота, ни одиночество меня не угнетали. Наоборот: я бы предпочла полное одиночество обществу крыс. Их было довольно много, но агрессивными они не были. Спать на железных полосах неудобно, но было еще тепло, даже жарко.

3. Зато отношение ко мне было вполне человеческое: раз в день меня выпускали на оправку, и я могла мыться и хлюпаться у крана, сколько я хотела — хоть полдня!

4. Я вспоминала о тех нескольких кошмарных днях, проведенных в общей камере КПЗ... Ни одним словом не общалась я с той литовской женщиной, не знающей русского языка и не понимающей, за что ее сюда пригнали. Боюсь, горе настолько помрачило ее рассудок, что она и родного языка не понимала бы... Я не знала, а может, просто забыла ее имя. Ее историю рассказали местные женщины, среди которых она жила. Что ни день, то смерть одного за другим всех ее детей: «...сегодня умерла Берта... сегодня умер Кейтук... сегодня Эрна...» Страшно было видеть ее отчаяние. Невольно вспоминался миф о Ниобе — безжалостные боги убили одного за другим всех ее детей. Ниобея бросила вызов богам, а эта женщина насыпала в чулок немного ячменя, чтобы накормить детей, и вот: мать в тюрьме, а дети, больные скарлатиной, выброшены, как щенята, и умирают один за другим.

5. «Выходи с вещами!» Мы шагаем по городу, направляясь, по всей видимости, к его центру... И вот я в камере. Полуподвальное помещение. Окна высоко от пола. Впоследствии я узнала, что они на уровне двора. Темновато. На окне снаружи «намордники». Пол каменный. Стол. Три стула. Коек нет. После оказалось — есть три койки, которые открываются на ночь, а днем залопнуты в стенку. Одиннадцать женщин. Я двенадцатая.

Монашки

Я думала, что в этой Внутренней тюрьме НКВД содержат действительно опасных, политических преступников... И вот они, эти опасные преступники. Прежде всего трое старух. Две — бывшие монашки. Одна сидит за то, что делала стеганные одеяла. Вторая — за то, что завела белую козу. Третья — колхозница. Как-то в дождь она пожаловалась на радикулит и сказала, что в первую войну, когда у нее взяли мужа, то она, как солдатка, имела льготы, а теперь, когда на фронте все четверо ее сыновей, ее, больную, гонят на работу. На другой день ее забрали и вот 8 месяцев допытываются, кто ее научил агитировать против Сталина и за Николая Второго.

6.

Гейнша

— Девочки, мои бедные девочки! — вздыхала эта немка из Казахстана.

Эта убитая горем женщина чем-то напоминала чахоточную обезьянку шарманщика. Оба ее сына — Петер, тракторист, и Якоб, учитель, — были ранены на войне. Петер — в грудь. Из госпиталя его отправили домой, где он и умер. Якоб, раненный в колено, вернулся домой, где и был арестован за пораженчество. Мать, оставив дома дочек Кэте и Милли, 12 и 13 лет, из последних остатков собрала передачу и понесла в Славгород. Узнав, что его уже угнали в этап, она отдала передачу солдату, сказав: «Мой сын тоже солдат. И у тебя есть мать. Съешь это с товарищами за его здоровье!» Анну Гейнц арестовали за то, что она инсинуировала, будто солдаты голодны... И она умирает.

7.

Прогулка. Это 10 минут воздуха. Солнца. Голубого неба. Это так мало! И так дорого... Гейнц ходить не могла, не смотреть на ее тоскующие глаза и не понять ее мольбы — я не могла. Поэтому я, подхватив ее, как ребенка, на руки, вынесла ее из подземелья. Так и повелось: каждый день я ее выносила и клала под стеночку — на единственное местечко, куда добирался через десятиаршинную кирпичную стену прогулочного дворика луч солнца. Возле будки часового висели часы, тщательно прикрытые дверью будки.

8.

Странное впечатление производят эти фантастические фигурки, кружащиеся по дну каменного колодца. И это называется прогулкой! И эту прогулку ждт с нетерпением целые сутки. Десять минут! Можно увидеть небо, хотя вверх смотреть было запрещено под страхом лишения права на прогулку. Вниз смотри!

9.

Вера и Тома

Я видала людей голодных, истощенных. Я сама была истощена. Страшно было смотреть на умирающих от

истощения старух монашенок или на Гейншу. Но монашки были стары, а у Гейнши, очевидно, активизировался туберкулез... Но эти девочки, Тома и Вера? Разве это преступление — покинуть блокированный Ленинград и с опасностью для жизни воспользоваться Дорогой жизни, чтобы попасть в объятия Смерти здесь, в тюрьме? Их вины я тогда не могла понять. Значительно позже до меня дошло, как опасны были их рассказы. И какую промывку мозгов должны были пройти все покинувшие в организованном порядке город ленинградцы!

10. «Он знаком остановил своих спутников и направился к нам» — рассказывала Вера о том, как они заблудились в лесу под Ленинградом и наткнулись на немцев. — «Боже мой! Что тут с нами стало! Мы взвыли от ужаса, вцепились друг в дружку и повалились на землю: они нас изнасиловали и будут пытаться, отрезая палец за пальцем. — Зачем плачете, девочки? Вам будет хорошо. Не плачайте!

Но мы еще пуще заревели:

— Хотим к маме!

— В Ленинграде плохо будет.

Однако он объяснил нам дорогу и дал шоколаду и лимонное печенье...»

11. — «Подпиши! И сможешь съесть все это и пойти спать!» — говорил он. Я отказывалась. Тогда он не спеша на моих глазах съедая котлеты, хлеб, пил сладкий чай... Сегодня я не выдержала... Я все подписала! О! Зачем я это сделала! — И Тамара Васильева горько плакала. — Ведь я не виновата!

Я тогда не знала, что тот, кто обвинен, виновен он или нет, все равно будет осужден. Но за сознавшегося преступника следователь получает поощрение и премию. Следователь Лыхин мог торжествовать.

12. Ночной шмон — самая унижительная и часто повторяющаяся процедура. «Вставай! Раздеться догола! Руки вверх! Выходи в коридор! Стройся у стены!» Голые, мы особенно страшны. «Среди слепых одноглазый — царь», и я рядом с ними — еще герой. Пока... Волосы расплетены. Чего они ищут? Что еще можно у нас отобрать? Однако можно: выдергивают все завязки из юбок монашек и из наших трусов.

13. Меня это развлекало: автоматически загорается красный свет, и решетка открывается сама собой; затем вспыхивает синий, и решетка захлопывается. Ничего не скажешь: техника на высоком уровне, и это тогда, когда кругом такая разруха!.. Перед мысленным взором вставляли и беспомощные трактора, лишенные топлива, корова в плуге, плачущий мальчик с бородами, соха, влекомая людьми... Даже старики на соломе. И все это я обрушивала на голову следователя. Полагаю, что к подобным подследственным он не привык.

14. Как-то вели меня на допрос другим путем — коридором, расположенным еще глубже нашего (тоже подземного). Затем еще несколько ступенек вниз в маленькую комнату, пол которой посыпан штыбам или жужелицей и стены выкрашены черной краской. Передо мной — станок. Что там было еще — не знаю: гордость (или упрямство?) не позволяли мне озираться. Это было какое-то потустороннее спокойствие, свойственное, если верить Фенимору Куперу, индейцам.

Один из конвоиров (на этот раз их было трое) сказал вполголоса: «Ее ведь не сюда?» — «Нет». И мы пошли дальше.

15. Кабинет следователя Титова ничем не напоминал о том, что это тюрьма: большие венецианские окна с тюлевыми занавесками, без решеток, мягкая мебель. И главное, какой-то дружеский тон беседы, а не допроса — все это было направлено на то, чтобы усыпить осторожность, вызвать доверие и поселить надежду на спасение. А мне... Мне и притворяться не приходилось: я ничего не скрывала и ни о чем не умалчивала.

А затем... мне предложили подписать все ту же галиматью о том, что я ... заброшенный врагами диверсант!

16. Следователь Лыхин применил иную тактику: всю ночь — от отбоя до подъема — стой навытяжку, не шевелься. Рядом стул. Но садиться нельзя. А днем в камере нельзя спать, даже сидя.

Так каждую ночь я стояла, превозмогая боль в спине и плечах, стараясь не замечать, как ноги наливаются расплавленным свинцом. Голод острыми когтями разрывал внутренности, в глазах плыло от слабости. И когда казалось, что я проваливаюсь в колодезь, где нет воздуха, то единственное, что помогало мне выдержать пытку, — это были стихи А.К. Толстого. Смешно? Может быть... Но это так.

17. — Я все о вас знаю, — сказал следователь Титов. — У вас ясный ум, и всю жизнь вы умели смотреть фактам в лицо! Перед вами альтернатива: или вас потащат, как щенка, или вы сами сумеете шагнуть навстречу неизбежному! Была ли это сила гипноза или попросту я была уже слишком измучена, чтобы бороться? Мне не за что было ухватиться, не на что опереться. Я стою на краю пропасти. Шагни вперед! Один шаг — и всего этого не будет: ни тюрьмы, ни страданий, из которых выхода нет! И я, как загипнотизированный кролик, тянулась к удаву... Но в комнате было что-то, что удерживало меня: из репродуктора лились приглушенные, но до чего знакомые, родные звуки. Те же фрагменты любимых мною произведений. Я их уже слышала, но, Боже мой, когда? Где?! «Песнь Сольвейг», отрывки из «Лебединого озера» и «Щелкунчика». Нужно вспомнить, обязательно вспомнить, когда и где я это уже слышала?..

18. Громкий, торжествующий звон литавр из «Итальянского каприччио» Чайковского, как яркий свет, озарил картину. И не одну, а две...

Душная предгрозовая июньская ночь — последняя ночь на родной земле... Я на горе, у синагоги в Сороках. На душе смутное предчувствие какой-то угрозы. Я смотрю на город у подножья горы и слушаю музыку. По радио передают этот же набор пластинок в том же порядке, и я, одинокая и бездомная, вдруг вспомнила, как впервые я услышала эти же отрывки. И было это в родном Цепилове, в родном доме, в кругу родных.

19. Как это получилось, что в самый критический момент эта чуть слышная музыка вдруг развеяла силу гипноза и вернула мне ту волю к жизни, которая одна может привести к победе всем чертам назло! Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я твердо сказала:

— Вы правы: такая жизнь не настолько уж привлекательна, чтобы бояться смерти. Может быть, это лучший выход из

положения. Но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять вашей системы; могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными. Но я — русская, и причинить вред моей родине для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать! Все, что я говорю, — правда. И ничего иного вы от меня не услышите. И все это потому, что музыка из репродуктора в кабинете следователя во Внутренней тюрьме в Барнауле воскресла в памяти тот вечер, когда я слушала эту же музыку в кругу родной семьи, там, в далеком Целилове.

20. Из Барнаула в Новосибирск везли меня в столыпинском вагоне*, с десятком малолеток — колхозных девчушек, — робких, перепуганных. Все они были повинны в мелких кражах. Самая маленькая — Маня Петрова, одиннадцати лет, — украла на колхозном огороде горсть зеленого лука. Среди этого «сырья» была одна уже рецидивистка четырнадцати лет. Эту уже сырым не назовешь; это уже полуфабрикат, а может быть, и окончательно развращенная девчонка.

— Ах! Мне бы в Польшу попасть! Я бы в поездах воровала драгоценности — золото, бриллианты... Вот это жизнь! Малолетки с испугом и завистью слушали разглагольствования их более опытной подруги.

* Столыпинские вагоны впервые появились в 1908 году. Это были товарные вагоны, приспособленные для перевозки переселенцев из Европейской России в Сибирь, которые по имени инициатора массового переселения Петра Столыпина, известного министра царской России, стали называться столыпинскими. С торцов такого вагона имелись подсобные отсеки, где размещался сельхозинвентарь и перевозился скот.

21. Параша — символ солидарности уголовной мафии: тот, кто нарушает законы преступного мира, рискует взглянуть на дно параша. Виновников самосуда никто не выдаст. Когда в «общей» человек 200–300, то и дежурняки не осмеливаются вмешиваться. Свидетели никогда ничего «не видят». Иначе им не будет спасенья, в какую бы тюрьму их ни перевели.

22. Я с недоумением наблюдала за поведением этих малолеток. Если я не совсем понимала пантомиму этих парочек, то я слышала их разговоры. Их сквернословие вызывало отвращение, а цинизм приводил в ужас! До этого я встречалась с двумя типами «преступниц»: те, кто украли ничтожную долю того хлеба, который они давали стране. Они подобрали крошку, упавшую со стола государства, отбиравшего у них все: хлеб, труд, здоровье, мужей. Их заклеили позорным словом «вор». Вторая категория «преступников» — политические: это те, кто словом, делом или помыслением осмелились высказать свое недовольство или несогласие. Но откуда, Боже мой, откуда берутся эти развращенные, испорченные до мозга костей дети? Пока я ломала голову над этим вопросом, ответ пришел сам собой: сперва одна из новичков-малолеток, испуганно жавшихся к стене, на третьем ярусе нар, отделилась от стены и робко подползла к краю нар. За ней вторая, третья... Их широко раскрытые глаза и рты указывали на любопытство, а то, как они закрывали ладошкой рты, сжимали руками щеки и охали, все это указывало на испуг, но и на восторг и зависть. Дети — все дети — по природе хороши, добры и доверчивы. Беда в том, что они сами не в состоянии отличить добро и зло. Их необходимо воспитывать. И вот воспитанье малолетних правонарушительниц уже началось...

Христос говорил: «Истинно говорю вам: лучше с жерновом на шее упасть вам в омут, чем совратить единого из малых сил!» Но Он не рассчитал, что слишком много потребовалось бы жерновов...

Малолетки, жучки, коблы... Это уродство — порождение клоаки или исправительно-трудовых лагерей.

23. Тут я сообразила, что малолетки курочат котомки ново-прибывших этапниц, я ринулась туда и вмиг расшвыряла их во все стороны. Три сотни голов повернулись в мою сторону: «Я ничего не видела!» — послышалось со всех сторон, и все стихло.

Это значило разрешение расправиться со мной. Целая орава малолеток двинулась на меня. Что и говорить, положение не блестящее! Вроде — олень, окруженный волками. Только у оленя есть рога, и он может умереть сражаясь, а не головой в параше.

24. Я под конвоем доставлена на пароход «Ворошилов»... Тут азербайджанские женщины и дети. Они обступили меня, пытаюсь узнать, впадает ли эта река в Каспий. Обь — в Каспийское море! Три старухи, восемь женщин и 32 ребенка, старшему из которых лет 12... Лишь одна из них немного говорила по-русски. Вот их история: сыновья старух — они же отцы ребятишек, мужья их матерей — попали в плен в Крыму. В наказание их семьи выслали, они не знают куда и не понимают за что. Уже два месяца они ездят по Средней Азии и еще где-то... Восемь детей уже умерло. У всех — понос. Им дали на дорогу хлеб и селедку. Хлеб заплесневел, селедка очень соленая.

25. Странные это были похороны! Не на кладбище и даже не на берегу, а у самой кромки воды. Выше конвоир не разрешил. Я нарвала охапку осоки. Матери, ставши на колени, опустили в ямку сперва девочку, а затем мальчика, прикрыли лица платком, затем травой. Затем комья глины заполнили могилу, и все! Ни вздоха, ни слезы! Я знаю, насколько у восточных народов принято выражать свое горе на похоронах! И жутко было это молчание, насыщенное отчаянием. Эти еще молодые женщины производили впечатление обезумевших старух. Может, они смирились перед неизбежностью? А может, они поняли, что мертвым надо завидовать?

26. Я шагнула через порог КПЗ. Замок брякнул. В нос ударило невообразимо смрадным запахом человеческого горя. Окно без стекол заложено чем попало. Каморка в несколько квадратных метров, в которую набито около двух десятков женщин. Аромат немывших тел, какого-то кислого дыхания, раздавленных клопов, чадающей копилки и деревянной параша — это и есть тот запах человеческого горя, который долгие годы меня преследовал. Вдруг один из узлов тряпья выполз из-под нар и ринулся меня обнимать: — Фрося!.. Ты жива... Отчего ты его тогда не зарубила? Тебя бы расстреляли, но скольких бы ты спасла! Как бы мы все за тебя молились!

В этой растрепанной старухе я никогда не узнала бы аккуратную, круглолицую девушку Олю Попову, произведенную Хохриным в медсестры.

27. Единственный раз за всю зиму нас сгоняли в баню. В пути мы повстречали мужчин, уже возвращавшихся из бани. Ольга Попова толкнула меня в бок: — Гляди! Тимошенко! — и указала на жалкую фигуру оборванца.

Едва плетшийся доходяга и был тот стахановец — любимчик Хохрина, служивший для подхлестывания изголодавшихся, выбившихся из сил лесорубов. И он — в тюрьме! И он не сумел потрафить Хохрину. Нет! Мне было не очень жаль Тимошенко! Слишком хорошо я помнила, как он, сытый, издевался над голодными! Впрочем... этот дрожащий, сопливый оборванец ничем не напоминал того торжествующего хама...

28.

Люба-сказочница

Стоило ей сказать: «Ой, девки! Что мне сегодня приснилось!» — как все встают и окружают ее кольцом. Можно не сомневаться: она как начнет фантазировать на тему своего сна, так до вечера никому не даст тосковать! И обычных сказок — с Бабой Ягой, драконами и заколдованными царевнами — знала она великое множество, но рассказывала она одну и ту же сказку каждый раз по-разному. Однако лучше всего удавались ей импровизации на любую заданную тему. Такой характер — просто витамин радости для несчастных людей.

29.

Вдруг лицо начальника местного НКВД Салтымакова, до того спокойное, изменилось и приняло свирепое выражение. Он вскочил и со словами «довольно слушал я твое змеиное шипение!» двинулся на меня с вытянутыми ко мне ручищами. Инстинктивно я встала и шагнула вперед. Мгновение — и он, схватив меня за ворот, а другой — за шею, поднял меня в воздух и так встряхнул, что я ногами сорвала со стены вешалку. В то мгновение, когда я вновь коснулась ногами пола, я отреагировала автоматически [боксерским] ударом в скулу. Не столько от удара, как от неожиданности, он завертелся и отскочил. Затем, рванув из кобуры наган, ринулся ко мне. Отступить некуда, и я шагнула вперед и наткнулась на дуло револьвера. В одно мгновение, нет — даже в долю мгновения, — я поняла, что рукопашной у нас не получится, а сдаваться я не собираюсь. Прыжок — и в моих руках стул. Хрясь! Нет! Силенок у меня не хватило, чтобы ударить Салтымакова по ногам. Тяжелый стул от удара по полу разлетелся. Я замахнулась тем обломком, что был в моей руке. И тут, как сквозь туман, вижу начальника милиции Раткина и его секретаршу.

30.

Злая судьба свела меня с тремя моими землячками из Сорок... Отчего Крышталюк меня так невзлюбила?.. Желая меня уколоть, она стала носить моего покойного отца... Не помня себя, я ринулась к ней и... отмочили крышкой параша, как Бог черепаху. За эту вспышку дежурный скрутил мне руки за спиной сыромятным ремнем, а другой его конец захлестнул на шею петлей.

— Чтоб никто не смел ей помочь. Кто вздумает ослабить ремень, того я тоже скручу! Ой и тяжело ж мне пришлось! Нестерпимо ныли перетянутые ремнем руки, но еще мучительней давила на горло петля. Казалось, голова пухнет и дышать нечем. Женщины испуганно всхлипывали и закрывали руками лицо. Я пыталась сохранить равновесие, опираясь затылком о стену. Не помню, когда я упала. Очнувшись я от холода. Я была развязана, но голову и плечи облили водой.

31.

Подписать 206-ю статью об окончании следствия — пустая формальность. Мне было неясно, зачем прокурору понадобилось провести со мной чуть ли не полдня? Но я получила удовольствие: в комнате чисто, тепло, светло...

Сию на диване. На столе гора бумаг. Одних доносов Хохрина... сто одиннадцать! В этих бумагах жизнь и смерть. Чтобы так исказить истину — надо быть Хохриным, но, чтобы принять всерьез бред сумасшедшего садиста, — кем же надо быть?! Вот на этой странице собрана вся квинтэссенция. Тут я должна поставить свою подпись. Обмакиваю перо и, не колеблясь, пишу: «Ложь!» — Что вы наделали?!

32.

В зале суда **24 февраля 1943 года** я видела только Белобородова, **председателя суда**. И с Белобородовым я приняла бой с открытым забралом — бой более нелепый, чем любой из подвигов Дон-Кихота. Я знала, что все заранее предопределено, что судьи — заводные куклы, у которых вместо разума и души — лента с дырочками, как у шарманки. Но я не хотела быть паяцем, которого после представления выбрасывают. В Барнаульской тюрьме я читала и перечитывала переписку Маркса с Энгельсом. И я выкладывала то, что я видела и сама пережила, сопоставляла всю нашу действительность с взглядами и комментариями основоположников коммунизма. Не о себе я говорила и не пыталась защищаться. О нет! Я перечисляла все безобразия, что я видела в ссылке, в побегах, в тюрьмах... И не просто цитировала взгляды Маркса, но иногда, по памяти, указывала номер письма и страницу книги. И я закончила словами: «Правда как свет! Никогда «луч тьмы» не проникнет в светлое помещение! Вот почему ваша черная ложь боится луча светлой правды!» Я была так слаба, что едва держалась на ногах. Откуда же брались силы, чтобы в течение нескольких часов выдержать бой?

33.

Я не рассчитала свои силы... Голова закружилась, и я бы упала, не подхвати меня Швец.

— Ты не тушуйся — они заменят!

Когда смысл дошел до меня и я поняла, что физическую слабость он принял за страх **смертного приговора**...

Боже мой, как я рассмеялась! Ручаюсь, что эта крутая лестница не слыхала более звонкого смеха!

— **Неужели вы воображаете, что эта собачья жизнь так привлекательна, что я стала бы бояться смерти? Я просто ослабла от голода...**

34.

Лист бумаги, карандаш и предупреждение: «Через семьдесят два часа срок истекает».

Я пожала плечами: «Для меня он уже истек».

Однако бумагу взяла и написала: «Требовать справедливости не могу; просить милости не хочу!» Тут уже не Дон-Кихот подсказал мне эту фразу, а заносчивый вельможа Роган: «Roi ne puis; Prince ne deigne: Rohan je suis». Однако иметь бумагу, карандаш и не нарисовать с натуры интерьер КПЗ? Смрадный клоповник и женщин, ведущих борьбу со вшами... Не совсем подходящая обстановка для гордого Рогана, который, поскольку он не мог быть королем, считал ниже своего достоинства быть принцем!

35.

Двинулся наш караван в Томск, выполз из ворот, растянулся по еще не проснувшейся улице, поскрипывая мерзлым снегом, окутанный паром от дыхания. Впереди начальник конвоя на коне, затем мы, 11 женщин, потом опять верховой и группа мужчин — 33 человека, а позади двое саней с поклажей и провиантом, охранники... Вдруг далеко позади послышался чей-то вопль.

Сколько горя было в этом задыхающемся старческом голосе:

— Вася! Соколик родимый! Кормилец мой ненаглядный! Далеко — прямо целиком, по глубокому снегу бежала старуха.

— Шире шаг! — рывкнул конвоир, видя, что невольно все оглядываются.

Сколько беспомощного отчаяния было в попытке старухи догнать сына! Она размахивала клюкой и не выпускала из рук котомку с передачей. Вот она уже выбралась на дорогу. Но дорога идет в гору. Она уже не кричит. Видно, воздуха не хватает. Расстояние увеличивается. Но она все пытается бежать. Вот она упала. Встала, закружилась на месте и снова упала. Вот она встала и, не подымая торбы с передачей, побрела еще немного, упала и больше не вставала... Пока мы не завернули за стоявшие на отшибе домики, откуда дорога пошла вниз, на лед Оби, мы могли видеть лежащую на дороге темную фигуру. Что с ней? Не выдержало старое сердце? Или просто рыдает и рвет на себе волосы? Встанет ли? Или замерзнет? И что, собственно говоря, для нее лучше?

36.

Станок — бывшая почтовая станция на некогда оживленном купеческом тракте. Обычно это полуразрушенное здание: теплая и холодная половины. В теплой — конвоиры. Там же — меновой торг: на сэкономленный из нашего пайка хлеб конвоиры выменивают у крестьян мясо, рыбу, молоко, самосад. Нам дают 600 грамм (вернее половину) нашего этапного пайка и кружку теплой воды. Это на сутки. Подымают нас в 2 часа ночи и гонят до заката. Станок от станка — верст 40–50. Удивляться ли, что мы, проглотив свою пайку, валимся и засыпаем, не замечая, что под нами: каменный или бревенчатый пол? Есть ли хоть немного сена или хвои? Мы не замерзаем, так как нас как-никак 44 человека, а конюшня невелика. Параша — нет.

37.

Оставалось еще одно испытание: отправление естественной надобности. Что касается меня, то именно это было причиной самого невыносимого страдания — хуже голода, хуже жажды, хуже холода и хуже самой нечеловеческой усталости. Самое мучительное, самое унижительное чувство — стыд...

38.

...Да это Таня Жданова, пожалуй, самая симпатичная из тех, с кем мне довелось в ту памятную зиму кормить клопов. Не дожидаясь разрешения, она вытряхнула из сумки надрезанный круглый каравай, подбежала и, сунув мне дрожащими руками этот хлеб, пробормотала скороговоркой: «Эх, Фрося! Должно быть, в последний раз с обозом иду. Судить меня будут! Ведь меня до суда выпустили...»

Удар в грудь, подножка — и я полетела вверх ногами в снег. Первое, что я почувствовала, — это то, что хлеб у меня из рук вырвали... В следующее мгновение я поняла все. Рядом со мной копошилась серая куча: это, рыча по-звериному, дрались из-за куска только хлеба мужики. Хлеб был мерзлый; раскрошить его было не так-то просто!

Татьяна усердно нахлестывала лошаденку, стараясь как можно скорее отъехать от места свалки. Охранник Леня Пощаленко гарцевал на коне, положив руку на кобур. Я встала и пошла туда, где стояли, сбившись в кучу, женщины. На месте потасовки лишь взрытый и потоптанный снег да следы крови напоминали о том, что там произошло... Что и говорить! Велико влияние голода на человека! Он срывает с него налет цивилизации и превращает опять в зверя. Не всегда это проявляется

в одинаково уродливой форме: Царь-Голод каждый раз по-разному проявляет свою власть.

39.

Вот навстречу нам идет раздумывавшаяся от мороза молодка. На коромысле две бадейки воды. Тут я почувствовала, вернее, осознала мучительную жажду и резко нарастающую слабость. Напряжением воли я почувствовала, что идти вперед я могу, но отвести взор от бадейки с водой я не в силах... Вдруг все вокруг померкло. Лишь женщина с ведрами осталась в поле зрения. Тут это поле зрения стало сужаться, как шторы фотоаппарата. И тьма поглотила все. Тьма, непроглядная тьма поглотила все.

40.

— Жива! — услышала я, приходя в сознание.

— Жива... Но вряд ли встанет, — голос Пощаленко.

— Встанет! Живуча... — услышала я грубый голос.

— Придется хлеба дать.

— Обойдется, — буркнул второй голос, и я узнала голос Швеца.

Я хотела встать. Даже рванулась, но что-то тяжелое будто прижало меня и не давало шелохнуться. И тьма, крошечная тьма. Вдруг я почувствовала запах хлеба: Пощаленко совал мне в рот кусочек хлеба. Я лежала ничком, голова ниже ног, лицо в снегу. Взять хлеб рукой я не могла, но мне удалось взять его губами. Ломоть хлеба грамм сто, толщиной в палец, замерзший. Я возила его из стороны в сторону, пока с трудом его съела. И — о чудо! Я почувствовала, что тьма редет, будто я подымаюсь со дна бассейна и я вижу все сквозь воду. Но вот я вынырнула окончательно и, собрав все силы, встала и пошла. Но, Боже мой, чего мне стоили эти несколько оставшихся до Тигильдея километров!

41.

В Томске свирепствовал тиф: и сыпной и брюшной. Тюрьма не принимала этапов, не прошедших бани и прожарки, а бани не принимали заключенных — горячей воды не было. До позднего вечера бродили мы по городу. Мела поземка. Мы — голодные, продрогшие, измученные — еле держались на ногах. Вот баня.

«Сади-и-и-сь!» Мы покорно опускаемся на мостовую. Безуспешные переговоры и: «Па-а-ашел!» И опять мы бредем.

42.

Ночь. Ни один постоялый двор не пускает нас даже в сарай без справки из бани. Пощаленко с наганом в руке загоняет нас в сарай, несмотря на отчаянный визг и брань какой-то бабы. Темно. Пахнет плесенью и нечистотами. Стучим в двери, кричим:

— Выпустите на opravку!

— Начальник конвоя ушел. Не велел выпускать.

— А воду? А хлеб?

— Ничего не знаю! Велел спать.

Темно. На ощупь находим угол посуше. В противоположный ходим за нуждой. Холодно. Мучительно холодно: ведь мы даже того урезанного пайка не получили. Пить! Как хочется пить! Ложимся вповалку — мужчины, женщины... Спим.

Бичер Стоу, где ты?!

43.

Наверное, предела издевательствам нет, как нет предела выносливости человеческой.

Наконец баня нас приняла и угостила почти холодной водой. Наши вещи были направлены в прожарку. Вместо сухого пара их просто смочили холодной водой, и, стоя голышом на каменном полу предбанника, босые и мокрые, мы ожидали выдачи нашей одежды почти пять

часов! С нами в предбаннике находился конвоир в овчинном тулупе, и ему не было жарко... Наконец нам выдали... мокрую одежду. Дикая это была картина: клубок мокрых женских тел сине-фиолетового цвета все время шевелился: крайние изо всех сил стремились пробиться внутрь клубка, откуда их, в свою очередь, вытесняли те, кто был на периферии. Это вечное движение, должно быть, нас спасло. Такими мокрыми и продрогшими нас пригнали в тюрьму. Нет, еще не в тюрьму, а в бывшую тюремную церковь, где и заперли. Но у церкви крыши не было. Над головой — ночное небо; под ногами — снег, нечистоты. И слышат уловники. Ой, как мы кричали!

44.
Из церкви нас отвели в деревянный одноэтажный барак и оставили в длинном холодном коридоре. Откуда-то потянуло теплом, и мы двинулись в ту сторону. В конце коридора мы нашли небольшую баню. Наконец-то в тепле! Мы повалились на пол и моментально уснули... и угорели. Однако проснулись вовремя. Тогда-то я поняла смысл выражения «мечется как угорелый». Темнота, чувство какого-то ужаса... Женщины металась, кричали и не могли найти дверей. Тут появился подагрический старикашка с фонарем. Оказалось, что это баня для начальства.

45.
Казалось, что физические страдания должны были сделать нас бесчувственными ко всему прочему. И все же нет! Когда нас после бани заставили голышом дефилировать мимо солдат-охранников, то молодые девушки, даже после испытаний этапа не утратившие еще остатки своей женственности, так и корчились от стыда под их наглыми насмешками и непристойными жестами.

46.
— **Вста-а-а-ть! Безобр-р-разие! Заключенные спят после подъема! Всем на три дня штрафной паек!**

Разумеется, я пыталась объяснить начальнику тюрьмы, что мы — новый этап, только что прибывший из Нарыма, что нас двое суток не могла принять тюрьма, что мы до предела измучены, **всю ночь нас оформляли и лишь после подъема привели в камеру...**

— Рассуждать смеешь! Рррраздеть — и в карцер! Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку. Потащил и рубашку с короткими рукавами, но, убедившись, что под ней голое тело, оставил.

47.
С корабля на бал — это неплохо. Иное дело, с такого этапа — и в карцер. Карцер? Нет, это не карцер. Все карцеры заняты под тифозные изоляторы. Роль карцера исполняет нужник.

Нужник царской тюрьмы на два очка: ведь и камеры (по крайней мере, в этом корпусе) на двух заключенных. В нашей камере нас, женщин, 25. В мужских камерах по 40 больше. Гоняют на opravку сразу всех из одной камеры. Два очка. Загоняют по 40 человек. Минуты три и — марш в камеру! И темно. В тюрьме нет света: электростанция не работала. Не было топлива. Были в коридорах копилки на пихтовом масле. Когда меня толкнули в карцер, было уже светло. Было часов девять. Пирамиды уже почти замерзли. Но ступить обеими ногами было некуда: приходилось стоять на одной ноге. От усталости я могла уснуть и упасть на незамерзшие пирамиды. Этого — нельзя. Сил нет! Можно присесть: на стульчаке можно выбрать местечко. Но, присев, я замерзну. Не замерзнуть в тайге, а замерзнуть в нужнике? Позор! К счастью, меня скоро выпустили: надо было очистить помещение, пока не замерзло...

48.
Меня отправили с группой 58-й статьи в лагерь около станции Межениновка, где-то неподалеку от узловой станции Тайга.

Поезд дернулся и остановился. Дверь покати́лась в сторону.

— Выходи! Остановка — одна минута! Прыгай! Живо! Живо!

поле, не то на поляне: на фоне неба — силуэты голых ветвей. Куда прыгать? Два конвоира соскочили и сразу скрылись неизвестно где. Мои сборы были недолгими — рюкзак на спине, голова не покрыта: моя беличья шапка, которую шкипер Люба мне дала за мой похоронный платок, сгорела в прожарке. Я прыгнула, скатилась по насыпи и погрузилась по пояс в снег. Я сразу обернулась в сторону вагона, откуда неслись вопли и брань. То, что я увидела, было возмутительно, но и смешно. В вагоне горела свеча и видны были силуэты людей. Некоторые прыгали сами, кое-кто сползал на животе, но большинство вылетали от удара ногой. Летели чемоданы, узлы, котомки. Поезд тронулся. Солдаты соскочили. А багаж?

362 Евфросиния попала в исправительно-трудовой лагерь, в лагпункт № 3 Межениновка Томской области. Работать можно было, по выбору: в цехах деревянной игрушки, ширпотреба, бондарном (в нем делали деревянную посуду и бочки, перевязанные обручами). Бригадир Вейсман посоветовал Евфросинии взяться за такую работу, при которой можно сразу выполнять норму и получать гарантийный, а не штрафной паек, а значит, сохранить жизнь. Но она решила овладеть незнакомой ей, но полезной специальностью бондаря. Только благодаря помощи бригадира она укладывалась в нормы.

Однако вскоре ее художественные наклонности были замечены в мастерской по выжиганию рисунков по дереву (выжигалке), и ее перевели туда.

В это время в лагерях была массовая гибель людей от голода и авитаминоза — пеллагры. Благодаря помощи врача, Сарры Абрамовны Гордон, жены «врага народа», Евфросиния попала в лагерный стационар и получила шанс на жизнь.

Летом, еще истощенную, Евфросинию этапировали в лаготделение № 4 на станции Ельцовка под Новосибирском. С июня 1943 года она работала в ночной смене в шапочной мастерской в бригаде по починке шапок, привезенных с фронта, а днем — в подсобном хозяйстве, где могла подкрепиться сырыми овощами. С сентября половину своего пайка и те овощи, что могла тайком принести с поля, Евфросиния отдавала беременной солагернице Вере Леонидовне Таньковой (из рода адмиралов Невельских). В лагере было принято платить за любую услугу, в том числе за хорошее место работы. За то, что она приносила с поля овощи не своему бригадиру, а своей подопечной Таньковой, работы в тепле Евфросиния лишилась. Ее перевели в лагерь на строительство военного завода под Новосибирском, где заключенные работали без применения строительных механизмов: В начале зимы 1943 года на морозе она возила тачки с раствором и материалами по трапам на пятый этаж.

► Путь Евфросинии по этапам и лагерям 1942–1944 годов: Молчаново Нарымского округа, Томск, лагерь Межениновка Томской области, лагерь Ельцовка под Новосибирском — Красноярск.

Нанесено на карту Томской губернии из «Атласа азиатской России», 1914 г., Переселенческого управления землеустройства и земледелия.

Дальнейший путь, по которому везли Евфросинию в Норильский лагерь в июле-августе 1944 года: Красноярск — порт Злобино — река Енисей — порт Дудинка — Норильск.



Прибытие в исправительно-трудовой лагерь оказалось кульминацией издевательств. Прежде всего нас заставили раздеться догола и нас впихнули в какие-то дощатые кабины без крыши. Над головой сверкали звезды, под босыми ногами — замерзшие экскременты. Сечение ящика — 1 квадратный метр. В каждом трое-четверо мужчин и женщин — голых, дрожащих, испуганных. Затем, открывая один за другим эти собачьи ящики, выводили голых людей и вели через двор — своего рода предбанник лагеря — в специальное здание, где оформляли документы и шмонали наши вещи.



Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли нам, а хорошие вещи — свитера, варежки, носки, шарфы, жилеты, хорошую обувь — забирали себе. Десять грабителей бесстыдно обворовывали обездоленных, чуть живых людей.

Исправительный должен делать нас лучше. Труд — облагораживает. А лагерь — это же не тюрьма. Так что же это происходит?!



Альбом 5. Часть 2. Рис. 49

а и нас влихнули из какие то досчатые кабины, без крыши. На озой - еверкали ззе зды; под босыми ногами - замёрзшие эксменты. Сечение ящика - 1м². Из каждого 3-4 мужчин и женщин, двоюродных, испуганных. Затем, открывая, один за другим от, сойзачи ящики, вывозили голых людей и вели, через двор - - езвого рода, предбзник" лагеря - из специальное эдани где "оформляли" документы и "шмонали" наши вещи. Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли, а хорошие вещи - свитера, варежки, носки, шарфы, жилеты, шую обувь - забирали себе. Десять грабителей бесстыдно о зывзали обездоленных, чуть живых, людей. "Исправительный" должен делать нас лучше. "Труд" - облагораживает, а ерн? "Эти все - не тюрьма. Так что же это происходит?!"

Наверное, Валаам не так удивился, когда заговорила человеческим голосом его ослица, как тюремщики (то есть «воспитатели»), когда я попыталась протестовать против такого циничного грабежа. Но я успела вовремя сообразить, что если «малолетки» имеют право грабить «новеньких» на пересылках, то «воспитатели» имеют то же право, но в более широком объеме: они грабят открыто. Я замолчала: не было смысла свое пребывание в лагере начинать с карцера.



Наверное Валаам не так удивился, когда заговорил человеческим голосом его ослица, как тюремщики (т.е. «воспитатели»), когда я попыталась протестовать против такого циничного грабежа. Но я успела вовремя сообразить, что, если «малолетки» имеют право грабить «новеньких» на пересылках, то «воспитатели» имеют то же право — но в более широком объеме: они грабят открыто. Я замолчала: не было смысла свое пребывание в лагере начинать с карцера.

Когда же и мой рюкзак полетел в кучу конфискованных вещей, я заявила протест: пусть без завязки, но рюкзак мне обязаны вернуть. Наверное, Валаам не так удивился, когда заговорила его ослица! Ведь в старину к ослам, даже не говорящим, относились с известным уважением и вслед за «чадами и домочадцами» всегда упоминались ослы. У «воспитателей» глаза на лоб полезли, и я сообразила, что начинать знакомство с каждой новой тюрьмой с карцера явно не в моих интересах! Прощай, мой добрый рюкзак.

Я получила еще один урок: нет у нас такого обездоленного человека, которого нельзя было бы хоть еще немного обездолить...



Когда же и мой рюкзак полетел в кучу конфискованных вещей, я заявила протест: пусть без завязки, но рюкзак мне обязаны вернуть. Наверное Валаам не так удивился, когда заговорила его Ослица! Ведь, в старину, к ослам — даюже не говорящим, относились с известным уважением и, вслед за «чадами и домочадцами», всегда упоминались ослы. У «воспитателей» глаза на лоб полезли и... Я сообразила, что начинать знакомство с каждой новой тюрьмой с карцера — явно не в моих интересах! Прощай, мой добрый рюкзак.

Я получила еще один урок: нет, у нас такого обездоленного человека, которого нельзя было бы хоть еще немного обездолить...

«Вы хотите научиться полезному? Самое полезное, чему можно научиться в лагере, — это научиться выдержать. И — выжить. Советую вам в ваших же интересах: работая, старайтесь сберечь свои жизненные силы. Не пренебрегайте ничем, чтобы съесть лишний кусочек хлеба. Я вижу, что вы негодуете? Вас возмущает мой цинизм? Шесть лет тому назад и я бы не поверил, что буду так рассуждать! И уверяю вас, что значительно раньше, чем через [шесть] лет, вы со мной согласитесь, но только в том случае, если, даже не соглашаясь со мной, последуете моему совету и возьметесь за работу полезную не в широком смысле, а в самом простом — полезную лично вам. Нормальный человек без еды может выдержать больше месяца, но фитиль, то есть человек, истощенный до предела, такой фитиль, дня [два-три] лишенный пищи, умирает».



«Вы хотите научиться полезному? Самое полезное, чему можно научиться в лагере — это научиться выдержать. И — выжить. Советую вам в ваших же интересах: работая, старайтесь сберечь свои жизненные силы. Не пренебрегайте ничем, чтобы съесть лишний кусочек хлеба.

Я вижу, что вы негодуете? Вас возмущает мой цинизм? Шесть лет тому назад и я бы не поверил, что буду так рассуждать! И уверяю вас, что значительно раньше, чем через блет, вы со мной согласитесь... но только в том случае, если — даюсе не соглашаясь со мной — последуете моему совету и возьметесь за работу «полезную» — не в широком смысле — а в самом простом — полезную лично вам

Нормальный человек, без еды, может выдержать больше месяца, но «фитиль» — т.е.

человек, истощенный до предела, — такой «фитиль», дня 2-3 лишенный пищи, умирает.»

Хайм Исакович Вейсман, сын раввина из Гомеля, видный коммунист... а, с 1937 года, 3/к по ст КРД — мудрый... и добрый человек, сколько «дипломатического такта»... и «змеиной мудрости» проявил он, что бы «сохранить пайку», (а следовательно — и жизнь) своим «брат-гадникам». А было их, у него 123, «доходяги». И они могли надеяться выжить... В другой бригаде, у Немировича, было 111 человек... в прошлом году... в нынешнем их было также 111... но «прошлогодним» был лишь сам Немирович: остальные 110... умерли, от голода. Они не могли выполнять нормы — 60 деревянных досок, в день... — и получили «штрафной» пайок, т.е. половину.

Хайм Исакович Вейсман, сын раввина из Гомеля, видный коммунист, а с 1937 года з/к по статье КРД [контрреволюционная деятельность], — мудрый и добрый человек. Сколько дипломатического такта и змеиной мудрости проявил он, чтобы сохранить пайку (а следовательно — и жизнь) своим бригадникам! А было их у него 123 доходяги. И они могли надеяться выжить. В другой бригаде, у Немировича, было 111 человек в прошлом году... В нынешнем их было также 111, но прошлогодним был лишь сам Немирович: остальные 110 умерли от голода. Они не могли выполнять норму — 60 деревянных ложек в день — и получали штрафной паек, то есть половину.



И все же я настояла на своем и принялась за изучение полезной специальности бондаря*. Если есть желание освоить какое-либо ремесло, то рано или поздно успех будет достигнут. Рано или поздно... Вся беда в том, что в нечеловеческих условиях лагеря успех обязательно пришел бы слишком поздно.

* Бондарь (бочар) — ремесленник, выделяющий бочки, обручную или вязанную деревянную посуду.



И все же я настояла на своем и принялась за изучение "полезной" специальности бондаря. Если есть желание освоить какое-либо ремесло, то, рано или поздно, успех будет достигнут. "Рано или поздно"... Вся беда в том, что, в нечеловеческих условиях, лагеря, успех обязательно пришел бы слишком поздно,

Посреди комнаты стоял мольберт, а за ним сидел одноногий старик с густыми бровями и усами, но лысый.



Посреди комнаты стоял мольберт,
а, за ним, сидел одноногий старик, с
густыми бровями и усами, но - лысый.

Если не считать раннего детства, то я не пыталась претендовать на звание художника, но тут я смело взяла в руку карандаш и изобразила на доске три лошадиных головы, пять ног* и один хвост. Головы были, по меньшей мере, устрашающие. На любом из этих коней св[ятой] Георгий Победоносец, на старинной иконе, мог бы поразить Дракона, но запрячь подобных чудовищ в тройку? Нет! Это было бы недопустимой авантюрой! Но Заруцкий пришел в восторг:
— Великолепно! Это просто великолепно!

* На рисунке изображены 6 ног. (Прим. редакции.)

— Я вас перевел к Заруцкому, — сказал Вейсман. — Он явился ко мне вчера просто с ультиматумом: ваша «Тройка» растоптала вдребезги его спокойствие.

И вот я — на новой работе...



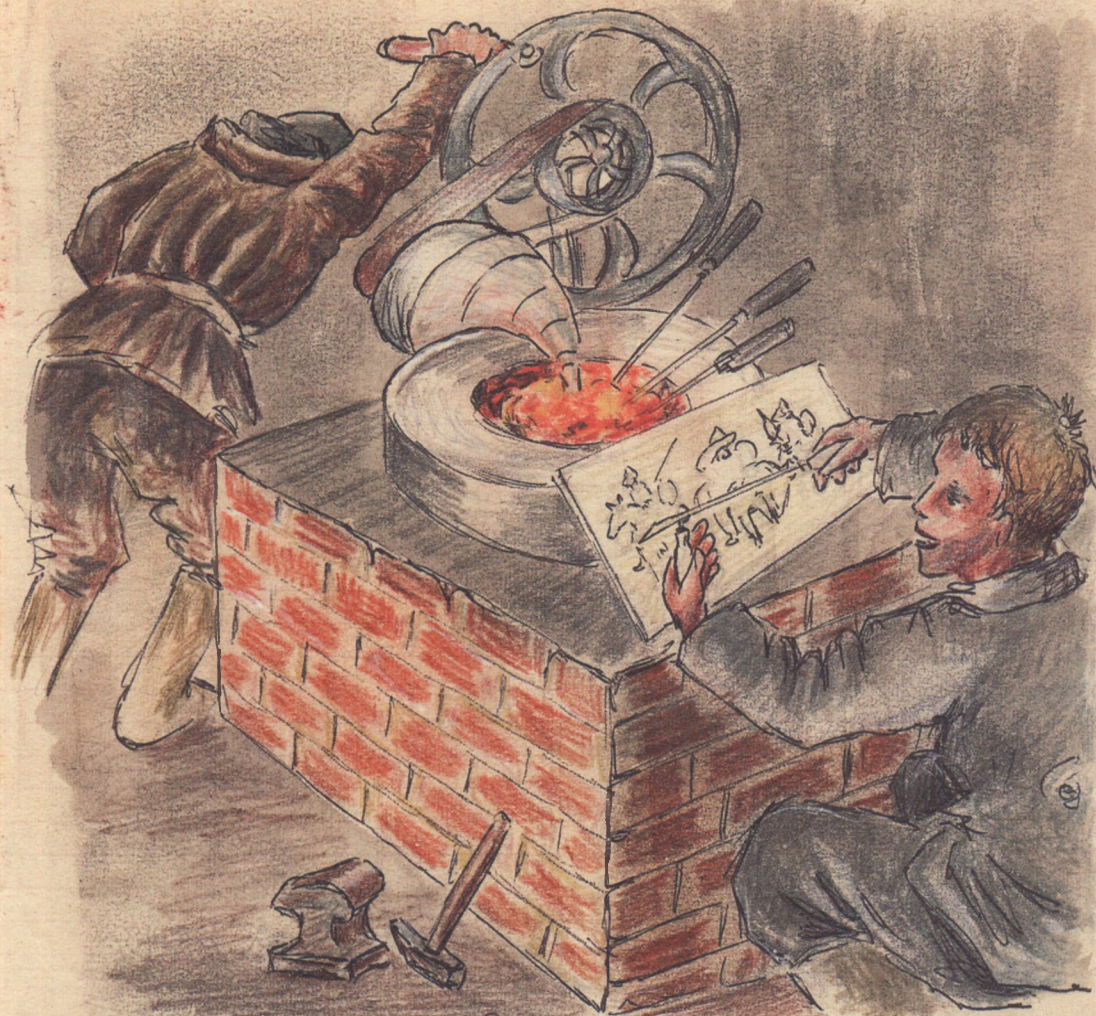
Если не считать раннего детства, то я не пыталась претендовать на звание художника, но тут я смело взяла в руку карандаш и изобразила, на доске, три лошадиных головы, пять ног и один хвост. Головы были, по меньшей мере, устрашающий. На любом из этих коней, св. Георгий Победоносец, на старинной иконе, мог бы поразить Дракона, но запрячь подобных чудовищ в тройку? Нет! Это было бы недопустимой авантюрой. Но Заруцкий пришел в восторг:

„Великолепно! Это — просто великолепно!“

— Я вас перевел к Заруцкому, — сказал Вейсман. — Он явился ко мне вчера, просто с ультиматумом: ваша „Тройка“ растоптала вдребезги его спокойствие.

И вот я — на новой работе...

Таким образом, в угарной атмосфере, мы с Баландиным творили шедевры. Но работа мне нравилась, и, преодолевая головную боль и усталость, я трудилась не разгибая спины.



Таким образом, в угарной атмосфере, мы с Баландиным „творили шедевры“. Но работа мне нравилась и, преодолевая головную боль и усталость, я трудилась, не разгибая спины.

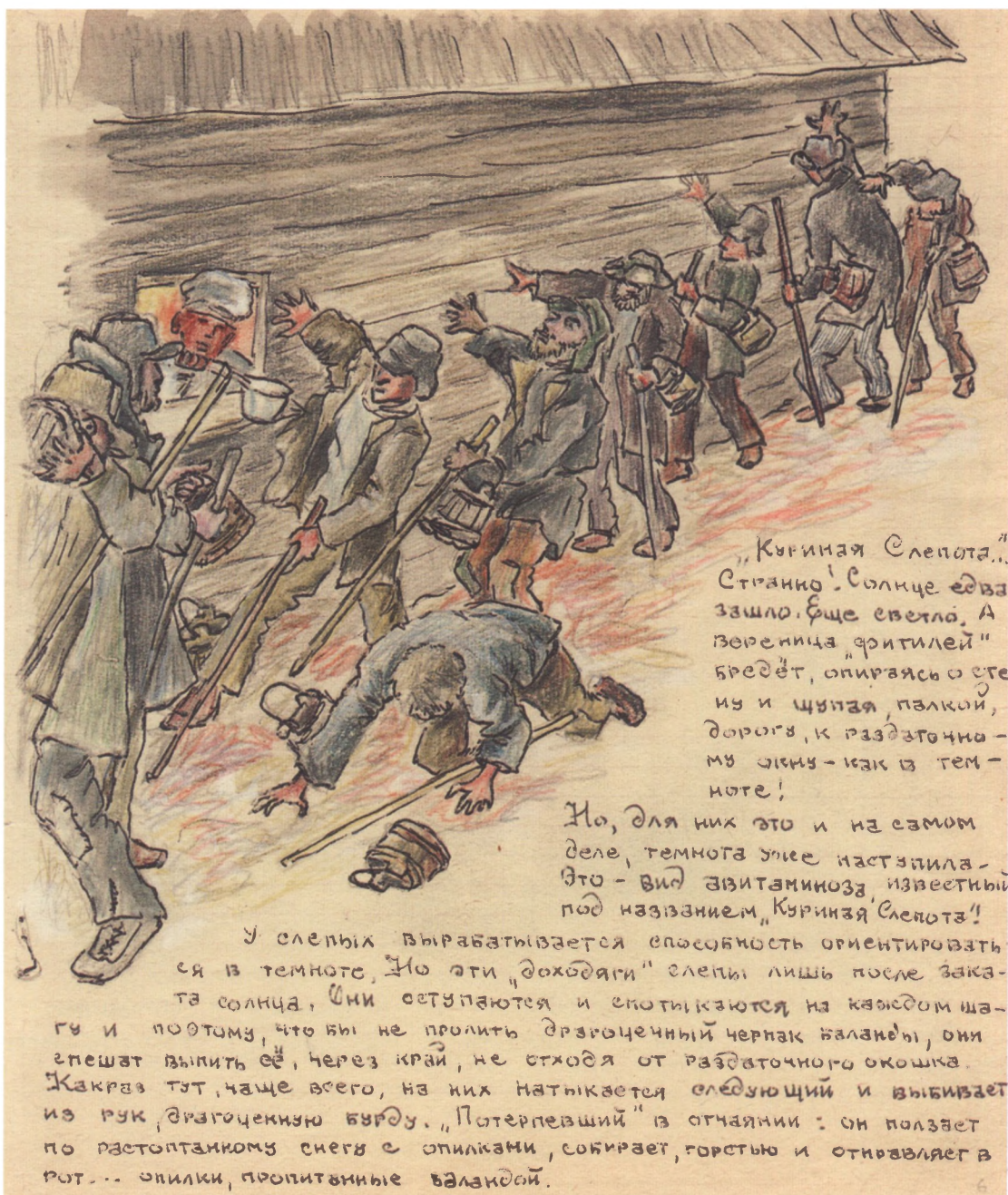
Куриная слепота...

Странно! Солнце едва зашло. Еще светло. А вереница фитилей бредет, опираясь о стену и щупая палкой дорогу, к раздаточному окну — как в темноте!

Но для них это и на самом деле темнота уже наступила. Это вид авитаминоза, известный под названием куриная слепота.

У слепых вырабатывается способность ориентироваться в темноте. Но эти доходяги слепы лишь после заката солнца. Они оступаются и спотыкаются на каждом шагу, и поэтому, чтобы не пролить драгоценный черпак баланды, они спешат выпить ее через край, не отходя от раздаточного окошка.

Как раз тут, чаще всего, на них натывается следующий и выбивает из рук драгоценную бурду. Потерпевший в отчаянии: он ползает по растоптанному снегу с опилками, собирает горстью и отправляет в рот... опилки, пропитанные баландой.





Наша лагерная кляча, спотыкаясь, брела по настилу из бревен, брошенных в незамерзающее болото. Бревна шевелились, погружаясь в болото, и Сарра Абрамовна колебалась над конским хребтом, как дирижабль. От успеха ее экспедиции зависела жизнь или смерть восьмисот доходяг. Естественно, что все мы высыпали, несмотря на запрещение, на бугорок в зоне. Наши самые горячие молитвы сопровождали в пути храбрую женщину, впервые севшую на лошадь — и на какую лошадь! — и поехавшую за 35 км по бездорожью. И успех сопутствовал ей: тем же вечером были сброшены из поезда, лишь замедлившего ход, мешка [четыре] муки.



Наша лагерная кляча, спотыкаясь, брела по настилу из брёвен, брошенных в незамерзающее болото. Брёвна шевелились, погружаясь в болото и Сарра Абрамовна колебалась над конским хребтом, как дирижабль. От успеха её экспедиции, зависела жизнь или смерти восьмисот доходяг. Естественно, что все мы высыпали, несмотря на запрещение, на бугорок, в зоне. Наши самые горячие молитвы сопровождали, в пути, храбрую женщину, впервые севшую на лошадь — и на какую лошадь! — и поехавшую, за 35 км, по бездорожью. И успех сопутствовал ей: тем же вечером были сброшены из поезда, лишь замедлившего ход, мешка 4 муки.

Среди фитилей трудно найти таких, кто может дотащить на себе мешок муки на расстояние нескольких километров. Среди таких «героев» вызвалась и я. Больше того: один мешок несли четверо; я же сделала волокушу и свой мешок приволокла я одна. Правда, конвоир разрешил нам съесть по пригоршни сырой муки. Это придало нам сил, но, Боже, какой резью в животе пришлось расплатиться за счастье поесть муки!



Среди «фитилей» трудно найти таких, кто может дотащить на себе мешок муки на расстояние нескольких километров. Среди таких «героев» вызвалась и я. Больше того: один мешок несли четверо; я же сделала «волокушу» и свой мешок приволокла я одна. Правда, конвоир разрешил нам съесть по пригоршни сырой муки. Это придало нам сил, но... Боже! Какой резью в животе пришлось расплатиться за счастье поесть муки!

Пасха 1943 года.

Давно уже наша скудная пища была без соли... Живя на воле, можно грызть кору, есть землю, траву... При полном отсутствии соли — изотония крови и лимфы, и это ощущается очень мучительно. И вот Баландин, похристосовавшись со мной, [сказал]:

— Ну, Фрося! Что я принес!.. Вот с тобой разговеемся...

И он бережно расстелил на краю горна тряпочку: это была соль! Целая чайная ложечка соли! Это — не всякий поймет! А оценит лишь тот, кто знает, что это значит — поделиться щепоткой соли!

Мы отщипывали по кусочку от наших паек, бережно макали в соль и благоговейно отправляли в рот. Могло ли что-нибудь быть вкуснее?! Но как грустно...



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 2. РИС. 60



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 2. РИС. 60 (ФРАГМЕНТ) ▼



Последние дни апреля я работала, задыхаясь в дыму... Кроме своей работы, я выполняла норму Прошина*, который рисовал «ковер» кому-то из начальства. И Заруцкий хотел подарить всем начальникам по шкатулке, на крышке которых я выжигала картины. От дыма дерет горло и слезятся глаза... Но не беда! Впереди — два выходных, 1 и 2 мая, и я смогу посидеть на солнышке... Отдышусь!

* Далее у автора — Порошин.

Работа закончена. Наспех проглотив свою баланду, я устроилась на штабеле досок. Солнышко заходит. Его косые ярко-желтые лучи создают иллюзию тепла. У меня в руках еловая ветка. Я с наслаждением ее нюхаю. Запах хвои, запах смолистых досок воскрешают в памяти бескрайнюю тайгу, по которой я в прошлом году шагала.



— Керсновская?

Очарование нарушено. Передо мной солдат. Один из тех конвоиров, что помогали мне привязать мешок с мукой.

— Отдыхаешь?

— Отдыхаю... Наглоталась дыма. Надо проветрить легкие. А в чем дело?

Я все еще улыбаюсь, нюхая еловую лапу. У солдата какой-то смущенный вид. Он поворачивается и уходит. Я удивлена.



АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 2. РИС. 61

АЛЬБОМ 5. ЧАСТЬ 2. РИС. 61 (ФРАГМЕНТ)



Последние дни Апреля я работала, задыхаясь в дыму... Кроме своей работы, я выполняла "норму" Прошина, который "рисовал ковер" кому-то из начальств. И Заруцкий хотел подарить всем начальникам по шкатулке, на крышке которых я выискала "картины". От дыма дерёт горло и слезятся глаза... Но - беда! Впереди - два "выходные" - 1^{ое} и 2^{ое} мая - и я смогу посидеть на солнышке... Отдыхать! Работа закончена. Напех проглотил свою валанду, я устроилась на штабеле досок. Солнышко заходит. Его косые, ярко-кисельные лучи создают иллюзию тепла. У меня, в руках, еловая ветка. Я, с наслаждением её нюхаю. Запах хвои, запах смолистых досок искрещают в памяти, бескрайнюю тайгу, по которой я, в прошлом году шагала.

— „Керсновская?“ Очарование нарушено. Передо мной - солдат. Один из тех конвоиров, что помогали мне привязать мешок с мукой.

— „Отдыхаешь?“ — „Отдыхаю... Наглоталась дыма. Надо проветрить легкие. А в чем дело?“ Я все еще улыбаюсь, нюхая еловую лапу. У солдата какой-то смущенный вид. Он поворачивается и уходит. Я удивлена.

Если на свете есть что-нибудь до того омерзительное, что отвращение вызывает что-то близкое к ужасу, то это пьяное существо, потерявшее облик человеческий, особенно если это женщина. Но быть запертой с такой тварью в тесной клетушке...

Это отвращение так и осталось в моей памяти неотделимым от праздника 1 мая — такого радостного, весеннего, душистого. Тогда, вечером, солдат меня не забрал. Пожалел. Но утром...

Это закон: в праздник надо политических репрессировать.



Если, на свете, есть что-нибудь до того омерзительное, что отвращение вызывает что-то, близкое к ужасу, то это — пьяное существо, потерявшее облик человеческий... особенно, если это — женщина. Но быть запертой, с такой тварью, в тесной клетушке...

Это отвращение — так и осталось, в моей памяти, неотделимым от праздника 1^{го} Мая — такого радостного, весеннего, душистого. Тогда, вечером, солдат меня не забрал. Пожалел. Но утром... Это закон: в "праздник" надо политических "репрессировать".

— Смотрите, бабоньки! А наша-то Фрося совсем неплохо выглядит: вода с кожи скатывается. Значит, будет жить...

Это было сказано месяца через два после первой бани, когда женщины ужаснулись: казалось, такой покойник не может вернуться в строй живых. Что ж, такого рода живучесть граничила с чудом. Но кто может отрицать, что чудеса возможны? Во всяком случае, не тот, кто боролся с Хохриным, изучал географию Сибири таким способом, как это сделала я, а затем прошел все семь кругов Ада, называемого правосудием, — следствием, этапами и т. п.

Разумеется, такой лагерь смерти, как л/п № 3 Межениновка, не курорт, но для меня и это оказалось передышкой на пути к могиле.



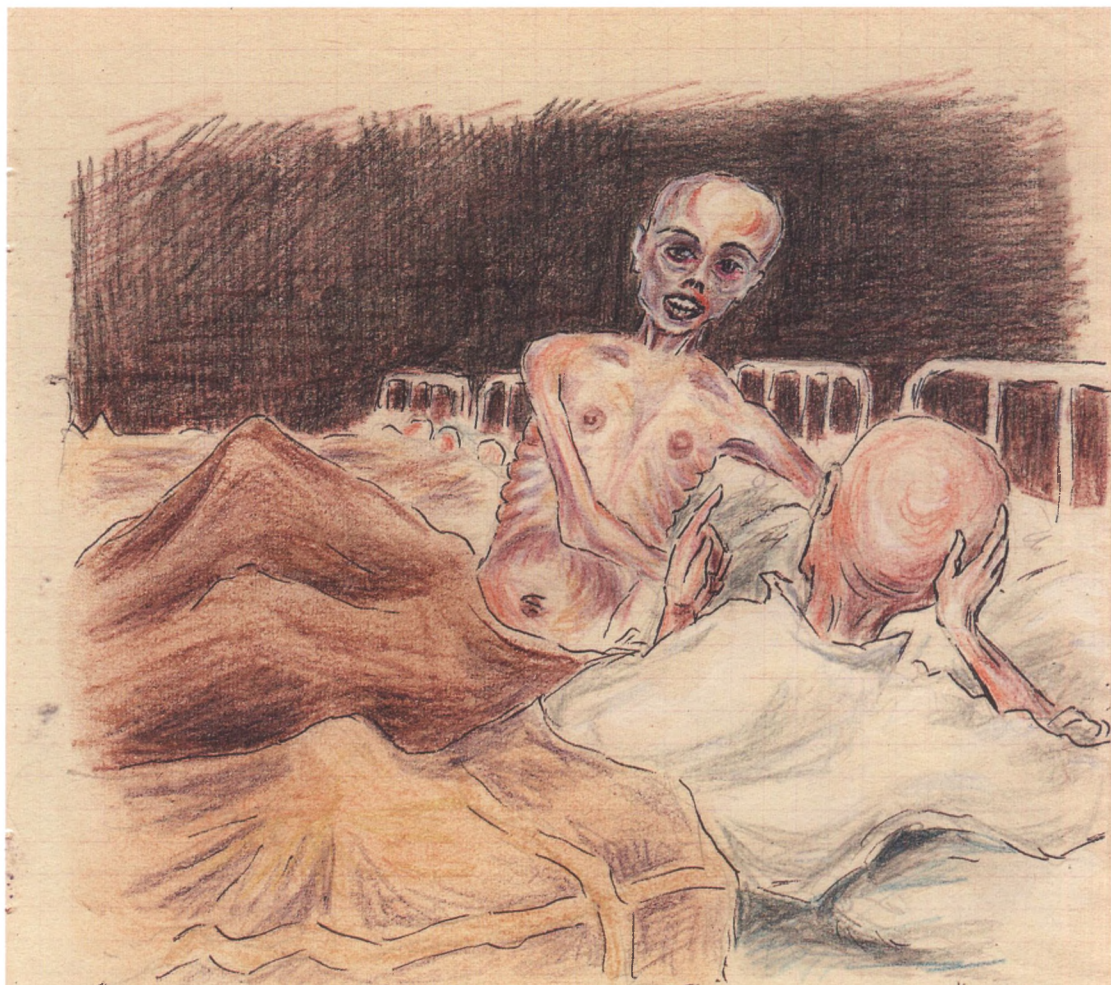
— Смотрите, бабоньки! А наша-то Фрося — совсем неплохо выглядит: вода с кожи скатывается. Значит — будет жить....

Это было сказано месяца через 2 после первой бани, когда женщины ужаснулись: казалось такой "покойник" не может вернуться в строй живых. Что же? Такого рода живучесть, граничила с чудом. Но кто может отрицать, что чудеса возможны? Во всяком случае, не тот, кто боролся с Хохриным, изучал географию Сибири таким способом, как это сделала я, а затем прошел все 7 кругов Ада, называемого "правосудием" — следствием, этапами и т. п. Разумеется такой "лагерь смерти", как УМЗ Межениновка — не курорт, но... для меня и это оказалось "передышкой" на пути к могиле.

Она металась, ежеминутно вскакивая, и я понимала ее, бедную девочку: у ворот лагеря стояла ее мать. Указников*, безнадежно больных, активировали и отдавали родителям, но не тех, кто был нетранспортабельным и должен был умереть в ближайшие дни. Но она надеялась... И так ждала! Боялась только, как бы не испугать свою мать. Я ее всячески обнадеживала, а кровь каплями стекала...

Смерть ее не была мучительной: просто вместе с кровью окончилась ее жизнь... Почувствовала ли мать, когда в телеге под брезентом везли в общую могилу ее дочь? Ту, что была кудрявой красавицей с фиолетовыми глазами?

* Указники — арестованные по указу начала 1940-х годов за самовольный уход с работы или из училищ и школ ФЗО. Наказания им назначались несоразмерно провинностям, истощенных, их отправляли в лагерь. Одной из таких указниц была девочка Ванда.



Она металась, ежеминутно вскакивая и я понимала ее, бедную девочку: у ворот лагеря стояла ее мать. Указников*, безнадежно больных, активировали и отдавали родителям, но... не тех, кто был нетранспортабельными и должен был умереть в ближайшие дни. Но она надеялась... И так ждала! Боялась только... как бы не испугать свою мать. Я ее всячески обнадеживала... а кровь, каплями, стекала...

Смерть ее не была мучительной: просто, вместе с кровью, окончилась ее жизнь... Почувствовала ли мать, когда в телеге, под брезентом, везли в общую могилу ее дочь? Ту, что была кудрявой красавицей с фиолетовыми глазами?

У меня не было основания питать нежные чувства к Сибири... Но когда старый профессор Томского университета начинал говорить о Сибири, трудно было не поддаться очарованию! Не только я, но и Порошин и Заруцкий замирали, затаив дыхание! Чем прогневал этот милостью Божией лектор начальство, что его в 1937 году заставили вместо лекций в аудитории плести корзины?



У меня не было основания питать нежные чувства к Сибири... Но, когда старый профессор Томского Университета начинал говорить о Сибири... трудно было не поддаться очарованию! Не только я, но и Порошин и Заруцкий замирали, затаив дыхание! Чем прогневал этот "милостью Божией" лектор, начальство, что его, в 37^{ом} году, заставили, вместо лекций в аудитории, плести корзины?

Мужики вылили отходы больничной кухни в отлив нужника, и, как только они ушли, вся толпа доходяг, делавших стойку, как охотничьи собаки, ринулась к отливу. Они отталкивали друг друга, выгребали руками рыбы пузыри, чешую и жадно поглощали их.

Перед глазами у меня финал этой картины. На скудной вытоптанной травке стоит на четверинках профессор Колчанов; все тело его сотрясается — его рвет... Когда рвотный спазм прекращается, он сгребает с земли то, что вырвал, и отправляет в рот...

— Ага! Значит, Вы наблюдали цвет нашей интеллигенции! — саркастически сказал Порошин, когда я рассказала об этом на работе.



Мужики вылили отходы больничной кухни в отлив нужника и, как только они ушли, вся толпа "доходяг", делавших "стойку", как охотничьи собаки, ринулась к отливу. Они отталкивали друг друга, выгребали руками, рыбы пузыри, чешую и жадно поглощали их. Перед глазами у меня, финал этой картины. На скудной, вытоптанной травке, стоит, на четверинках, профессор Колчанов; все тело его сотрясается — его рвет... Когда рвотный спазм прекращается, он сгребает с земли то, что вырвал и... отправляет в рот... — Ага! Значит Вы наблюдали "цвет нашей интеллигенции!" саркастически сказал Порошин, когда я, об этом рассказала, на работе.

Так умер Вилли Энгель, веселый паренек — немец из Саратова. Истощенный до предела, он работал из последних сил, чтоб перевыполнить норму и получить премблюда* — ложку капусты. Сердечная мышца... Да что от нее осталось, от этой мышцы? Явно недостаточно для того, чтобы перекачивать кровь. И оно остановилось.

* Премблюда — премиальное блюдо.



Так умер Вилли Энгель — весёлый паренёк — немец из Саратова. Истощённый до предела, он работал из последних сил, чтоб перевыполнить норму и получить "премблюда" — ложку капусты. Сердечная мышца... Да что от неё осталось, от этой мышцы? Явно недостаточно для того, что бы перекачивать кровь. И оно остановилось...

Весеннее солнышко пригревало землю, и все пеллагрики, еще не успевшие умереть, выползли на бугорок (смотровой плац), подставляя солнцу свои изуродованные тела-скелеты, обтянутые бурой, в сизых пятнах, шелушащейся кожей. Тут же бродила лагерная кляча, у которой пеллагрики яростно оспаривали право на чудом уцелевшие стебельки травы. Пеллагра губительно действует на психику: люди становятся злыми и могут часами говорить друг другу гадости, стараясь побольнее задеть.



Весеннее солнышко пригревало землю и все пеллагрики, еще не успевшие умереть выползли на "бугорок" (смотровой плац), подставляя солнцу свои изуродованные тела - скелеты, обтянутые бурой, в сизых пятнах, шелушащейся кожей. Тут же бродила лагерная кляча, у которой пеллагрики яростно оспаривали право на чудом уцелевшие стебельки травы. Пеллагра губительно действует на психику: люди становятся злыми и могут часами говорить друг-другу гадости, стараясь побольнее задеть.

Птичьи голоса, лесные шорохи и ароматы хвои и смородинового
листа... До чего же прекрасна жизнь на воле!



Птичьи голоса, лесные шорохи и ароматы хвои и смородинового листа...
До чего же прекрасна жизнь на воле!

Я вовремя проснулась: бандит уже снял один башмак и расшнуровал второй. Я взвилась как дракон и ринулась за убегающим по вагонкам* бандитом. Я его догнала, но не пыталась задержать, а наоборот, толкнула. Он рухнул вниз, успев бросить ботинок какой-то бабе, на которую я, не задумываясь, прыгнула. И вот ботинок опять у меня.

* Вагонки — многоярусные нары.

Теперь я знала: спать надо на голых досках, зашнуровав и завязав на [четыре] узла башмаки, а шапку засунуть за пазуху и застегнуть телогрейку на все пуговицы. И будь начеку! Вот и попробуй отдохни.



Я во-время проснулась: бандит уже снял один башмак и расшнуровал — второй. Я взвилась, как дракон и ринулась за убегающим, по „вагонкам“ бандита. Я его догнала, но не пыталась его задержать, а, наоборот — толкнула. Он рухнул вниз, успев бросить ботинок какой-то бабе... на которую я, не задумываясь, прыгнула. И вот ботинок опять у меня. Теперь я знала: спать надо на голых досках, зашнуровав и завязав на 4 узла ^{башмаки} шапку — засунуть за пазуху и застегнуть телогрейку, на все пуговицы. И — будь начеку! Вот и попробуй, отдохни.

Приторный запах хлороформа ударил в нос, и я, бросив беглый взгляд на лежащих (не то мертвых, не то просто без сознания), схватила единственный в этой секции стул и шарахнула им по окну. Стекла разлетелись вдребезги, и образовавшийся сквозняк немного очистил атмосферу. Отравленных хлороформом вытащили на снег.



Приторный запах хлороформа ударил в нос и я, бросив беглый взгляд на лежащих — не то мертвых, не то — просто без сознания, я схватила единственный в этой секции стул и шарахнула им по окну. Стекла разлетелись вдребезги и, образовавшийся сквозняк немного очистил атмосферу. Отравленных хлороформом вытащили на снег.

Я никогда не была специалистом по джиу-джитсу. Но тут во мне проснулся инстинкт, древний как жизнь, — тот инстинкт, который заставляет зверя, не задумываясь, бороться за обладание своей добычей — той пищей, которая дает ему возможность выжить. Того, кто, нападая спереди, запустил свою лапу в котелок баланды, я ударила ногой в пах, а когда он согнулся в три погибели, поддала коленкой в зубы. А того, кто, нападая сзади, просунул руку из подмышки и пытался вытащить мою пайку из-за пазухи, я ударила затылком в нос. Затем, обернувшись, замахнулась котелком и чуть не вмазала Касымову, спешившему мне на помощь...



Я никогда не была специалистом по джиу-джитсу... Но тут, во мне, проснулся инстинкт древний, как жизнь — тот инстинкт, который заставляет зверя, не задумываясь, бороться за обладание своей добычей — той пищей, которая дает ему возможность выжить. Того, кто, нападая спереди, запустил свою лапу в котелок баланды, я ударила ногой в пах, а когда он согнулся в три - погибели, поддала коленкой в зубы, а тому, кто, нападая сзади, просунул руку из подмышки и пытался вытащить мою пайку из-за пазухи, я ударила затылком в нос. Затем, обернувшись, замахнулась котелком... и чуть не "вмазала" Касымову, спешившему мне на помощь....

Боже мой! Это была Вера Леонидовна. ...Но как она изменилась! Худая, изможденная, с узловатыми конечностями. Лицо в коричневых пятнах и выпирающий живот, туго обтянутый сиреневыми трусами. В этой загородке помещались ОП* — мужчины и женщины. Они в одном белье грелись на сентябрьском солнышке. Кормят их чуть лучше, чем рабочих, но хлеб не дают на руки, а крошат в миску и заливают баландой. Это мера, предотвращающая обмен хлеба на махорку.

* ОП — оздоровительный пункт.

Каким чудом у такой доходяги сохранилась беременность? Но сможет ли она его родить? Тут ее одержимости — желания иметь ребенка — явно недостаточно... Ее надо поддержать, помочь, подкормить. И я решила это сделать.



Боже мой! Это была Вера Леонидовна... Но как она изменилась! Худая, изможденная, с узловатыми конечностями. Лицо — в коричневых пятнах и выпирающий живот, туго обтянутый сиреневыми трусами. В этой загородке помещались „ОП“ — мужчины и женщины. Они, в одном белье, грелись на сентябрьском солнышке. Кормят их чуть лучше, чем рабочих, но хлеб не дают на руки, а крошат в миску и заливают баландой. Это — мера, предотвращающая обмен хлеба на махорку.

Каким чудом, у такой „доходяги“, сохранилась беременность? Но сможет ли она его родить? Тут ее „одержимость“ — желание иметь ребёнка — явно недостаточно... Ее надо поддержать, помочь, подкормить... И я решила это сделать...

Вооруженные конвоиры... Натасканные на людей волкодавы... И все это для того, чтобы повести на работу дюжину полуживых доходяг. Несомненно: самый непроизводительный труд — труд рабов, особенно когда рабовладелец — государство. Оно не заинтересовано в сохранении трудоспособности и даже самой жизни рабов.



Вооружённые конвоиры... Натасканные на людей, волкодавы... И всё это — для того, чтобы повести, на работу, дюжину полуживых доходяг... Несомненно: самый непроизводительный труд — труд рабов... особенно, когда рабовладелец — государство. Оно не заинтересовано в сохранении трудоспособности и даже — самой жизни — рабов.

— Собачка! Собачка! — кричит, размахивая ручонками, маленькая девчушка.

Старший братишка ее поправляет:

— Дура! И вовсе это не собака, а милиционер!

И правда! Я люблю собак, больших и маленьких, но полицейские овчарки какие-то не собачьи: есть в них что-то от человека, и притом не от лучшего представителя рода человеческого. Чувствуется полицейская подозрительность и жандармская жестокость.



„Собачка! Собачка!“ кричит, размахивая ручонками маленькая девчушка. Ее старший братишка ее поправляет: „Дура! И вовсе это не собака, а милиционер!“ поправляет ее брат.

И правда! Я люблю собак — больших и маленьких, но... полицейские овчарки... какие то „не-собачьи“ — есть в них, что то „от человека“ и притом — не от лучшего представителя рода человеческого. Чувствуется полицейская по-

дозрительность и жандармская жестокость...

Пронести картошку при подобном шмоне было невозможно. Но не беда! Сама я ела картошку в сыром виде, а от своей пайки уделяла Вере Леонидовне половину. Но ей нужны были витамины и вообще овощи! Как быть? Выход был найден: я натирала картошку на самодельной терке (из консервной коробки и гвоздя), затем я отжимала сок, а из мезги делала выпуклости, которые не могли вызвать подозрения дежурняков.

Проблема дополнительного питания беременной матери была решена!



Пронести картошку, при подобном "шмоне", было невозможно. Но - не беда! Сама я ела картошку, в сыром виде, а, от своей пайки, уделить Вере Леонидовне половину. Но ей нужны были витамины и, вообще - овощи! Как быть? Выход был найден: я натирала картошку на самодельной терке (из консервной коробки и гвоздя), затем я отжимала сок, а из "мезги" делала "выпуклости", которые не могли вызвать подозрения "дежурняков".

Проблема "дополнительного питания" беременной матери была решена!

Эти дни можно назвать днями относительного счастья. Я несла двойную нагрузку: ночью работала в мастерской, днем — в поле. Зато была цель: надо было натереть картошки, отжать и, спрятав на теле, принести Вере Леонидовне. Только так можно было спасти ее ребенка и ее самое. Затем я могла поесть сырой картошки, а витамины были так нужны истощенному организму! Без них даже то малое количество белка, что я получала в хлебе, не усваивалось. А кроме того, когда под ногами земля, а не захарканный лагерный грунт, а кругом горизонт, а не колючая проволока, когда зеленеет трава и видишь перелески в ярком осеннем наряде... И в небе видишь птиц — символ свободы. Пусть это галки, грачи, но они вольные птицы! Что ж? Тогда можно не замечать солдата с винтовкой и собаку, натасканную на людей.



Эти дни можно назвать „днями относительного счастья“: я несла „двойную нагрузку“: ночью работала в мастерской, днем — в поле. Зато — была „цель“: надо было натереть картошки, отжать и, спрятав на теле, принести Вере Леонидовне. Только так можно было спасти ее ребёнка... и её самое. Затем — я могла поесть сырой картошки, а витамины были так нужны истощенному организму! Без них, даже то малое количество белка, что я получала в хлебе, не усваивалось... А, кроме того, когда, под ногами — земля, а не захарканный лагерный грунт, а кругом — горизонт, а не колючая проволока, когда зеленеет трава и видишь перелески, в ярком, осеннем, наряде.... И, в небе, видишь птиц — символ свободы, Пусть это — галки, грачи, но они — вольные птицы!

Что же? Тогда можно не замечать солдата с винтовкой и собаку, натасканную на людей....

На этот раз встреча была с малолетками-мальчишками. Мгновение — и они меня окружили. И опять сработал атавизм: в критических ситуациях нужно принимать решение, и притом единственно верное. Я швырнула один турнепс шагов на 12–15. Все ринулись за ним. А я в два прыжка оказалась у стены, поставила в ногах котелок с турнепсом, скинула телогрейку и стала в позицию. Бокса я не знала, но фехтование, которым я когда-то неплохо владела, пригодилось. В фехтовании преимущество за тем, у кого оружие длиннее. Мои руки были длиннее, и била я в нос без промаха.

Мальчишки как появились внезапно, так и исчезли, как стайка воробушков. Турнепс я благополучно доставила Вере Леонидовне.



На этот раз, встреча была с малолетками — мальчишками. Мгновение — и они меня окружили. И опять сработал «атавизм»: в критических ситуациях нужно принимать решение и, притом — единственно — верное. Я швырнула один турнепс шагов на 12–15. Все ринулись за ним. А я, в два прыжка, оказалась у стены, поставила, в ногах, котелок с турнепсом, скинула телогрейку и «стала в позицию». Бокса я не знала, но фехтование, которым я, когда-то неплохо владела, пригодилось. В фехтовании, преимущество — за тем, у кого оружие длиннее. Мои руки были длиннее и била я, в нос, без промаха.

Мальчишки — как появились внезапно, так и исчезли, как стайка воробушков. Турнепс я благополучно доставила Вере Леонидовне.

На первый взгляд, эта работа не пыльная, но спускали нас в огромные цементированные цистерны, обшитые досками, и в течение 12 часов надо было утрамбовывать капусту. Капуста была белая, высшего сорта, для вольного населения (для заключенных квасили зеленый лист в силосных траншеях). Но за нуждой нас из цистерны не выпускали...

Но за пазуху я запихивала отборную капусту для Веры Леонидовны. Однако я допустила ошибку: я не носила подарков своему бригадир, Мадаминову: свою норму шапок я починала ночью, а что я работала вместо того, чтобы отдыхать, то я не думала, что за это нужно откупаться.

И меня списали в бригаду, работавшую на строительстве.

Что ж! Свою задачу я выполнила: Вера Леонидовна родила. И ребенок был жив.



На первый взгляд, эта работа — не пыльная, но... спускали нас в огромные цементированные цистерны, обшитые досками и, в течение 12-ти часов, надо было утрамбовывать капусту. Капуста была белая, «высшего сорта», для «вольного» населения (для заключенных квасили зеленый лист в силосных траншеях). Но... «за нуждой» нас из цистерны не выпускали...

Но за пазуху я запихивала отборную капусту, для Веры Леонидовны. Однако, я допустила ошибку: я не носила «подарков» своему бригадир, Мадаминову: свою норму шапок я починала ночью, а что я работала, вместо того, чтобы отдыхать, то я не думала, что за это нужно «откупаться».

И меня списали в бригаду, работавшую на строительстве.

Что-ж! Свою задачу я выполнила: Вера Леонидовна родила. И ребенок был жив.

Мы строили завод имени Чкалова, эвакуированный откуда-то с Урала. Мы понимали, что нужно торопиться, но, Боже мой, до чего же примитивным способом приходилось строить! Безусловно, во времена фараонов строительные работы были лучше механизированы. Пожалуй, и кормили рабов лучше: ведь, чтобы пополнить убыль рабочей силы, фараонам надо было воевать с соседними странами; здесь же кадры черпались щедрою рукой из своего же народа. И мы старались... Но как тяжело катить железную тачку с раствором на 5-й этаж, когда голод разрывает внутренности, холод сводит пальцы, а деревянные подошвы скользят, и не на что надеяться!



Мы строили завод имени Чкалова — эвакуированный откуда-то с Урала. Мы понимали, что нужно торопиться, но... Боже мой, до чего же примитивным способом приходилось строить! Безусловно, во времена фараонов строительные работы были лучше механизированы. Пожалуй и кормили рабов лучше: ведь, что бы пополнить убыль рабочей силы фараонам надо было воевать с соседними странами; здесь же кадры черпались, щедрою рукой, из своего же народа. И мы старались... Но как тяжело катить железную тачку с раствором на 5-й этаж... когда голод разрывает внутренности, холод сводит пальцы, а деревянные подошвы скользят и... не на что надеяться.

В 10 часов — проверка. Все, кто работает на данном объекте, собираются во дворе. Все. Даже тот, кто успел уже умереть. Впрочем, не сам. Его привозят на тачке и пристраивают к шеренге. Знай порядок!



В 10 часов — проверка. Все, кто работает на данном объекте собираются во дворе. Все. Даже тот, кто успел уже умереть. Впрочем — не сам. Его привозят на тачке и пристраивают к шеренге. Знай порядок!

Было больно смотреть, как эта слабенькая с виду девочка* с какой-то отчаянной лихостью гоняет по трапу тяжелую тачку с раствором. Мороз доходил до минус 30–35 градусов. Чтобы раствор не замерз, надо было бежать, а на ногах — ЧТЗ на деревянной подошве. Я также гоняла тачки, но я была куда крепче: сырые овощи, которыми я питалась всю осень, помогли здоровому организму обрести равновесие. Но она, эта девочка, этот комок нервов, как могла выдержать она?!

* Галя
(Г.В. Антонова-Овсенко).



Было больно смотреть, как эта, слабенькая, с виду, девочка, с какой-то отчаянной лихостью, гоняет, по трапу, тяжелую тачку, с раствором. Мороз доходил до -30° – -35° . Что бы раствор не замерз надо было бежать... а, на ногах, "ЧТЗ" на деревянной подошве. Я также гоняла тачки, но я была куда крепче: сырые овощи, которыми я питалась всю осень, помогли здоровому организму обрести равновесие. Но она, эта девочка, этот "комочек нервов", как могла выдержать она?!

Красива сибирская зима! И народ сибирский должен быть крепким и мужественным... Для человека сытого, поевшего пельменей, одетого в полушубок, шапку-ушанку, пимы и рукавицы-шубенки, такая зима — радость!

А если ты, чуть живой, идешь на работу, похлебав рататуй из рыбьих костей с черной, горькой капустой, и на тебе бушлат, где вместо ваты — очески хлопка с коробочками от семян, на руках брезентовые верхонки, а на ногах ЧТЗ...

Об этих чэтэзэ стоит рассказать поподробней. Кто их изобрел, не знаю. Они, однако, стоят того, чтобы их достойное изображение было увековечено! Изготавливали их из старых автопокрышек, а подметки к ним делались деревянные. Было в них невероятно холодно и скользко. В довершение ко всему, были они тяжелее кандалов для истощенных доходяг, вынужденных их носить.



Красива Сибирская зима!

И народ сибирский должен быть крепким, мужественным... Для человека сытого, поевшего пельменей, одетого в полушубок, шапку-ушанку, пимы и рукавицы-шубенки, такая зима — радость!

А, если ты — чуть живой, идешь на работу, похлебав «рататуй» из рыбьих костей, с черной, горькой капустой и на тебе — бушлат, где, вместо ваты — очески хлопка, с коробочками от семян, на руках — брезентовые «верхонки», а на ногах — ЧТЗ...

Об этих «чэтэзэ» стоит рассказать поподробней. Кто их изобрел — не знаю. Они, однако, стоят того, чтобы их достойное изображение было увековечено! Изготавливали их из старых автопокрышек, а подметки к ним делались деревянные. Было, из них невероятно холодно. И скользко. В довершение ко всему, были они тяжелее кандалов... для истощенных доходяг, вынужденных их носить.

— Мне лишь бы на волю! В тюремной юбчонке? Не беда! Заработаю...
Я работы не боюсь. Справлюсь!

И она гордо тряхнула головой. Но тут она как-то потемнела и,
опустив голову, продолжала:

— А если не выпустят, ну, тогда мне вообще ничего больше
не понадобится...



Мне — лишь бы на волю! В тюремной юбчонке? Не беда! Заработаю... Я работы не боюсь. Справлюсь!..."
И она гордо тряхнула головой. Но тут она, как-то потемнела и, опустив голову, продолжала: "... А если не выпустят... Ну, тогда мне, вообще ничего больше не понадобится..."

49. Прибытие в исправительно-трудовой лагерь оказалось кульминацией издевательства. Прежде всего, нас заставили раздеться догола и нас впихнули в какие-то дощатые кабины без крыши. Над головой сверкали звезды, под босыми ногами — замерзшие экскременты. Сечение ящика — 1 квадратный метр. В каждом трое-четверо мужчин и женщин — голых, дрожащих, испуганных. Затем, открывая один за другим эти собачьи ящики, выводили голых людей и вели через двор — своего рода предбанник лагеря — в специальное здание, где оформляли документы и шмонали наши вещи. Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли нам, а хорошие вещи — свитера, варежки, носки, шарфы, жилеты, хорошую обувь — забирали себе. Десять грабителей бесстыдно обворовывали обездоленных, чуть живых людей. Исправительный — должен делать нас лучше. Труд — облагораживает. А лагерь — это же не тюрьма. Так что же это происходит?!

50. (Из машинописного варианта) Наверное, Валаам не так удивился, когда заговорила человеческим голосом его ослица, как тюремщики (то есть «воспитатели»), когда я попыталась протестовать против такого циничного грабежа. Но я успела вовремя сообразить, что если «малолетки» имеют право грабить «новеньких» на пересылках, то «воспитатели» имеют то же право, но в более широком объеме: они грабят открыто. Я замолчала: не было смысла свое пребывание в лагере начинать с карцера.

51. Когда же и мой рюкзак полетел в кучу конфискованных вещей, я заявила протест: пусть без завязки, но рюкзак мне обязаны вернуть. Наверное, Валаам не так удивился, когда заговорила его ослица! Ведь в старину к ослам, даже не говорящим, относились с известным уважением и вслед за «чадами и домочадцами» всегда упоминались ослы. У «воспитателей» глаза на лоб полезли, и я сообразила, что начинать знакомство с каждой новой тюрьмой с карцера явно не в моих интересах! Прощай, мой добрый рюкзак.

Я получила еще один урок: нет у нас такого обездоленного человека, которого нельзя было бы хоть еще немного обездолить...

52. «Вы хотите научиться полезному? Самое полезное, чему можно научиться в лагере, — это научиться выдержать. И — выжить. Советую вам в ваших же интересах: работая, старайтесь сберечь свои жизненные силы. Не пренебрегайте ничем, чтобы съесть лишний кусочек хлеба. Я вижу, что вы негодуете? Вас возмущает мой цинизм? [Шесть] лет тому назад и я бы не поверил, что буду так рассуждать!

И уверяю вас, что значительно раньше, чем через шесть лет, вы со мной согласитесь, но только в том случае, если, даже не соглашаясь со мной, последуете моему совету и возьметесь за работу полезную не в широком смысле, а в самом простом — полезную лично вам. Нормальный человек без еды может выдержать больше месяца, но фитиль, то есть человек, истощенный до предела, такой фитиль, дня [два-три] лишенный пищи, умирает». Хайм Исакович Вейсман, сын раввина из Гомеля, видный коммунист, а с 1937 года з/к по статье КРД (**контрреволюционная деятельность**), — мудрый и добрый человек. Сколько дипломатического такта и змеиной мудрости проявил он, чтобы сохранить пайку (а следовательно — и жизнь) своим бригадникам! А было их у него 123 доходяги. И они могли надеяться выжить. В другой бригаде, у Немировича, было 111 человек в прошлом году... В нынешнем их было также 111, но прошлогодним был лишь сам Немирович: остальные 110 умерли от голода. Они не могли выполнять норму — вырезать вручную 60 деревянных ложек в день — и получали штрафной паек, то есть половину.

53. И все же я настояла на своем и принялась за изучение полезной специальности бондаря*. Если есть желание освоить какое-либо ремесло, то рано или поздно успех будет достигнут. Рано или поздно... Вся беда в том, что в нечеловеческих условиях лагеря успех обязательно пришел бы слишком поздно.

* Бондарь (бочар) — ремесленник, выделяющий бочки, обручную или вязанную деревянную посуду.

54. Посреди комнаты стоял мольберт, а за ним сидел одноногий старик с густыми бровями и усами, но лысый. Еще несколько лет тому назад Прошин не был лысым одноногим стариком... Он считал, что ему в 1937 году здорово повезло, хотя ему, привыкшему только к партийной работе, пришлось катать и грузить круглый лес... Он сильно ушиб и разодрал себе колено и попал в больницу. Но выздоровление подвигалось быстро, и он начал понемногу растравлять заживавшую было рану... Дело закончилось ампутацией. Теперь от катания бревен он избавился, но оказался перед незавидной перспективой — вырезать деревянные ложки в бригаде Немировского... И тут у Прошина вдруг объявился «художественный талант». Заруцкий взял его в выжигалку и организовал художественное оформление ширпотреб. Прошин выжигал на портсигарах «трубки» и «ландыш», а в свободное время малевал «ковры» и «картины» для вольнонаемных хозяев, которые снабжали его через Заруцкого материалом и расплачивались продуктами.

55.

В это время в соседней комнате загремел стул и в дверях появился невысокий, молодцеватый мужчина среднего роста и, что меня больше всего удивило, средней упитанности:

— Может, подскажите, как нарисовать «Тройку»?

Я хочу освоить этот узор для выжигания на портсигарах. Если не считать раннего детства, то я не пыталась претендовать на звание художника, но тут я смело взяла в руку карандаш и изобразила на доске три лошадиных головы, пять ног и один хвост. Головы были, по меньшей мере, устрашающие. На любом из этих коней святой Георгий Победоносец, на старинной иконе, мог бы поразить Дракона, но запрячь подобных чудовищ в тройку? Нет! Это было бы недопустимой авантюрой! Но Заруцкий пришел в восторг: — Великолепно! Это просто великолепно!

— Я вас перевел к Заруцкому, — сказал Вейсман. — Он явился ко мне вчера просто с ультиматумом: ваша «Тройка» растоптала вдребезги его спокойствие. И вот я на новой работе...

56.

Итак, я завтракаю и сажусь за выжигалку. Мой напарник — старичок Федя Баландин, родом из Тамбова. На его обязанности — крутить колесо вентилятора, раздувающего березовые чурки, заменяющие уголь. Наша работа носит какой-то древнеегипетский характер. Баландин чем-то очень напоминает верблюда, вертящего водяное колесо, а я сижу сгорбившись, в клубах едкого дыма от горящих чурок, и орудую раскаленными жигалами. Таким образом, в угарной атмосфере, мы с Баландиным творили шедевры. Но работа мне нравилась, и, превозмогая головную боль и усталость, я трудилась не разгибая спины.

57.

Куриная слепота...

Странно! Солнце едва зашло. Еще светло. А вереница фитилей бредет, опираясь о стену и щупая палкой дорогу, к раздаточному окну — как в темноте!

Но для них это и на самом деле темнота уже наступила. Это вид авитаминоза, известный под названием куриная слепота. У слепых вырабатывается способность ориентироваться в темноте. Но эти доходяги слепы лишь после заката солнца. Они оступаются и спотыкаются на каждом шагу, и поэтому, чтобы не пролить драгоценный черпак баланды, они спешат выпить ее через край, не отходя от раздаточного окошка.

Как раз тут, чаще всего, на них натывается следующий и выбивает из рук драгоценную бурду. Потерпевший в отчаянии: он ползает по растоптанному снегу с опилками, собирает горстью и отправляет в рот... опилки, пропитанные баландой.

58

Настал день, когда я заметила, что у раздаточного окна не толпится народ... Я поняла, в чем дело: на складе нет продуктов... Вот когда я поняла, что рассказ о том, как здесь, в этом самом лагунке, вымерли все до последнего человека те две тысячи китайцев, перешедшие границу в поисках спасения во время заварухи на Китайско-Восточной железной дороге, — это не плод большой фантазии и не горячечный бред. Тут же умерли испанцы, спасавшиеся от Франко.

Но на этот раз наш час еще не пробил — стрелку роковых часов остановила мужественная женщина, принадлежавшая к отнюдь не героическому племени колена

Израилева, — врач Сарра Абрамовна Гордон, недавно назначенная начальником медсанчасти.

Наша лагерная кляча, спотыкаясь, брела по настилу из бревен, брошенных в незамерзающее болото. Бревна шевелились, погружаясь в болото, и Сарра Абрамовна колебалась над конским хребтом, как дирижабль. От успеха ее экспедиции зависела жизнь или смерть восьмисот доходяг. Естественно, что все мы выспали, несмотря на запрещение, на бугорок в зоне. Наши самые горячие молитвы сопровождали в пути храбрую женщину, впервые севшую на лошадь — на коня-доходягу, который обычно возил только покойников на наше кладбище, — и поехавшую за 35 км по бездорожью. И успех сопутствовал ей: тем же вечером были сброшены из поезда, лишь замедлившего ход, мешка [четыре] муки.

59.

Среди фитилей трудно найти таких, кто может дотащить на себе мешок муки на расстояние нескольких километров. Среди таких «героев» вызвалась и я. Больше того: один мешок несли четверо; я же сделала волокушу и свой мешок приволокла я одна. Правда, конвоир разрешил нам съесть по пригоршни сырой муки. Это придало нам сил, но, Боже, какой резью в животе пришлось расплатиться за счастье поесть муки!

60.

Пасха 1943 года.

Давно уже наша скудная пища была без соли... Живя на воле, можно грызть кору, есть землю, траву... При полном отсутствии соли — изотония крови и лимфы, и это ощущается очень мучительно. И вот Баландин, похристовавшись со мной, сказал:

— Ну, Фрося! Что я принес!.. Вот с тобой разгреемся... И он бережно расстелил на краю горна тряпочку: это была соль! Целая чайная ложечка соли! Это — всякий поймет! А оценит лишь тот, кто знает, что это значит — поделиться щепоткой соли!

Мы отщипывали по кусочку от наших паек, бережно макали в соль и благоговейно отправляли в рот. Могло ли что-нибудь быть вкуснее?! Но как грустно...

Через несколько дней я узнала, что Баландин сошел с ума: раздевшись догола, он с воем носился по зоне, налетая на стены, и жутко было слышать его вопли. Пеллагра сделала свое дело...

61.

Последние дни апреля я работала, задыхаясь в дыму...

Кроме своей работы, я выполняла норму Прошина*, который рисовал «ковер» кому-то из начальства. И Заруцкий хотел подарить всем начальникам по шкатулке, на крышке которых я выжигала картины. От дыма дерет горло и слезятся глаза... Но не беда! Впереди — два выходных, 1 и 2 мая, и я смогу посидеть на солнышке... Отдышусь!

Работа закончена. Наспех проглотив свою баланду, я устроилась на штабеле досок. Солнышко заходит. Его косые ярко-желтые лучи создают иллюзию тепла. У меня в руках еловая ветка. Я с наслаждением ее нюхаю. Запах хвои, запах смолистых досок воскрешают в памяти бескрайнюю тайгу, по которой я в прошлом году шагала.

— Керсновская?

Очарование нарушено. Передо мной солдат. Один из тех конвоиров, что помогли мне привязать мешок с мукой.

— Отдыхаешь?

— Отдыхаю... Наглоталась дыма. Надо проветрить легкие.

А в чем дело?

Я все еще улыбаюсь, нюхая еловую лапу. У солдата

какой-то смущенный вид. Он поворачивается и уходит. Я удивлена.

* У автора варьируется написание фамилии: Порошин, Прошин. Это один и тот же человек.

62.

Если на свете есть что-нибудь до того омерзительное, что отвращение вызывает что-то близкое к ужасу, то это пьяное существо, потерявшее облик человеческий, особенно если это женщина. Но быть запертой с такой тварью в тесной клетушке...

Это отвращение так и осталось в моей памяти неотделимым от праздника 1 мая — такого радостного, весеннего, душистого. Тогда, вечером, солдат меня не забрал. Пожалел. Но утром...

Это закон: в праздник надо политических репрессировать.

63.

— Смотрите, бабоньки! А наша-то Фрося совсем неплохо выглядит: вода с кожи скатывается. Значит, будет жить... Это было сказано месяца через два после первой бани, когда женщины ужаснулись: казалось, такой покойник не может вернуться в строй живых. Что ж, такого рода живучесть граничила с чудом. Но кто может отрицать, что чудеса возможны? Во всяком случае, не тот, кто боролся с Хохриным, изучал географию Сибири таким способом, как это сделала я, а затем прошел все семь кругов Ада, называемого правосудием, — следствием, этапами и т. п. Чудотворцем оказалась все та же Сарра Абрамовна Гордон, а орудием, которое помогло совершить чудо, стало нечто предельно простое и почти недостижимое: добавка к питанию — 20 грамм отварного мяса в день, а через день — стакан бульона из костей или стакан кипяченого молока.

Разумеется, такой лагерь смерти, как л/п № 3 Межениновка, не курорт, но для меня и это оказалось передышкой на пути к могиле.

64.

Наши койки стояли рядом в большой женской палате лагерного стационара, где яблоку негде было упасть. Уж я насмотрелась на истощение самых разнообразных степеней, но такого образчика живого скелета я еще не встречала! Она металась, ежеминутно вскакивая, и я понимала ее, бедную девочку: у ворот лагеря стояла ее мать. Указников*, безнадежно больных, активировали и отдавали родителям, но не тех, кто был нетранспортабельным и должен был умереть в ближайшие дни. Но она надеялась... И так ждала! Боялась только, как бы не испугать свою мать. Я ее всячески обнадеживала, а кровь каплями стекала... Смерть ее не была мучительной: просто вместе с кровью окончилась ее жизнь... Почувствовала ли мать, когда в телеге под презентом везли в общую могилу ее дочь? Ту, что была кудрявой красавицей с фиолетовыми глазами?

* Указники — арестованные по Указу начала 1940-х годов за самовольный уход с работы или из училищ и школ ФЗО. Наказания им назначались несоразмерно провинностям, истощенных, их отправляли в лагерь. Одной из таких указниц была девочка Ванда.

65.

У меня не было основания питать нежные чувства к Сибири... Но когда старый профессор Томского университета начинал говорить о Сибири, трудно было не поддаться очарованию! Не только я, но и Порошин и Заруцкий замирали, затаив дыхание! Чем прогневал этот

милостью Божией лектор начальство, что его в 1937 году заставили вместо лекций в аудитории плести корзины?

66.

Мужики вылили отходы больничной кухни в отлив нужника, и, как только они ушли, вся толпа доходяг, делавших стойку, как охотничьи собаки, ринулась к отливу. Они отталкивали друг друга, выгребали руками рыбы пузыри, чешую и жадно поглощали их.

Перед глазами у меня финал этой картины. На скудной вытопанной травке стоит на четверинках профессор Колчанов; все тело его сотрясается — его рвет... Когда рвотный спазм прекращается, он сгребает с земли то, что вырвал, и отправляет в рот...

...— Ага! Значит, Вы наблюдали цвет нашей интеллигенции! — саркастически сказал Порошин, когда я рассказала об этом на работе.

67.

Так умер Вилли Энгель, веселый паренек — немец из Саратова. Истощенный до предела, он работал из последних сил в цехе по изготовлению игрушек из дерева, чтоб перевыполнить норму и получить премблюдю* — ложку капусты. Сердечная мышца... Да что от нее осталось, от этой мышцы? Явно недостаточно для того, чтобы перекачивать кровь. И оно остановилось.

* Премблюдю — премиальное блюдо.

68.

Весеннее солнышко пригревало землю, и все пеллагрики, еще не успевшие умереть, выползли на бугорок (смотровой плац), подставляя солнцу свои изуродованные тела-скелеты, обтянутые бурой, в сизых пятнах, шелушащейся кожей. Тут же бродила лагерная кляча, у которой пеллагрики яростно оспаривали право на чудом уцелевшие стебельки травы. Пеллагра губительно действует на психику: люди становятся злыми и могут часами говорить друг другу гадости, стараясь побольнее задеть.

69.

...меня прямо с работы вызвали на этап.

Птичьи голоса, лесные шорохи и ароматы хвои и смородинового листа... До чего же прекрасна жизнь на воле!

70.

Лагпункт № 4, станция Ельцовка (пригород Новосибирска). Огромный барак... Четыре ряда нар-вагонов. Семьсот человек (или, вернее, человекообразных зверей). Официально это женский барак, но в нем мужчин почти столько же, сколько и женщин.

Я вовремя проснулась: бандит уже снял один башмак и расшнуровал второй. Я взвилась как дракон и ринулась за убегающим по вагонам* бандитом. Я его догнала, но не пыталась задержать, а наоборот, толкнула. Он рухнул вниз, успев бросить ботинок какой-то бабе, на которую я, не задумываясь, прыгнула. И вот ботинок опять у меня. Теперь я знала: спать надо на голых досках, зашнуровав и завязав на [четыре] узла башмаки, а шапку засунуть за пазуху и застегнуть телогрейку на все пуговицы. И будь начеку! Вот и попробуй отдохни.

* Вагонки — многоярусные нары.

71.

Меня записали в бригаду Мадаминова. Но они ремонтируют разорванные шапки с фронта, а я не умею шить: иголка — оружие, которым я владею хуже всего... Вскоре я перешла в ночную смену, которой руководил помощник бригадира Витюша Рыбников.

Позже, уже в начале зимы 1944 года, получил наш бригадир, в прошлом военный летчик, письмо из Алматы, от сестры. Отца его тоже посадили по статье 58-10, как я поняла, за то, что он усомнился в справедливости приговора, вынесенного его сыну и заклеившего его как изменника совсем незаслуженно... Сестра сгоряча осыпала его упреками: вот, мол, не только сам заслужил наказание, но и семью осиротил!

Где Витюша раздобыл хлороформ, так и осталось загадкой. Но ночью, когда в секции, где он жил, все спали, он вылил всю бутылку в кружку и опорожнил залом. Доза была слишком велика, и его моментально вырвало. Эффект получился неожиданный. Сам он остался жив, но все от этого хлороформа угорели. Не помню, кто первый поднял тревогу...

Приторный запах хлороформа ударил в нос, и я, бросив беглый взгляд на лежащих (не то мертвых, не то просто без сознания), схватила единственный в этой секции стул и шарахнула им по окну. Стекла разлетелись вдребезги, и образовавшийся сквозняк немного очистил атмосферу. Отравленных хлороформом вытащили на снег.

72. Я никогда не была специалистом по джиу-джитсу. Но тут во мне проснулся инстинкт, древний как жизнь, — тот инстинкт, который заставляет зверя, не задумываясь, бороться за обладание своей добычей — той пищей, которая дает ему возможность выжить. Того, кто, нападая спереди, запустил свою лапу в котелок баланды, я ударила ногой в пах, а когда он согнулся в три погибели, поддала коленкой в зубы. А того, кто, нападая сзади, просунул руку из подмышки и пытался вытащить мою пайку из-за пазухи, я ударила затылком в нос. Затем, обернувшись, замахнулась котелком и чуть не вмазала Касымову, спешившему мне на помощь...

73. Боже мой! Это была Вера Леонидовна Танькова, урожденная Невельская. Я ее помнила по лагпункту Межениновка. Родом из Эстонии, из Таллина, дочь адмирала Невельского и внучка того Невельского, который при Николае I присоединил к Российской империи Приморье, открыл Татарский пролив, первый поднялся вверх по Амуру и, вопреки воле императора, объявил те края принадлежащими России.

...Но как она изменилась! Худая, изможденная, с уловатыми конечностями. Лицо в коричневых пятнах и выпирающий живот, туго обтянутый сиреневыми трусами. В этой загородке помещались ОП* — мужчины и женщины. Они в одном белье грелись на сентябрьском солнышке. Кормят их чуть лучше, чем рабочих, но хлеб не дают на руки, а крошат в миску и заливают баландой. Это мера, предотвращающая обмен хлеба на махорку.

Каким чудом у такой доходяги сохранилась беременность? Но сможет ли она его родить? Тут ее одержимости — желания иметь ребенка — явно недостаточно... Ее надо поддержать, помочь, подкормить. И я решила это сделать.

* ОП — оздоровительный пункт.

74. Вооруженные конвоиры... Натасканные на людей волкодавы... И все это для того, чтобы повести на работу дюжину полуживых доходяг. Несомненно: самый непроизводительный труд — труд рабов, особенно когда работодатель — государство. Оно не заинтересовано в сохранении трудоспособности и даже самой жизни рабов.

75. — Собачка! Собачка! — кричит, размахивая ручонками, маленькая девчушка.

Старший братишка ее поправляет:

— Дура! И вовсе это не собака, а милиционер!

И правда! Я люблю собак, больших и маленьких, но полицейские овчарки какие-то не собаки: есть в них что-то от человека, и притом не от лучшего представителя рода человеческого. Чувствуется полицейская подозрительность и жандармская жестокость.

76. Пронести картошку при подобном шмоне было невозможно. Но не беда! Сама я ела картошку в сыром виде, а от своей пайки уделяла Вере Леонидовне половину. Но ей нужны были витамины и вообще овощи! Как быть? Выход был найден: я натирала картошку на самодельной терке (из консервной коробки и гвоздя), затем я отжимала сок, а из мезги делала выпуклости, которые не могли вызвать подозрения дежурняков. Проблема дополнительного питания беременной матери была решена!

77. Эти дни можно назвать днями относительного счастья. Я несла двойную нагрузку: ночью работала в мастерской, днем — в поле. Зато была цель: надо было натереть картошки, отжать и, спрятав на теле, принести Вере Леонидовне. Только так можно было спасти ее ребенка и ее самое. Затем я могла поесть сырой картошки, а витамины были так нужны истощенному организму! Без них даже то малое количество белка, что я получала в хлебе, не усваивалось. А кроме того, когда под ногами земля, а не захарканный лагерный грунт, а кругом горизонт, а не колючая проволока, когда зеленеет трава и видишь перелески в ярком осеннем наряде... И в небе видишь птиц — символ свободы. Пусть это галки, грачи, но они вольные птицы! Что ж? Тогда можно не замечать солдата с винтовкой и собаку, натасканную на людей.

78.

На этот раз встреча была с малолетками-мальчишками. Мгновение — и они меня окружили. И опять сработал атавизм: в критических ситуациях нужно принимать решение, и притом единственно верное. Я швырнула один турнепс шагов на 12–15. Все ринулись за ним. А я в два прыжка оказалась у стены, поставила в ногах котелок с турнепсом, скинула телогрейку и стала в позицию. Бокса я не знала, но фехтование, которым я когда-то неплохо владела, пригодилось. В фехтовании преимущество за тем, у кого оружие длиннее. Мои руки были длиннее, и била я в нос без промаха.

Мальчишки, как появились внезапно, так и исчезли, как стайка воробушков. Турнепс я благополучно доставила Вере Леонидовне.

79.

На первый взгляд, эта работа не пыльная, но спустили нас в огромные цементированные цистерны, обшитые досками, и в течение 12 часов надо было утрамбовывать капусту. Капуста была белая, высшего сорта, для вольного населения (для заключенных квасили зеленый лист в силосных траншеях). Но за нуждой нас из цистерны не выпускали...

Но за пазуху я запиховала отборную капусту для Веры Леонидовны. Однако я допустила ошибку: я не носила подарков своему бригадиру, Мадаминову: свою норму шапок я починала ночью, а что я работала вместо того, чтобы отдохнуть, то я не думала, что за это нужно откупаться.

И меня списали в бригаду, работавшую на строительстве. Что ж! Свою задачу я выполнила: Вера Леонидовна родила. И ребенок был жив.

80.

Мы строили завод имени Чкалова, эвакуированный откуда-то с Урала. Мы понимали, что нужно торопиться, но, Боже мой, до чего же примитивным способом приходилось строить! Безусловно, во времена фараонов строительные работы были лучше механизированы. Пожалуй, и кормили рабов лучше: ведь, чтобы пополнить убыль рабочей силы, фараонам надо было воевать с соседними странами; здесь же кадры черпались щедрой рукой из своего же народа. И мы старались... Но как тяжело катить железную тачку с раствором на 5-й этаж, когда голод разрывает внутренности, холод сводит пальцы, а деревянные подошвы скользят, и не на что надеяться!

81.

В 10 часов — проверка. Все, кто работает на данном объекте, собираются во дворе. Все. Даже тот, кто успел уже умереть. Впрочем, не сам. Его привозят на тачке и пристраивают к шеренге. Знай порядок!

82.

Было больно смотреть, как эта слабенькая с виду девчонка* с какой-то отчаянной лихостью гоняет по трапу тяжелую тачку с раствором. Мороз доходил до минус 30–35 градусов. Чтобы раствор не замерз, надо было бежать, а на ногах — ЧТЗ на деревянной подошве. Я также гоняла тачки, но я была куда крепче: сырые овощи, которыми я питалась всю осень, помогли здоровому организму обрести равновесие. Но она, эта девочка, этот комок нервов, как могла выдержать она?!

* Галя (Г. В. Антонова-Овсенко).

83.

Красива сибирская зима! И народ сибирский должен быть крепким и мужественным... Для человека сытого, поевшего пельменей, одетого в полушубок, шапку-ушанку, пимы и рукавицы-шубенки, такая зима — радость! А если ты, чуть живой, идешь на работу, похлебав рататуй из рыбьих костей и черной горькой капусты, и на тебе бушлат, где вместо ваты — очески хлопка с коробочками от семян, на руках брезентовые верхонки, а на ногах ЧТЗ...

Об этих чэтэээ стоит рассказать поподробней. Кто их изобрел, не знаю. Они, однако, стоят того, чтобы их достойное изображение было увековечено! Изготавливали их из старых автопокрышек, а подметки к ним делались деревянные. Было в них невероятно холодно и скользко. В довершение ко всему, были они тяжелее кандалов для изощренных доходяг, вынужденных их носить.

84.

— Мне лишь бы на волю! В тюремной юбчонке? Не беда! Заработаю... Я работы не боюсь. Справлюсь! И она гордо тряхнула головой. Но тут она как-то потемнела и, опустив голову, продолжала:
— А если не выпустят, ну, тогда мне вообще ничего больше не понадобится...

Евфросиния Керсновская
с мамой Александрой Алексеевной.

Ессентуки, 1958

410



Встреча Евфросинии Керсновской
с мамой Александрой Алексеевной
и своей учительницей М. Ольшевской
(в 1970–1980-х втайне хранившей
оригиналы тетрадей Е. Керсновской).

Одесса, 1958



Евфросиния Керсновская в своем саду.
Ессентуки, 1990



Евфросиния Керсновская и Дарья Чапковская,
ухаживавшая за ней с 1988 по 1994 год.

Ессентуки, 1989





Государственный музей истории ГУЛАГа основан в 2001 г. Экспозиция открыта в 2004 г. Основатель музея — А.В. Антонов-Овсеенко, известный историк, публицист, общественный деятель, в свое время прошедший через сталинские лагеря.

Музей ГУЛАГа по своей тематике, миссии, истории возникновения входит в категорию музеев памяти (совести).

Собрание музея включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы.

gmig.ru

Керсновская
Евфросиния Антоновна

ПРАВДА КАК СВЕТ
Иллюстрированные воспоминания
О сороковых-пятидесятых
В двух книгах
Книга 1
Альбомы 1–5

Сканирование альбомов и набор текста: Е.С. Боброва
Редактор-корректор: Г.В. Аتماшкина
Помощник корректора: Т.В. Савватеева

Архив Евфросинии Керсновской
www.gulag.su

Издатель Нелли Подгорская (Maier)
Координатор: Яна Тарасова
Принт-менеджер: Агата Чачко
www.maier-publishing.ru

Музей ГУЛАГа
127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 16
+7 (495) 621 7310
<http://www.gmig.ru>

Редакционно-издательский дом «Новая газета»
101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 3
+7 (495) 926 2001
www.novayagazeta.ru

Гарнитуры: ITC Franklin Gothic, ITC Charter — ©ПараТайп
Тираж: 1000 экз.

Отпечатано в типографии

«PNB Print», Латвия
www.pnbprint.eu





ISBN 978-5-905494-11-6



9 785905 494116